ТРИ ФРАНЦУЗСКИЕ ПОВЕСТИ

КЛЕР ГАЛЛУА

ШИТО БЕЛЫМИ НИТКАМИ

*

ЖАН ПЕЛЕГРИ

ЛОШАДЬ В ГОРОДЕ

*

ПАСКАЛЬ ЛЭНЕ

ИРРЕВОЛЮЦИЯ



CLAIRE GALLOIS

UNE FILLE COUSUE DE FIL BLANC

Paris 1969

JEAN PÉLÉGRI

LE CHEVAL DANS LA VILLE

Paris 1972

PASCAL LAINÉ

L'IRRÉVOLUTION

Paris 1971

КЛЕР ГАЛЛУА

ШИТО БЕЛЫМИ НИТКАМИ

ЖАН ПЕЛЕГРИ

ЛОШАДЬ В ГОРОДЕ

ПАСКАЛЬ ЛЭНЕ

ИРРЕВОЛЮЦИЯ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»
МОСКВА 1975

Предисловие Л. Зониной

Редакторы Е. Бабун и Л. Борисевич

Г $\frac{70304\text{-}854}{006(01)\text{-}75}$ 127-76

ПРЕДИСЛОВИЕ

Читателю этой книги предстоит встреча с тремя современными французскими прозаиками: Клер Галлуа, Паскалем Лэне и Жаном Пелегри. С двумя из них он знакомится впервые. Повесть «Лошадь в городе» Жана Пелегри, возможно, кое-кому уже известна, она была опубликована в журнале «Иностранная литература». Три повести, собранные под этой обложкой, резко отличаются одна от другой и манерой письма, и «материей» сюжета, и социальной средой, в которой разворачивается действие, и глубиной осмысления действительности. Есть в них, правда, и нечто общее, но об этом лучше сказать в заключение, поговорив прежде о том, что составляет оригинальность, своеобразие каждого из этих произведений.

Повесть «Шито белыми нитками» написана в 1969 году. Это третья книга сравнительно молодой еще писательницы — Клер Галлуа родилась в 1938 году. Тема повести — столкновение подростка со смертью близкого человека — не нова, но автор находит новые краски для этой психологической ситуации. Рассказ ведется от лица девочки лет двенадцати, старшую сестру которой сбила на шоссе машина. Глаз у девочки зоркий, подмечающий мелочи, детали, сознание ее не слишком развито, но чувства обострены случившимся, да и возраст такой, когда на «взрослый мир» глядят со стороны, критически, недаром он зовется переломным возрастом.

Когда Клер Галлуа впервые появилась на литературной арене, корреспондент «Леттр Франсэз», как водится, поинтересовался, насколько автобиографичен ее роман «По моему хотенью» (1964). Молодая писательница ужаснулась тогда, что читатель может принять историю, рассказанную в романе — историю неудачной любви, аборта,— за повествование о ее собственной жизни. Однако она призналась, что детство героини написано ею по воспоминаниям о своем детстве. И даже показала корреспонденту фотографию дома — старинной дворянской усадьбы,— где выросли они обе: она сама и ее героиня. Очевидно, подобным же образом построена и повесть «Шито белыми нитками»: фабула ее придумана, но бытовая, социальная плоть рассказа явно питается

личными впечатлениями. Двенадцатилетняя рассказчица не автопортрет Клер Галлуа, но среда, нравы, быт, разговоры, которые слышит девочка вокруг себя,— явный «рисунок с натуры». Причем рисунок, тяготеющий к типизации, к социальному гротеску. И вот что любопытно: в этой повести почти дословно повторяются две характерные — социально характерные — ситуации из предыдущего романа Клер Галлуа, «С охапкой роз в руках» (1965). В обеих книгах пожилая дама (здесь это бабушка рассказчицы) не желает, чтобы на похоронах присутствовала служанка Анриетта, вынянчившая не только покойную, но и ее мать, и всех детей в семье: она, видите ли, станет слишком откровенно горевать, слишком громко плакать, и присутствующие, не дай бог, подумают, что это член семьи. Кстати, имя «Анриетта» в повествовании употребляется почти как имя нарицательное — «аленовская Анриетта», говорит рассказчица о служанке в доме жениха покойной Клер, как будто служанка настолько не личность, что и собственного имени ей не положено.

Так же как в романе «С охапкой роз в руках», в повести «Шито белыми нитками» родители погибшей девушки намереваются затеять процесс, чтобы взыскать с человека, сбившего их дочь, «убытки», понесенные семьей,— то есть средства, «понапрасну» затраченные на воспитание ребенка, не дожившего по вине владельца машины до возраста, когда эти расходы могли бы окупиться.

Эти самоповторы лишний раз подчеркивают неприятие автором норм буржуазной этики, причем делается это достаточно прямолинейно, едва ли не в гротескной форме. В повести «Шито белыми нитками» чудовищность тяжбы о возмещении убытков за смерть дочери преломляется в сознании рассказчицы кошмарным сном, где предполагаемый процесс выглядит каким-то гибридом школьного экзамена и судебного заседания: «Все одеты в черное... Длинные ряды скамеек, как в... зеленом классе, почти пустых. Преподаватели выстроились в шеренгу у классной доски, лица их выпачканы мелом, только на месте рта красная черточка... адвокат в широкой мантии, от его стремительных шагов подол мантии развевается, как развеваются ее рукава, когда он воздевает вверх руки, провозглашая:

— Сто франков кило лососины, дамы-господа. Четыреста восемьдесят франков — бежевая амазонка с коричневой отделкой, которую носят с брюками. Миллион франков за лужайку с миллионом травинок, где эта молодая девушка некогда выросла».

Девочка-рассказчица не столько испугана смертью — для этого она слишком ребенок,— сколько грустит, что Клер ушла из ее жизни как раз накануне того, когда могла бы стать ей другом: ведь она вот-вот станет взрослой. И еще эта смерть заставляет ее ясней увидеть, насколько все вокруг «шито белыми нитками». И Клер родители выдают совсем не за ту, какой она была на самом деле. И сама ее смерть — возможно, самоубийство, отказ жить той жизнью, которую навязывала ей семья. И в церемонии похорон — ложная театральность. И в порядках, заведенных в их семье — от запрета есть жареную картошку, пока не минет пятнадцать лет, до предполагавшейся свадьбы Клер с человеком, которого она не любит, но который, с одной стороны, «сумеет ее укротить», а с

другой — станет преемником отца-банкира и дарит невесте кольцо стоимостью 250 000 франков,— все в этих домашних порядках «ненастоящее». Нет, подросток, конечно, не осознает всего этого в каких-то социальных категориях, но в девочке зреет стихийный протест против бабушкиных правил, которые она, не без юмора, сводит в список «запретов»: детям из хорошей семьи воспрещаются «разводы, революции, политические партии, кроме благонамеренных», и полеты на Луну, «даже когда билеты будут продаваться в транспортном агентстве, потому что бог раз и навсегда создал нас для жизни на Земле», им не положено ходить размахивая руками, сидеть болтая ногами и еще многое, многое другое, вплоть до пресловутой жареной картошки. Бабушкины правила — это нечто близкое к «атласному футляру» гроба, куда втискивают Клер, и рассказчица мечтает поскорее стать взрослой, чтобы, как она бросает отцу, не быть «похожей на вас».

Монолог героини — и в этом убедительность психологического портрета — несет вперемешку впечатления, наивные рассуждения, самые противоречивые чувства. Автор не пытается выстроить логически весь этот сумбурный поток, весь этот хаос подросткового восприятия жизни. Героиня любит и ненавидит мать, у матери ищет она защиты от горя, они с братьями мечтают «стать детенышами кенгуру, забившимися в материнскую сумку»,— но в то же время в «синем горячем взгляде» матери девочка обнаруживает не только самоотверженную любовь, а и жестокость, и поэтому так глядит на мать, что та не выдерживает взгляда и кричит ей: «Не смей на меня так смотреть». Девочка глубоко переживает смерть сестры, но не до конца понимает весь трагический смысл происшедшего, и горе не мешает ей ни наслаждаться разноцветным мороженым, ни превращать самую эту смерть в предмет игры с подружкой по монастырскому пансиону.

Клер Галлуа не боится такого рода «шокирующих» ошибок, не боится бросить иронический взгляд на «святыни», будь то материнская любовь или тайна исповеди, прощание с умершей или помолвка. Но ее ирония неизменно поражает не самые человеческие чувства, а только их извращенную форму, только обрядовую оболочку, только фальшивый образ, выдаваемый за сущность.

«Лошадь в городе» (1972) Жана Пелегри переносит нас совсем в иную среду, в иную обстановку — из буржуазного дома, где посредине стола в столовой возвышается дорогая ваза с бронзовыми амурами, полная черного винограда или камелий, где отцовский кабинет украшен портретами-близнецами маршала Петэна и генерала де Голля, а в комнате, прозванной детьми «Наполеон», собраны императорские реликвии — от треуголки великого полководца до его кровати из Мальмезона,— «Лошадь в городе» переносит нас в полутемные бараки на окраине Парижа, где у человека нет даже своей койки, где спят посменно, как посменно работают, и где иметь кусок хлеба, работу, крышу над головой уже почти счастье.

Жан Пелегри — писатель иного поколения (он почти на двадцать лет старше Клер Галлуа) и иного жизненного опыта. Он родился в Алжире, там провел бо́льшую часть жизни, преподавая

литературу. Его первые романы, «Оливы справедливости» (1960) и «Свихнувшийся» (1964), в которых рассказывается о колониальной действительности и борьбе алжирского народа за освобождение, проникнуты сочувствием к простым людям, глубоким уважением к их духовному миру. Однако в окружавших его французах он не находит уважения к алжирцам. Взаимное непонимание, презрительная слепота «культурных» и благополучных европейцев, отказывающихся видеть в алжирских крестьянах себе подобных, и представляется ему трагической основой конфликта между европейскими колонистами и местным населением. Эта тема непреодолимой глухоты, поставленная на несколько другом материале, становится лейтмотивом повести «Лошадь в городе».

Написанная в форме диалога между следователем и «преступником», повесть, в сущности, является монологом последнего, который, пересказывая события своей жизни, пытается сам понять, что же могло заставить его наброситься на шофера такси. Но следователь ничего этого не слышит, между ним и Крестьянином глухая стена непонимания. Его интересуют «только факты». Он не хочет, да и не способен заглянуть в душу человека, сидящего перед ним, потому что он, интеллигентный горожанин, ни на минуту не видит в подследственном человека, равного себе, человека, у которого есть свой внутренний мир, свои духовные потребности. Для следователя все случившееся — рядовое происшествие, обычное дело. Глубокие причины от него ускользают в силу классового высокомерия, в силу того, что он может смотреть на Крестьянина только сверху вниз. И суд, который вынесет свой приговор по подготовленным им материалам, заведомо неправедный, несправедливый, ибо будет судить поверхностные факты, оставляя в стороне душевную драму «преступника».

Жан Пелегри затрагивает в своей повести проблему, к которой все настойчивее возвращается в последние годы французская литература, отражая один из серьезнейших социальных конфликтов действительности. Французская деревня переживает острый кризис. Городская цивилизация, как магнит, притягивает деревенскую молодежь: насмотревшись на все эти машины, которые мчались мимо, мы и сами захотели иметь машину, мы и сами захотели уехать,— говорит герой повести «Лошадь в городе». Подобно ему уходит из родной деревни Жак Фортье в романе Бернара Клавеля «Когда молчит оружье» или Жозеф-Самюэль Рейян в романе Жана Карьера «Ястреб из Майо». И их обоих так же, как и героя Жана Пелегри, ждет в городе гибель, духовное перерождение или безумие. В литературе и в реальной жизни сегодняшней Франции, да и не только Франции, эта проблема предстает как трагически неразрешимая.

Молодой крестьянин из романа Бернара Клавеля, уйдя в город, попадает в армию, становится солдатом несправедливой войны, карателем, убийцей алжирских детей. Это его трагическая вина, и он должен пасть под бременем угрызений совести в неравной борьбе с теми, кто принуждает его оставаться и впредь солдатом-палачом. В повести Жана Пелегри никакой реальной войны нет. Но она в самой атмосфере города. Благополучному следователю невдомек, почему его подследственный все время твердит о какой-то войне, бомбардировках, почему шоссе, по которому

мчатся машины, видится ему траншеей. Но в этих наивных символах воплощается для рассказчика смутное чувство тревоги, страха, покидающее Крестьянина лишь в недолгие месяцы счастливой любви; символы войны — попытка передать мучительное ощущение, что город враждебен ему, пришлому, что город — некая крепость, которую он тщетно пытается взять, и некая злобная сила, обесчеловечивающая не только его самого, но и всех тех, кто, как он, устремляется по утрам в тоннели метро, чтобы выйти всегда на той же улице, у того же завода или у того же барака-общежития.

«Одна из самых красивых столиц на свете»,— говорит о Париже следователь. «Паук»,— отвечает ему Крестьянин,— паук, подстерегающий жертву, подстерегающий одинокого, отъединенного, отчужденного машинной цивилизацией и машинной цивилизации человека. Повествование Клер Галлуа и Жана Пелегри в известной степени родственны, ибо в обоих случаях жизнь пропущена через наивное, непосредственное сознание, воспринимающее действительность не логически, не в понятиях, а в образах. Однако самый образный строй у них совершенно различен. Жану Пелегри чужда ирония, юмор, его образы тяготеют скорее к примитивной, лубочной символике, не боящейся ни сентиментальности, ни трагизма, который на последних страницах повести достигает напряжения апокалиптических видений.

Лошадь, шаги которой чудятся Крестьянину, заброшенному в городскую машинную пустыню,— символ тоски по чему-то живому, близкому, теплому, символ душевной потребности в понимании, в сочувствии, в любви, символ тяги к чему-то, чего в городе нет, что в городе убито. Но эта лошадь одна-одинешенька, топот ее копыт тонет в яростном, злобном шуме автомобильного потока. Машина настолько подавляет человека, что Крестьянин забывает: там, внутри машины, в кабине, такой же человек, как он сам. Преступление, совершенное им,— преступление, навеянное, навязанное Городом. Жан Пелегри осмысляет это «рядовое происшествие» как трагедию цивилизации, которая превращает людей в роботов, пренебрегая их духовными запросами и не оставляя места для простого человеческого счастья. И в то же время устами своего наивного героя, этого нового Простака, он предвещает неотвратимую гибель «полой» машинной цивилизации, изрытой внутри угрожающими пустотами, как изрыт тоннелями метро город-гигант: эта цивилизация рухнет, она будет сметена половодьем, если не вспомнит о человеке и человечности, если не перестанет видеть в миллионах трудящихся только орудия, слепые, бесчувственные, бездумные орудия технического прогресса.

Повесть Паскаля Лэне «Ирреволюция» (1971) так же, как и «Шито белыми нитками», и «Лошадь в городе», написана от лица героя. Но уже само ее название, подобно скрипичному или басовому ключу в нотах, предупреждает нас о смене регистра: «ирреволюция» — неологизм, созданный по аналогии с такими абстрактными понятиями, как «ирреальность», «иррациональность»,— возвещает сознание рефлектирующее, осмысляющее, идеологизирующее действительность. В противоположность непосредственной ге-

роине Клер Галлуа, выплескивающей без разбору все, что она видит и чувствует, в противоположность Крестьянину Жана Пелегри, чувства которого находят выражение в символических образах, рассказчик «Ирреволюции» — философ, философ не только по профессии — он преподает эту дисциплину в техникуме,— но и по складу ума: для меня философия не предмет, которому я могу учить, но некое состояние,— признает он сам. Существует французский идиом «couper les cheveux en quatre» — «расщеплять волос на четыре части». При этом имеется в виду сугубо интеллигентская склонность рассматривать любой факт, любое даже самое незначительное явление во всех его причинах и следствиях, так что в конце концов самый этот факт, само явление исчезает под грудой рассуждений о нем, теряет четкий контур под нагромождением привходящих обстоятельств. Герою Паскаля Лэне свойствен именно этот дух все разъедающего анализа и самоанализа, парализующего волю. Он — если воспользоваться понятием русской литературы — «лишний человек», рефлектирующий герой. За любой жизненной потребностью для него встают горы прочитанных книг. За каждым жестом тянется бесконечная цепь размышлений и умозаключений, этот жест обосновывающих, оправдывающих, но в то же время его отягчающих, тормозящих. И самый ритм повествования отмечен этим, замедляющим развитие действия, грузом рефлексий, который время от времени выбрасывается, подобно балласту, и тогда действие внезапно совершает скачок вперед, взмывает к следующему этапу, чтобы в финале грубо швырнуть героя на землю, точно воздушный шар с прорванной оболочкой, оставив его, растерянного и опозоренного в собственных глазах, поверженного в прах все той же «ирреволюцией».

Майские события 1968 года, начавшиеся со студенческих волнений, а затем вылившиеся в десятимиллионный вал забастовок, были для Франции потрясением, которое, хоть оно и не смело́ каркас социальной структуры, все же наложило глубокий отпечаток на всю духовную, интеллектуальную жизнь страны. Значение студенческого Мая — и в известной степени его победа — в том, что своим не-приятием, своим не-согласием уложиться в прокрустово ложе, мягко выстланное потребительской цивилизацией и ее «массовой культурой», он властно потребовал переоценки ценностей, осознания интеллигенцией своего места в сегодняшнем мире.

Тема Мая так или иначе затрагивается в последние годы во множестве книг, не только социологических или публицистических, но и художественных. Однако, как правило, романы обходят сущность студенческого протеста, изображая события, как разгул разрушительной стихии, живописный карнавал, или смакуя, на радость обывателю, «клубничку» сексуальной революции. На фоне этого более или менее бульварного, более или менее «интеллектуализированного» ширпотреба резко выделяются две книги: уже знакомый нашему читателю роман Робера Мерля «За стеклом» и «Ирреволюция» Паскаля Лэне. Но если роман Мерля — попытка дать объективную панораму студенческих умонастроений накануне событий, доброжелательный, хотя в то же время и критический взгляд извне на эти взбаламученные воды, которые вот-вот ринутся на Париж, затопят улицы города шумными потоками демонстраций, вздыбятся баррикадами в Латинском квартале, то по-

весть Паскаля Лэне (он родился в 1942 году и мог бы быть сыном или студентом Робера Мерля) — взгляд изнутри и взгляд после поражения, когда бурные воды ушли под землю, оставив на поверхности тину и обломки.

Повесть Лэне автобиографична. Об этом можно было догадываться уже при ее появлении, а впоследствии и сам автор подтвердил, что он, как и его герой, был участником майских событий и осенью того же 1968 года стал преподавать философию в одном из провинциальных учебных заведений к северу от Парижа.

Это объясняет лирический, «исповедальный» тон монолога «Ирреволюции» и придает переживаниям героя убедительную достоверность.

Столкнувшись лицом к лицу с действительностью, от которой он до сих пор был отгорожен своим буржуазным детством, своей сугубо книжной юностью и революционным миражем Мая, рассказчик «Ирреволюции» вынужден решать, причем на этот раз не умозрительно, а практически и повседневно, ту самую проблему места и долга интеллигента в сегодняшнем мире, которую французские маоисты предлагали радикально снять с повестки дня методом «культурной революции».

«Прекрасный месяц май» с его эйфорией преодоленного одиночества, с его радостью триумфального высвобождения скрытых сил, с его надеждой на рождение «нового человека», никому еще не ведомого, но грядущего — и не когда-нибудь в далеком будущем, а сейчас, сегодня,— этот блаженный Май, когда героя повести осенило «нечто вроде благодати», уже очень далеко, хотя прошло всего несколько месяцев. Октябрь 1968 года — это для рассказчика Сотанвиль, провинциальный промышленный город, где «порядок господствует... как туман», это техникум, «орудие совершенное. В руках буржуазии». Недаром он содержится на отчисления местных промышленников.

Новоиспеченный преподаватель философии рассчитывал найти в техникуме единомышленников, таких же, как он сам, «молодых бунтарей», а встретил аккуратных, молчаливых юношей и девушек, которые его не понимают: не понимают, почему этот «буржуа» требует от них антибуржуазности, почему этот преподаватель не желает, чтобы они записывали его лекции, почему твердит им, что философия не «наука», а «состояние ума», почему взывает не к старательности и заучиванию изрекаемых им истин, а к какому-то неведомому «самосознанию», какому-то необъяснимому «протесту». Для них «философия» такой же предмет, как все другие, может, только абстрактнее и потому труднее прочих. Это предмет, который нужно выучить, чтобы сдать экзамен и получить диплом, открывающий путь вверх. Пусть на одну ничтожную ступеньку, но вверх.

Вчерашний «революционер» ощущает себя на преподавательской кафедре соучастником «дрессировки» молодых пролетариев. С чувством гнетущего бессилия он наталкивается на хорошо отработанную систему формирования рабочей элиты, подкупаемой материальными благами, цепляющейся за свое сравнительно привилегированное место, покорной существующему порядку.

Интеллигент, носитель «универсального» знания, он, хочешь не хочешь, оказывается включенным в эту жесткую структуру

стандартизации личности, ее приспособления к определенной роли, ее оболванивания, в систему, где само знание эксплуатируется в интересах общества,— того самого общества, которое он, «протестант», мечтает ниспровергнуть. Где же выход из этой драматической коллизии? Должен ли он «самоуничтожиться», как требуют некоторые из его майских соратников, то есть отказаться от своей работы, пойти «в народ», заняться физическим трудом? Но он слишком остро ощущает всю фальшь этого маскарада, ведь перерядиться в рабочего вовсе не означает стать рабочим. К тому же разве не было бы это дезертирством? «Как и главное кому объясню я свой отказ? — думает герой.— Нареку его бунтом? Какое самомнение! Бунтом против чего? Если это бунт против невежества моих учеников, то разве не мой долг сделать их не столь невежественными? Но какой ценой? Могу ли я это сделать, не принуждая этих парней и девушек покориться в очередной раз ради получения образования ужасным, гнетущим нормам общепринятого; тем нормам, которые, следуя одной и той же «мудрости», во имя одного и того же порядка требуют в равной мере согласования причастий и согласия человека жить на шестьсот франков в месяц».

На собственном опыте герой Лэне обнаруживает несостоятельность маоистского лозунга «пойти на выучку к массам», ибо интеллигент, если он хочет отстаивать интересы пролетариата, если он стремится вместе с пролетариатом бороться за построение справедливого общества, должен не отказываться от культуры, не «сойти вниз», перерядившись рабочим, но поднять вверх тех молодых рабочих, с которыми его столкнула жизнь, поделиться с ними своими знаниями, своим культурным капиталом. Только научив их думать и выражать свои мысли, он может рассчитывать на возникновение «обратной связи».

И только эта «обратная связь» может оправдать его существование в собственных глазах. Он бесконечно одинок, этот неприкаянный отпрыск разорившегося — в буквальном и переносном смысле — буржуа, этот «блудный сын» правящего класса, этот интеллектуал, мучимый угрызениями совести перед своими «безъязыкими» учениками, этот революционер, натыкающийся повсюду на глухую стену непонимания. Ибо контакта у него нет не только с учениками, всецело находящимися во власти той буржуазной системы ценностей, которая навязана им господствующим классом, но и со своими вчерашними друзьями-единомышленниками. С некоторыми из них он порвал, поскольку они после поражения «образумились», стали, как выражаются на левацком жаргоне, «реаками». В обществе других — изнывает, возмущаясь самозабвенной архиреволюционной болтовней, призывами немедленно выйти на улицу с оружием в руках. Ему претит их левацкая фразеология. Его, вынужденного каждый день решать практические вопросы, искать действенные пути, чтобы пробиться к сердцам и умам своих учеников-пролетариев, раздражает то переливание из пустого в порожнее, с которым он сталкивается по воскресеньям в компании парижских интеллектуалов. И его злит оголтелый антикоммунизм салонных революционеров: эти «яркие интеллектуальные индивидуальности», каждый из которых мнит себя подлинным мыслящим «марксистом», только на антикомму-

низме и сходятся. Именно это позволяет им заключать временные союзы во имя «высоких целей», во имя защиты, как иронически замечает рассказчик, пародируя «ученый» жаргон, «общих эпистемологических посылок» и «строжайшей университетской евгеники в рамках самой широкой либерализации». Впрочем, за этими «принципиальными» союзами скрывается просто грубая дележка университетского пирога.

Вот эту псевдореволюционную болтовню герой повести и именует «ирреволюцией». Однако в часы крайнего уныния — а они нередки — он готов расширить поле «ирреволюции», относя уничтожительную характеристику и к себе самому, и ко всему студенческому Маю — пораженному червоточиной плоду вечного интеллектуального зуда, обостренной, но бесперспективной неудовлетворенности окружающим миром.

Он противопоставляет ирреволюционным словесам практику медленной, трудной борьбы за то, чтобы найти контакт со своими учениками, за то, чтобы научить их думать, самостоятельно оценивать факты, выражать свои мысли. Он подает им идею выпускать журнал. Он радуется, обнаружив, что его «немые» не так уж немы, что, получив «право» говорить, они говорят, и говорят свое.

Но было бы слишком просто, если бы для победы оказалось достаточно одних добрых намерений, если бы за победами не следовали поражения. Дирекция техникума закрывает журнал, воспользовавшись тем, что в нем опубликована провокационная статья, написанная не учеником техникума, а парижским студентом-гошистом, сынком фабриканта (провокация — эффективнейший способ политической борьбы,— провозглашал Кон-Бендит); рассказчик, вынужденный сообщить одному из своих воспитанников — тому, который передал в журнал эту провокационную статью,— об исключении его из техникума, срывается и кричит перед безмолвствующим классом, что и «поделом» этому дурню, что нужно «знать свое место», что незачем было заводить неподходящие знакомства не в своей среде. Теперь он не в силах смотреть в глаза ребятам. Стыд и ощущение собственного бессилия гонят его из техникума, из Сотанвиля. Куда?

Этого герой не знает. Он убегает с чувством, что потерпел полное и окончательное поражение. Но, быть может, именно в том, что его особенно угнетает, в том, как «молчали и внимательно глядели» на преподавателя философии, читавшего мораль мальчику, забывшему свое место, остальные ученики,— быть может, именно в этом и была его, пусть и малая, но победа: ведь они *думали.*

* * *

Итак, перед нами три монолога. Монолог девочки-подростка, которая еще ничего не видела за стенами монастырского пансиона и буржуазного родительского дома и простодушно выкладывает все, что рождается в ее сознании, потрясенном смертью сестры, свои первые, смутные ощущения неладности мира. Монолог крестьянина, который впервые попал в город, впервые столкнулся с изнанкой промышленного прогресса и в приступе безумия пытается покончить с надвинувшейся на него бесчеловечной силой своим кухонным ножом. Монолог интеллигента, который переступил наконец за порог книжных знаний и столкнулся впрямую с ре-

альными людьми, с практикой жизни, где нет места миражам «ир-революции».

Как ни различны герои этих повестей, как ни далеки друг от друга «ареалы» их жизненных наблюдений и уровни восприятия действительности, в творческом методе Клер Галлуа, Жана Пелегри и Паскаля Лэне есть все-таки нечто общее — это стремление раскрыть внутренний мир человека в его соприкосновении с миром внешним, показать через кризис индивидуального сознания нелады социального порядка, выйти через психологию одного человека, единственного и неповторимого, к общим закономерностям жизни, осмыслить явления современной действительности, формирующие сознание. И возможно, именно потому, что эти повести такие разные, о разных людях и по-разному написанные, они расширят представление советского читателя о жизни сегодняшней Франции.

Л. Зонина


КЛЕР ГАЛЛУА
ШИТО
БЕЛЫМИ
НИТКАМИ

ПЕРЕВОД Е. БАБУН
РЕДАКТОР Л. БОРИСЕВИЧ

Я полюбила Клер июльским воскресеньем. С тех пор она часто приходит ночью к моей постели. Стоит неподвижно, прижимая к груди скрещенные руки, словно ей холодно. Когда я открываю глаза, она смотрит на меня сквозь завесу темно-рыжих волос, падающих на лицо. Я лежу не шевелясь. Я знаю, настанет день — и она уже не придет. Так мне сказали, и, пожалуй, это логично.

В то воскресенье нас за столом было шестеро. Папа, мама, Валери, Оливье, Шарль и я. В нашем доме так заведено, что, пока тебе не минет пятнадцати, ты не имеешь права поднять за столом голос. А также пить вино и есть жареный картофель. Мама говорила о свадьбе Клер. Валери отвечала ей настороженным взглядом. Она считает, что о Клер нечего больше говорить. Мне бы хотелось любить маму так, как любит ее Клер. Сестры часто жаловались, что в детстве видели маму только ночью, когда, возвращаясь с бала (очевидно, стройная и задумчивая), она заходила к ним в спальню, в блестящем платье, в жемчугах и бриллиантах, которые папа каждый раз аккуратно запирал в сейф у себя в кабинете.

Знай я маму в то время, она бы и меня пленила. Но попробуй-ка попроси у мамы разрешения выйти из-за стола во время еды, она улыбнется и ответит:

— Если тебе и в самом деле так приспичило, что ж, иди, но помни: тебя ждет порка.

В то воскресенье, только-только подали жаркое с жареной картошкой и отдельно пюре для нас троих, младших, мне ужасно захотелось в одно местечко. Под столом залаял пес, где он валялся, разморенный полуденным солнцем. По воскресеньям псу разрешается лежать под столом, когда мы едим, в остальные дни мама говорит, что он натрясет блох на ковер. В окна столовой вдруг вторгся какой-то неожиданный звук, хруст гравия под велосипедными шинами. Папа встал, чтобы открыть ставни застекленной двери. В комнату ворвался ветер, и мы увидели хозяина местного кафе, запыхавшегося, багрового от езды по солнцепеку. Лицо у папы сразу запылало и стало серьезным — во сне я вижу его с салфеткой, повязанной вокруг шеи,— и таким же пылающим голосом он спросил, что случилось.

Надо сказать, что по воскресеньям почта у нас всегда закрыта. Тут они все бросились к папе, а я воспользовалась этим, чтобы сбегать в одно местечко, в конец коридора.

Вот там и настиг меня этот смех. Никогда прежде я не слышала, чтобы так смеялись. Словно они все с ума посходили. Словно какая-то шутка до того их развеселила, что им теперь и не остановиться. Я и сама не прочь похохотать, да разве за ними угонишься — вон как их разобрало. Это уж всегда так — уйдешь на минутку и обязательно что-нибудь произойдет. Я побежала, мне хотелось поскорее присоединиться к ним, а когда ворвалась в столовую, увидела, что они все сбились в кучу, вцепились друг в друга, и трясли головой, и кусали пальцы. Они толклись на месте, и тут уж было не разобрать, где чьи руки, спины. Лица были ярко залиты солнцем. Они плакали.

— Что произошло? — Я крикнула, чтобы они услышали.— Что случилось?

Наконец Валери обернулась, эта дылда вечно что-то из себя строит. Она сказала, стараясь тоном подчеркнуть свое презрение ко мне:

— С Клер произошел несчастный случай.

На сразу потемневших стенах завертелось светлое пятно, головокружительное солнечное колесо, оно стремительно уменьшалось. Через несколько секунд оно превратилось в сверкающий алмаз, маленький осколок солнца, и я поняла, что Клер умерла.

Как я молилась, чтобы кончилось наконец мое детство. Мама оторвала руки от папиных плеч, запрокинула лицо к небу, сказала незнакомым голосом:

— Прежде всего я хочу, чтобы мое дитя соборовалось.

Мама просто обожает это. Сама она уже соборовалась пять раз, при рождении каждого из нас, а в прошлом году чуть было не заставила соборовать Шарля, когда Оливье швырнул свой индейский нож и всадил его Шарлю прямо в горло. У Шарля лицо как у младенца, черты расплывчатые, невыразительные. Ему шесть лет, а он все еще ходит в детском костюмчике. Мальчик он не очень-то аккуратный и самостоятельный, поэтому мама считает, что проще отстегнуть перемычку на этом костюмчике или даже вообще ее не застегивать — это почти незаметно,— чем каждый раз возиться с лямками штанишек. Я вспомнила, как в прошлом году Шарль вернулся домой, с тру-

дом переступая дрожащими ножками, поддерживая обеими руками подбородок, вспомнила, какой у него был оробелый, ошеломленный вид из-за своей раны. Сейчас, когда с Клер произошел несчастный случай, он забрался под стол и, сидя там на корточках, смотрел в пустоту с тем же, что и тогда, удивленным выражением. Я тоже присела на корточки рядом с ним, обняла его, и мы смотрели, как остальные мечутся и страдают. Шарль всегда очень пугается. Когда он чуточку успокоился, я шепнула ему на ухо:

— Клер умрет, маленький.

Он несколько раз энергично кивнул. Оливье вцепился в мамину талию, бил ее головой в живот, с ревом звал ее, словно очутился один в темноте. Мама схватила его на руки, осыпала поцелуями. Потом все станут говорить:

— Не будь Оливье, Вероника бы сошла с ума.

Вероника — это мама. Она никогда не наказывает Оливье, даже если на него пожаловаться.

Солнце на улице палило по-прежнему. Но теперь уже было все равно, будет в доме прохладно или нет. Стучали ставни, хлопали двери. Лицо у папы все больше багровело, он то и дело подносил руку к щекам, потом разглядывал ладонь, словно ждал, что на ней появится кровь. Мы с Шарлем еще глубже забились под стол. Мы слышали, как наверху, быстро и решительно ступая, ходит мама, слышали, как она, давая распоряжения Валери, поднимает голос до крика. Она готовила траурную одежду — на тот случай, если Клер умрет. Вот шаги ее направились к бывшей детской, где, с тех пор как мы выросли, помещалась бельевая и гардеробная. Я очень люблю эту комнату с маленькой ванной — теперь, когда садишься в нее, приходится поджимать ноги, чтобы вода покрыла тебя целиком,— с обоями, на которых изображены мельник, его сын и осел и от которых мы, каждый в свой черед, отклеивали и отрывали клочки в лунные вечера, когда не спалось. У своей кровати я нацарапала ножкой циркуля «Красный Нос». Так я называю свою сестру Валери, когда злюсь на нее. Ей делали пластическую операцию носа. Если смотреть против света, при ярком освещении кажется, что нос у нее из матового стекла. Я решила, если Клер и в самом деле умрет, никогда больше не называть Валери Красный Нос и ни

с кем больше не ссориться. Валери вошла в столовую, чтобы принять гепатроль. У нее вечно бывают приступы печени. Пучок света лежал на ее лице, выхватывая губы и нос, казавшиеся совсем белыми. Когда она заметила под столом нас с Шарлем, она спохватилась и сказала:

— Мне все равно, пусть даже я разболеюсь, ведь Клер так страдает.

И, помолчав с минуту, добавила:

— Знаешь,— губы ее задрожали, а глаза закатились куда-то под лоб, и я уже поверила, что сейчас она совсем исчезнет,— знаешь, пусть бог возьмет мою жизнь в обмен на жизнь Клер.

Я чуть не задохнулась. И невольно крикнула:

— Дайте же ей умереть! Даже умереть спокойно здесь не дадут, даже умереть!

Прибежала мама. Она обняла нас, глаза у нее были совсем бесцветные, она все твердила:

— Господи, господи... сохрани жизнь моей девочке. Даже если она искалечена, даже парализована, даже обезображена, только сохрани мою Клер в живых.

Она поднялась, во взгляде ее навсегда угасла какая-то частица прошлой жизни. Еще она сказала:

— От меня скрывают правду.

И тут забыла про нас.

У папы просто мания какая-то фотографировать. У него есть старенький «кодак» с камерой гармошкой, снимки получаются очень светлые, и на них мы всегда выглядим гораздо красивее, чем в жизни,— верно, потому, что папа ошибается в наводке на дальность, а скорее даже, потому, что он раз и навсегда нацелил аппарат в бесконечность. Когда мы все уже были одеты — братья в коричневых штанишках на лямках, в которых щеголяли еще прошлой зимой, мама в шляпке, которую обычно надевает на свадьбы, с лицом акварельных тонов под слоем машинально, но умело наложенной косметики, Валери в белом пикейном платье и черных лакированных туфлях на каблуках, напудренная до самых глаз, чтобы скрыть следы слез,— папа в очередной раз выстроил всех на ступеньках террасы.

Каждое лето он делает всегда один и тот же снимок. И еще отмечает карандашом на двери ванной комнаты,

чтобы знать, насколько мы выросли. Шарль — 1 *м* 08, Оливье — 1 *м* 42, я — 1 *м* 57, Клер — 1 *м* 66, Валери — 1 *м* 70. Отныне к этим зарубкам мы уже не притронемся. Папа пожелал сейчас, чтобы между Валери и мной была пустая ступенька — ступенька Клер. На этом снимке головы у всех опущены. Мама умоляла его:

— Жером, ну Жером, поскорей, я хочу застать ее в живых.

Папа не переоделся. Он был в том же, что и за обедом, сером костюме, выглядевшем теперь чересчур светлым. Казалось, он ничего не слышит. Только белели суставы пальцев, обхвативших аппарат. Щелкнул затвор, и папа рухнул в шезлонг, голова его бессильно свесилась набок. Он заявил, что не сдвинется с места. Автомобили — это типичное орудие смерти. К своей машине он больше не подойдет. Или купит себе танк и будет давить подряд все машины, которые задавили Клер. Шарль смотрел на папу расширившимися глазами, и, хотя было жарко, у него начали лязгать зубы. Мамины руки повисли как плети, она вдруг вся как-то сникла. Поцеловала папу точно ребенка в щеку. И сказала:

— Может, ты немножко передохнешь? Приедешь попозже, когда почувствуешь себя лучше. Я просто не в силах тебя дожидаться.

А мне шепнула:

— Оставайся с папой. Следи, чтобы он не наделал глупостей.

Еще она поручила мне наши чемоданы, а сами они отправились на станцию пешком, мама и остальные трое.

Папа наконец решился. Мы уселись с ним вдвоем в огромный «пежо», кузов у него специально приспособлен для нашей семьи — два дополнительных откидных сиденья,— потому что обычно ехали мы пятеро детей, потом двое родителей, потом Анриетта и иногда бабушка. Жара обрушилась на папу. Он вздрагивал, жмурился, голова его падала на грудь, потом он снова ее вскидывал. Обычно, если поблизости не видно жандармов и мы с папой вдвоем, я держу руль, положив свои руки поверх папиных. Папа совсем оглох от слез. По щекам его тянулись блестящие дорожки вроде тех, что оставляет улитка. Ни разу еще я не видела, чтобы папа плакал. Я без конца твердила себе,

что Клер умерла или умирает, но все равно ничего не чувствовала.

Мы ехали, катили мимо людей — одни пили оранжад, другие собирали цветы у обочины. По мне, так лучше бы произошло землетрясение или пожар — в общем, что-то вполне реальное. Иногда папина ладонь на миг ложилась на мою руку, но я поспешно убирала ее. Он снова сказал прерывающимся голосом, что хотел бы врезаться во все машины, задавить убийцу, который задавил Клер. Он стал чересчур резко обходить грузовик с прицепом, я смотрела на огромные двойные колеса высотой почти что с нашу машину, и тут папа снова весь как-то обмяк, закрыл лицо руками, шофер грузовика сигналил, сигналил, я видела сквозь ветровое стекло его пылающее лицо и знала, что огромные колеса втягивают нас, вот-вот сотрут в порошок. Я ждала уже, что мы погибнем, но папой внезапно овладел гнев. На станции обслуживания мы выпили кока-колу, папа собирался было показать заправщику телеграмму о Клер, но я потянула его за рукав. Больше за всю дорогу мы не обменялись друг с другом ни словом.

Мы приехали на огромную площадь, на тот перекресток, откуда начинается главная трасса, а немного отступя от шоссе, было не то кафе, не то ресторанчик с террасой и цветником. Напротив кафе стоял полицейский автобус с антенной и жандарм, который направлял поток машин в объезд. Вокруг автобуса — толпа, нам видны были только спины. Папа поставил машину у кафе, и мы вышли. Мы с папой крепко-крепко держались за руки, и все перед нами расступались, и у нас перехватывало дыхание, а потом мы увидели там, за этими людьми, жандарма со складным метром, который промерял асфальт.

Он выпрямился, держась за поясницу. У края асфальта, около скамьи под сенью платанов, был нарисован мелом распростертый силуэт — раскинутые руки, одна нога короткая, другая длинная, и кровь, повсюду кровь, лужицы и ручейки крови, даже в сточной канаве кровь, местами такая густая, что меловые линии прорезали в ней розовые желобки. Воздух весь дрожал от солнечных стрел, глаза невольно щурились, и было жарко до тошноты. Папа выпустил мою руку, все смотрели на нас, смотрели и смотрели нам прямо в лицо, даже когда мы зажмурились. Хозяй-

ка кафе хотела увести меня, легонько подталкивая в спину, платье на ней было желтое, а губы намазаны слишком ярко. Какое было дело этой дурище до крови на мостовой — ведь это не ее кровь. Я сказала маминым тоном:

— Вы могли бы выплеснуть на дорогу ведро воды, раз знали, что приедут родные.

Папа обернулся. Жандармы стояли с похоронным видом. Мне хотелось выть. Я сжала папину руку, и мы выслушали объяснения жандармов. Тогда я ничего не запомнила, но с тех пор выучила это наизусть, потому что до самого суда папа сотни раз повторял нам мельчайшие подробности. Не выдержав, я потянула папу за рукав:

— Она жива?

— Да-да.— Папа был какой-то невнимательный, возбужденный.

И собаки запрыгали на солнцепеке, из окон машин торчали сачки для ловли бабочек, и люди на террасе кафе помешивали лед в бокалах с лимонадом. Мы поспешили сесть в машину.

Родильный дом, который держали монахини, стоял вроде бы на самой вершине холма. Не знаю, почему Клер отвезли именно туда. На пороге нас встретила молодая монашенка с ямочками на щеках. Она ласково посоветовала нам плакать тихонько, чтобы не расстраивать мамаш, которые только что произвели на свет божий младенчиков. Потом легко впорхнула в белый коридор, и складки ее платья взвихрились. Она сказала, что все сестры молятся о нас и что нашей Клер уже наверняка уготовано место в сонме ангелов. С великими предосторожностями монахиня открыла дверь в палату, сначала чуть ее приотворила, просунув внутрь свой чепец, потом с достоинством отступила, пропуская нас вперед.

Постель, где лежала Клер, тонула в полумраке. Я подумала, может, монахиня стоит за дверью, проверяя, не будем ли мы плакать слишком громко. Вскоре мы уже различили лилии на ночном столике в банке из-под джема. Я слышала папино дыхание. В комнате от всего веяло каким-то неземным покоем. Клер лежала, вытянувшись на спине, руки сложены на груди. Совсем не похожая на прежнюю. Выглядела гораздо старше. Это была не на самом деле Клер. Из-под толстого слоя ваты, которая чеп-

цом обхватывает голову, выбиваются пряди темно-рыжих волос, задубевшие, почти красные. Нос кажется совсем маленьким, верно, оттого, что подбородок и щеки распухли. Рот полуоткрыт, и зубы обнажены, словно в улыбке. Какие-то заледеневшие, синеватые зубы. Папа сказал: он рад, что мама не видела всего этого. Он всегда высказывается с запозданием, думаю, эти слова относились к той Клер, что была нарисована мелом на мостовой. Папа достал свой старенький «кодак» с камерой гармошкой и оперся на спинку кровати, считая: раз, два, три, четыре, пять — для выдержки. Все, кто видели этот снимок, говорили папе про Клер комплименты.

И в самом деле, на смертном ложе Клер улыбается. Надеюсь, что это просто уголки губ у нее приподняты лицевыми мускулами, которые свело от удара, раздробившего ей затылок. На снимке Клер словно осушенная до дна чаша света и мрака.

Сделав снимок, папа поставил рядом с Клер единственный имевшийся в комнате стул и сел. Он протянул руку, будто хотел взять ее за локоть, но тут же отдернул, точно осмелился на какой-то безумный жест. Он взглянул на меня с упреком, и, поскольку я все больше заливалась краской, медленно проговорил:

— Подойди, моя девочка, поцелуй сестру.

Когда мне бывает страшно, я неспособна ослушаться. Я старательно обдумывала, куда бы мне поцеловать Клер, чтобы не причинить папе страданий. Ни в ее распухшие щеки. Ни в висок, который почти целиком был скрыт под слоем ваты. В лоб. Туда, где сохраняется нечто живое, начертанное на мраморе статуй.

Потом для меня потянулись бесконечные минуты страха. Во рту до того пересохло, словно я никогда больше не смогу плюнуть, и это будет длиться вечно.

Мама приехала вдвоем с Валери. Она сделала крюк, чтобы завезти Оливье и Шарля к Анриетте. В Париже Анриетта когда-то всех нас поила молоком из бутылочки с соской, даже тетю Ребекку и маму, всех, кроме папы и бабушки. Мама бросилась к папе, как будто он был ее новообретенное дитя, они обнялись, потянулись приласкать друг друга, словно на пороге последнего безмолвия, вдохнули слезы, орошавшие их лица, отстранились на расстоя-

ние вытянутых рук, и вся эта драма, это одиночество растворились в их взгляде, и тогда, прижавшись друг к другу, объединенные общей тайной, они склонились над Клер; они искали себе прибежища над ее ложем, точно над колыбелью, и мама даже улыбнулась. Тут мы залились такими горючими слезами, что наши руки, плечи, лбы перемешались, и я любила всех, даже свою сестру Валери. А Клер лежала между нами, свежая, нежная, благоухающая эфиром, и мы нечаянно пошевелили ее, а монахиня сказала строго:

— Не притрагивайтесь к покойнице.

И все поспешно отступили. Мама выпрямилась последней. Она проговорила тихо, с мучительной нежностью:

— Она еще не закоченела...

Потом глаза ее расширились, и она добавила:

— Выйдите все. Я хочу в последний раз увидеть тело моей девочки.

Мне всегда стыдно за своих родителей. Сколько раз я мечтала быть как растение: высадили тебя в землю — и расти, и никого у тебя нет. За маму бывает ужасно неловко. Она не носит перчаток, лифчика, не закалывает волосы шпильками. По ее словам, ей ненавистно все, что сковывает. Если она встает среди ночи, то поднимает в ванной комнате ужасный шум. Когда ей случается нас наказывать, она потом просит прощения. Уж не знаешь, куда деваться. Она стоит перед тобой, и глаза у нее еще горячее и синее, чем обычно, и она говорит:

— Бедное мое дитя, у тебя скверная мать, нервная мать, мать, которая совсем вас не любит.

И смеется. Ну а мы вздыхаем. Часто она даже к обеду бывает неодета, слоняется по дому в кружевном пеньюаре с огромным декольте. За столом вдруг объявляет, что ей не хочется есть, она должна похудеть. А то еще изобретает себе всякие диеты — три дня подряд ест одни винные ягоды или рис, сваренный на воде, или швейцарский сыр — и злится по пустякам. Папа ворчит: пусть уж лучше она немножко пополнеет, лишь бы характером стала помягче. Тогда мама швыряет на стол салфетку и запирается в своей комнате. Через пять минут мы слышим, как она плачет. Я уверена, она нарочно плачет прямо у замочной скважины. Лицо у папы становится страдальче-

ским, он не совсем уверенным тоном велит кому-нибудь из нас пойти утешить маму. Обычно вызывается Клер. Клер безумно любит маму. Я видела, как мама хлестала ее мокрой тряпкой по щекам, а Клер даже не шелохнулась, глазом не моргнула, не пожаловалась. Тогда мама начинала рыдать и твердила, что Клер убивает ее. Клер — единственная, у кого мама никогда не просит прощения.

Мы с Валери, прислонясь к стене коридора, заложив руки за спину, ждали у двери палаты, где лежала Клер. Хотя мы и не смели сказать это вслух, мы прекрасно знали — и мама тоже знала,— что живая Клер не пожелала бы, чтобы ее вот так раздевали донага и разглядывали. Монашенки беспрестанно порхали перед нами. И все как одна, вылетая из-за поворота, подметали подолом радиатор в углу коридора. Они старались подбодрить нас красноречивыми жестами. А потом наступил час цветочных горшков.

Вдруг почти одновременно появились десятки мужчин с цветами. Эти цветы были предназначены пока что не для Клер. Мужчины открывали дверь за дверью, словно делали ходы при игре в гусек, и каждый раз в коридор врывался луч солнца, крик младенца, нежный щебет. Там, в палатах, все называли друг друга «миленькими».

Наконец распахнулась дверь палаты Клер. Штора на окне была теперь приподнята. В маминых глазах вспыхивали яркие искорки, словно она вдруг сделала какое-то неожиданное открытие. Лицо у Клер потемнело.

— Знаете, до чего глупо,— сказала мама,— у нее на лбу маленький прыщик, и я подумала, что надо бы приложить каломель.

Папа и мама будто гордятся, глядите, мол, как они привыкли к телу Клер. У папы снова начался тик, он беспрестанно подергивает бровями и обламывает кончики ногтей. Мама обняла меня и Валери. Она поклялась, что никогда больше не станет нас наказывать. А потом мы должны были поклясться ей, что никогда больше не сядем на велосипед. Клер задавили, когда она ехала на велосипеде. Значит, теперь за городом нас будут держать взаперти, намертво. Я спросила у мамы:

— И Оливье с Шарлем тоже больше не сядут на велосипед?

— Никто больше. Никогда. О! Господи! О! Клер!

С тех пор у мамы страх перед велосипедами. Когда она из машины замечает велосипедиста, едущего у самой обочины, она поднимает крик и крутит руль, который держит папа.

В палату снова проскользнула монашенка, оставив дверь приоткрытой, голову она склонила набок. Мама питает уважение к монахиням, она твердит, что им удалось со мной сладить. Ясное дело, не стану же я бунтовать в пансионе против их порядков: мне важно одно — поскорей вырасти.

Монахиня подошла к маме и что-то зашептала ей на ухо, мама с воплем вскочила, умоляя не отправлять в морг ее дочь. Потом стала наседать на папу:

— Жером, да предприми же что-нибудь.

Папа сказал, что в воскресенье ничего предпринять нельзя. Он машинально скреб себе шею, а монашенка, перебирая четки, сказала, что у них морг совсем особенный. Там только младенцы и молодая женщина одного с Клер возраста, девятнадцати лет. Мама и слушать не хотела, не хотела покидать Клер, хотела, чтобы Клер принадлежала ей, только ей, все дни и ночи, пока ее не предадут земле.

— Стало быть, послезавтра как раз четырнадцатое июля,— заметила монашка,— стало быть, самое раннее — это будет в четверг, стало быть, это поздновато. Уж не говоря о комнате, она ведь, знаете ли, занята...

В Крийоне в гостинице была заказана комната для Алена и Клер на вечер их свадьбы. Мама предложила монахине сделать какое-нибудь пожертвование на благотворительные дела. В эту минуту вошел мой бывший будущий зять, и все замолчали.

Ален всегда так нежно улыбался Клер. Ни разу мы не видели его подозрительным или гневным. Как утверждает мама, человека вообще нельзя узнать, пока он не скажет тебе: «дерьмо». Когда мама произносит это слово, делается как-то неловко. Чувствуешь, что она заставляет себя. Я ощущаю неловкость, когда она заставляет себя что-то делать. Как-то она позвала меня и Оливье, чтобы побесе-

довать с нами о сексуальных проблемах. Оливье корчился от смеха и попросил ее проиллюстрировать рассказ рисунками. Я предложила маме: пусть купит мне книжку на эту тему, больше мы к тому разговору не возвращались. Терпеть не могу, когда мне объясняют назначение различных органов моего тела. В один из вечеров Клер рыдая вышла из маминой комнаты.

— Ну да, непоправимое свершилось, нет у меня больше твоего приданого, этой святыни.— И она рыдала так, как одна только Клер умела рыдать или смеяться, или, раскинув руки, точно крылья, идти по гребню крыши загородного дома, или подражать крику совы, дуя в сложенные ладони. Я знаю, мама будет вспоминать обо всем этом. Будет терзаться угрызениями совести.

Мама лишь совсем недавно сделалась ласковой с Клер. Это произошло на Пасху, когда Клер вдруг стала такой красивой. Словно на нее обрушился целый поток света. Зубы, волосы, глаза, кожа — все в ней как бы озарилось. И все люди, все люди на улице и повсюду смотрели на нее и улыбались. Валери с каким-то ожесточением взялась объяснять причину новой красоты Клер. Пожимала плечами.

— Она нарочно напускает на лицо это выражение, чтобы привлекать молодых людей.

Вообще-то Валери не слишком ко мне пристает. Я, единственная в семье, осмеливаюсь залепить ей пощечину. Но поскольку я для этого недостаточно высокая, я жду, когда она сядет, или сама влезаю на стул, как только она забудет о нашей ссоре. Если я очень уж разозлюсь, я заявляю, что встану как-нибудь ночью и тресну изо всех сил по ее перекроенному носу. Я себя ненавижу и презираю за эту злость, но я знаю, по-настоящему доброй я буду только, когда дождусь своего — дождусь, пока вырасту. Мама не сразу заметила, что Клер стала такая красивая. Она по-прежнему раздражалась, прикладывала руку ко лбу, ну совсем как бабушка.

— Как я от тебя устала, Клер.

И смех Клер тотчас обрывался. Она смотрела на маму как-то грустно и выжидательно. Мама отворачивалась или же выходила из комнаты, так как вместе со смехом Клер исчезала причина для сетований. Ален тоже появился на Пасху. Он взглянул на Клер, и Клер сразу сделалась молчаливой. Мама превратила это в настоящее торжество.

У Клер наконец-то появились новые платья. Прежде мама просто укорачивала для нее старые платья Валери. И Клер уже не послали ни в Швейцарию, ни в Англию, ни в Германию, ни еще в какую-нибудь страну, где мама находила семью, которая держала бы ее по вечерам взаперти. Клер теперь носила белые шерстяные брюки и амазонку, обшитую коричневым шнуром, для завтраков в «Поло де Багатель», изумрудную тунику для обедов у «Максима» или воздушный наряд из тюсора, чтобы отправиться на танцы с Аленом. Мама просто бесилась во время примерок, придиралась к портнихе:

— Да не подчеркивайте вы так у нее грудь!

— Я вовсе и не подчеркиваю, мадам, но куда же ее деть!

Портниха цедила слова сквозь зубы, во рту у нее было полно булавок, Клер слегка краснела, но глаза ее исподтишка смеялись. Ален просил у мамы ее руки. Не у папы. А папа только отшучивался — в этом семействе от него все скрывают. Ален целых два года был траппистом. Мама не желает, чтобы об этом говорили, а то у него могут быть неприятности. Папа говорит, что этот болван (то есть Ален) лишился таким образом места в банке у своего отца и что его брат (который менее глуп) сумел повернуть это к своей выгоде.

Мама возражает, что Ален, во всяком случае, пользуется доходами с капитала своей матушки и что потом, после смерти отца, банк перейдет к нему. Ален уверяет, что сразу же влюбился в Валери, в Клер и даже в меня. А выбрал он Клер, потому что она самая живая. Во время помолвки Клер Валери убежала на кухню поплакать. Мама, сдержанно улыбаясь, принимала поздравления — Ален как раз то, что нужно Клер, он сумеет ее укротить. Мама часто говорит о Клер, точно о молодой горячей лошадке с темно-рыжей гривой. Папа без конца пил шампанское, похлопывал по плечу своих коллег, офицеров Почетного легиона:

— Надо еще двух дочерей пристроить, старина! Не найдется ли у тебя сына их возраста?

Мама лягнула его под столом ногой, и папа, вскрикнув «ой», подскочил прямо как в кинокомедии. Анриетта сказала, что бриллиантовое кольцо Клер стоит самое меньшее двести пятьдесят тысяч.

Рука Клер казалась теперь еще меньше и бледнее, она прятала ее за спину. Я уверена, что для Клер Ален был

явлением чересчур сложным. Когда она смотрела на него, она переставала смеяться. Медленно подходила, брала его руку в свои ладони, терлась лбом и носом о его плечо, совсем так, как жеребенок трется о стволы яблонь.

Ален появился в дверях палаты Клер в клинике, прижимая к груди целую охапку цветов. Он вошел, ни на кого не глядя, шагнул прямо к Клер и положил букет к ее ногам. Теперь вид у нее стал совсем мертвый. Губы Алена дрогнули. Он заключил в объятия маму, и она, закрыв глаза, несколько раз качнула головой. Он назвал ее «мамой». Потом обнял папу и назвал его «папой». Сложив руки на животе, монахиня взирала на нас с восхищением.

Мы долго стояли вокруг постели Клер, смотрели на нее так, что казалось, вот-вот она зашевелится. От лилий исходил усыпляющий нежный аромат. Я послала в пространство по волнам молчания имя Клер, словно свистнула в папин свисток для собак. Дунешь туда тихонько, и Бобби за много километров от тебя услышит и возвращается. И так десятки раз. Клер... О! КЛЕР! Я думала о Клер, которая ехала на велосипеде, а за спиной ее по ветру развевались волосы. Она смеялась, и смех ее был полон солнца. Я думала о той приближающейся машине и о Клер, переброшенной через капот. О кричащей Клер, кричащей, а потом переставшей кричать. Кричала ли она?

В конце коридора я увидела монахиню, она укладывала марлю для компрессов на металлическую тележку.

— Что делали моей сестре?

Она только на секунду подняла глаза, очки ее блеснули на солнце.

— Да ничего, в сущности. Она умерла по дороге сюда.

— А зачем тогда вата вокруг головы?

Она ответила совсем как бабушка Красной Шапочки:

— Чтобы скрыть раны, дитя мое.

А были еще и другие раны там, под простыней? Монахиня сказала, словно о пустяке:

— Открытый перелом ноги и разрыв бедренной артерии.

— Она кричала?

— Да что вы! Она не успела.

Во всяком случае, Клер была не виновата. Жандарм сказал папе, что у нее было преимущество при движении.

Я почти совсем не знала Клер. Все эти годы я провела в пансионе. Приезжая домой, я сплю в ее комнате. Она побоялась меня разбудить. Оделась при закрытых ставнях. Натянула спортивную блузу и джинсы, потом долго причесывалась, откидывая назад голову, и волна волос с электрическим потрескиванием спускалась до самого пола. Она целый час накладывала на лицо косметику, улыбалась и напевала, как человек, который ждет какого-то события, потом подошла к моей кровати.

— Послушай-ка, ты, не притворяйся, что спишь. Скажешь папе, что я выбрала серебряные ложечки в форме ракушки.

И это все. Она не попрощалась, ничего не сказала. Уехала и умерла. Всех нас отвергла. Здорово нас провела. Зря она ждет, что я стану ее оплакивать. У Клер нет больше лица. Она утратила свои черты, как некое магическое заклинание, как заклятие. Мне хотелось бы стать такой же незнакомкой.

Ален отвез нас в Париж. Мама с папой остались около Клер. Из-за ветра мы все время жмурились. Солнце еще не зашло. Ален поднял откидной верх. Он вел машину и курил, левая его рука свисала наружу, и мы ехали медленно, словно на отдыхе. Валери сидела рядом с Аленом, на месте Клер.

Перед киоском, к крыше которого были прицеплены воздушные шары, Ален остановился и купил нам мороженое. Мы ели с серьезным видом, стоя у обочины, слизывали кончиком языка слой за слоем. От проносившихся мимо машин подол платья бился о ноги. Я три раза повторила про себя: Клер никогда больше не будет есть клубничное мороженое. А потом?

«А потом... ничего. Такое долгое потом...»

Иногда ночью Клер твердит это, думая, что я сплю, и говорит еще другое, и тихонько плачет, и громко смеется, а я боюсь, вдруг она догадается, что я проснулась.

В нашей парижской квартире мебель была в чехлах, пепельницы вытряхнуты, вазы пустые, ковры скатаны. Захлопали двери. В передней на кресло был брошен плащ, его забыла здесь Клер. Валери мимоходом спокойно под-

хватила его, прошла во вторую прихожую, стена которой из раздвижных зеркал примыкает к нашим спальням, и, хотя там был полумрак, я видела, как она натянула на себя новый плащ Клер и вертелась во все стороны, чтобы рассмотреть, идет ли он ей. Я потихоньку приблизилась и сказала ей очень вежливо:

— Ты что, берешь его себе?

Она взглянула на меня в зеркало и ответила:

— Уж конечно, я оставлю его себе, с какой стати он должен доставаться кому-то другому.

Мы долго-долго смотрели друг на друга в зеркало, пока изображение не затуманилось.

— Что это на тебя нашло? Чего ты в конце концов хочешь? — сказала Валери.

Это было, ей-богу, не нарочно, просто я сморозила глупость:

— Хочу, чтобы плащ остался у Клер.

Ненавижу перекроенный нос Валери. Ненавижу ее особый запах. Ненавижу ее вместе с ее слабительными. Ненавижу ее в сочельник. Вот Клер в сочельник подарит тебе разрезальный нож из бузины, на котором острием перочинного ножа она сама вырезала трех соловьев. По крайней мере она сказала, что это соловьи.

Прибежала Анриетта, держа на руках Шарля, закутанного в купальный халат. Лицо у нее было мокрое, разбухло как губка. Фартук она сняла, и из-за черного платья казалось, что она в трауре; она сказала нам:

— Какое несчастье, нет, это просто невозможно, такая красивая девочка, лучше вас всех, я совсем голову потеряла, вот уже третий раз купаю ваших братцев, а они, бедненькие мои купальщики, даже не скандалят.

За спиной Анриетты Валери повертела пальцем у виска и взглянула на Алена. Анриетта открыла в гостиной ставни, принесла большой кувшин сангрии — красного вина с плававшими в нем кружочками апельсинов и лимонов. Тоненько позвякивали ледышки. Она сказала, что ведь надо все же хорошо принять беднягу Алена, вдовца, не успевшего стать мужем. Ален достал из кармана записную книжку и начал золотым карандашиком отмечать галочками фамилии в списке. Потом поставил на колени телефон. Валери протянула ему бокал, весь запотевший, с липким ободком по краю. Он положил руку на голову Валери, сидевшей с ним рядом, и, зажав телефонную

трубку между ухом и плечом, стал свободной рукой набирать номера телефонов. Отхлебывая маленькими глотками вино, он сообщал всем, что Клер умерла. Да, сразу. Нет, не мучилась. Лицо у нее, благодарение богу, совсем не пострадало.

Бабушка Картэ явилась ужинать с нами. Ключи от нашей квартиры прицеплены у нее к общей связке, и еще издали слышно, как она ими позвякивает. Вся в черном, надушенная «Эмерод де Коти», она говорит так тихо, что все умолкают, иначе не слышно слов, плечи у нее совсем согнутые, и ее мучит одышка. В шелковых складках платья прятались жемчужины четок, и ее пальцы перебирали их. Она купила заливного цыпленка и ананасный торт. И велела Анриетте поднять с постели Оливье и Шарля, чтобы мы все вместе помолились. Она так печально поцеловала нас, что мурашки пошли по коже.

Она поцеловала также Алена, притянув его к себе за галстук. Бабушка обладала особым даром превращать нас всех в малых детей. Стоит ей появиться на пороге, как тут же надо вскакивать, обрывать разговор, смотреть только на нее. Она бросает как бы в шутку:

— Кто знает, долго ли еще вам суждено меня видеть? В мои годы весишь чуть больше перышка, порыв ветра подхватит и...— фьюить! — унесет вашу бабулю.

Теперь из-за Клер она, должно быть, чувствовала себя задетой. Она прошла в столовую, опираясь на руку Алена. Взглянула в проем большого окна сквозь лазурные очки и напомнила о том дне,— да не вчера ли это было? — когда мы все так передрались, что поданные на десерт сливочные сырки, пролетая над столом, шмякались об оконное стекло. Она спохватилась и, чтобы подправить картину, сказала:

— Но в глубине души, дорогие мои детки, вы крепко любите друг друга, правда? Теперь вам надо еще сильнее любить друг друга, чтобы потом не пришлось себя укорять.

Она вздохнула и еще раз вздохнула:

— Вашей бедной мамочке... верно, хотелось бы, чтобы я была там?

Мы отвечали:

— Да, бабуля, но она боялась, что это тебя утомит.

Погрузив нос в носовой платок, она проговорила сквозь батист:

— И для чего только щадить мою старую жизнь?

Мы не знали, что ответить. Столовую затопляли краски и запахи летнего вечера. Словно наши слова и жесты были ненастоящими, словно Клер и не думала умирать. Самый мой любимый торт ананасный.

Обычно посередине обеденного стола три бронзовых амура держат на своих крыльях корзину, наполненную камелиями или черным виноградом. Мамины кольца сверкают, когда она вертит в руках хрустальную подставку для ножей. Граненые пробки преломляют темный или бледный отблеск вина в графинах. Стулья у нас с выгнутыми ножками, с настоящими резными копытцами, но, к несчастью, Оливье, Шарль и я порвали кожу на сиденьях. Из-за шафрановых занавесей столовая всегда будто залита солнцем. Когда Анриетта разносит блюда, от рук ее пышет жаром, а платье слегка трещит в пройме. Против света волосы Клер кажутся на удивление блеклыми. Положив локти на стол, она подмигивает Шарлю, тот смеется и шлепает ложкой в своем пюре. Мама ударяет черенком ножа Клер по локтю:

— Нарочно ты что ли?

Если Клер говорит «да», разыгрывается сцена. За каждой едой бывает сцена. Оливье непременно желает пить молоко из кубка, как американские солдаты. Он требует, чтобы ему стригли голову под машинку, устраивает со своим пулеметом засаду в коридоре и осыпает нам ноги стрелами. Я дразню его, говорю, что он точь-в-точь штатский немец на развалинах Берлина — с тощими икрами и уродливым черепом. За столом я непременно стараюсь залпом выпить его молоко. Он вопит, мама сердится — насколько же всем спокойнее, когда я в пансионе. На глаза у меня навертываются слезы, щиплет в носу, но я улыбаюсь маме, улыбаюсь прямо ей в лицо, и она кричит:

— Не смей на меня так смотреть! Да уйми ты ее, Жером.

Папе все это просто осточертело, он встает и объявляет, что идет в кино. И громко хлопает входной дверью, но, поскольку через десять минут он все равно вернется, нас это не тревожит. А мама тем временем плачет. Она говорит,

что они с папой были так счастливы, пока мы не появились на свет, и что мы порвали кожаную обивку на стульях.

Сейчас никто не ссорился. Бабушка, проворно орудуя пальцами, расправлялась с остовом цыпленка. Куриную гузку она называет «укромным местечком». Ален по оплошности налил мне вина, и я выпила. Валери, загибая пальцы, вместе с Аленом вспоминала все мелочи, которыми придется заниматься завтра. Отменить уведомления о предстоящей свадьбе. Отослать подарки, за которые Клер еще не успела поблагодарить. Подсчитать совместные расходы папы и Алена на квартиру для новобрачных. Валери подняла увлажнившийся взгляд:

— И вы будете там жить один, Ален? Как все это грустно!

Ален предложил, чтобы мы все перешли на «ты». Он спокойно и рассудительно посматривал на нас. Когда потом, в декабре, он женился, Анриетта сказала, словно спорила с кем-то:

— Уж этот-то не помирал от горя, сразу видно было.

Но в монастырях они все такие, смерть для них — заупокойная месса, и только. В пансионе, когда умирала одна из сестер, нам обычно давали шоколадный крем. Голова у бабушки совсем отяжелела, она подпирала ладонями лоб и говорила обо всех, кто умер на ее веку: о тетушке Клеманс, которой в восемьдесят лет ничего не стоило перекинуть ногу через стул; о своем брате, маленьком Жан-Луи, который утонул сразу после обеда сорок лет назад; о старой подруге Клотильде и еще о множестве других людей, которых мы не знали. Только о нашем дедушке она забыла, но мы не стали ей напоминать.

Клер отходила все дальше и дальше. Я боялась, вдруг кто-нибудь произнесет ее имя. Боялась, вдруг Клер вернется. Я вспомнила аромат лилий в клинике и вышла из-за стола — день был таким необычным, что никто ничего мне не сказал. Я не захотела ночевать в спальне Клер.

И отправилась в комнату, которая у нас называлась «Наполеон», потому что папа превратил ее почти что в мавзолей императора: в запертой на ключ витрине хранится треуголка, пистолеты его сына, Римского короля, с перламутровой рукояткой, сабли трех-четырех маршалов вро-

де Нея или Ла Бедуайера, а также фанфары и знамена их полков. Повсюду в комнате эмблема Наполеона — золотые пчелы: на стенах, занавесях и даже на кровати, доставленной из Мальмезона. До чего же, вероятно, тоскливо в этом Мальмезоне по воскресеньям.

Я легла, натянув простыню на голову, надавила кулаками глазные яблоки, чтобы замельтешили красные звездочки — это я обожаю. Но я стала думать о Клер, о ее неплотно прикрытых веках, о неестественно сложенных руках, о холоде кожи, который я ощутила, когда пришлось ее поцеловать.

В нашем загородном доме Клер, бывало, потащит меня за собой ночью в сад. Освещенные окна исчезают за поворотом аллеи, делается так темно, что мы беремся за руки, чтобы не потерять друг друга. Вдруг Клер, не предупреждая, выпускает мою руку, и я не знаю, близко или далеко она от меня. Она дует в сложенные раковиной ладони, сначала это крик совы или гудок парохода в тумане, потом он переходит в жалобу, словно кто-то ужасно несчастный стонет в темноте, и вдруг я ощущаю руки Клер на своем лице, словно прикосновение души, отлетающей от земли.

Я принялась орать. Орала я с такой силой, что нити, удерживавшие меня в «Наполеоне», порвались, и я устремилась к горизонту; за моей спиной один за другим рушились в бездну годы, и я была свободна, меня увлекали за собой небесные светила — те, что августовскими ночами свершают свой оборот вокруг солнца, а мы внизу говорим: «Гляди-ка, звездочка покатилась...»

И тут меня разбудили. Валери трясла меня за плечо:

— Ты что, больна?

Я сказала:

— Я видела Клер в ногах своей кровати.

В конце концов мой страх передался и ей. Валери перетащила свой матрас в «Наполеон». Время от времени мы спрашивали друг друга: «Спишь?», чтобы не поддаться сну. Нам чудилось, будто этим мы защищаемся от Клер и ей до нас не добраться. Две машины, рокоча моторами, въехали на нашу улицу и остановились как раз под окнами: слышно было, как хлопают дверцы, смеются люди. Я встала, перегнулась через перила балкона. И увидела

двух женщин в длинных платьях, словно сошедших с обложки модного журнала, и двух мужчин в смокингах, в точности такая сцена, участницей которой я представляю себя в будущем, одна из тех сцен, что позволяют мне терпеливо дожидаться, пока я вырасту; но в тот момент это и правда вывело меня из себя и я крикнула:

— Вы что, не можете помолчать немного? В доме покойник.

Воцарилась тишина. Машины бесшумно отъехали. Спустя некоторое время Валери сказала:

— Все-таки ты уж чересчур.

Папа резко распахнул дверь «Наполеона». И обнаружил, что мы лежим вдвоем на одном матрасе — так мы в конце концов уснули вместе, прижавшись друг к другу.

— Бедные мои девочки,— сказал он,— бросили вас совсем одних.

Крупными шагами он подошел к окну, раздвинул жалюзи, из-за яркого солнца мы заползли под простыни. С улицы, где проехала поливальная машина, доносился запах дождя. Папа без пиджака, с расстегнутым воротом рубашки и небритыми щеками напоминал какого-то узника из кинофильма.

Папа не любит, когда мы поздно встаем; он входит к нам в спальни, приставляет к губам большой палец, словно мундштук горна, и кричит, поднимая, как по тревоге:

— Подъем! Боши идут врассыпную, цепью!

Обалдело вскакиваешь с постели, и, пока сообразишь, что это шутка, сон как рукой сняло, и бесполезно пытаться снова заснуть. Но сегодня папа торопил нас совсем иначе, словно получил еще одну телеграмму; мы сели, закутавшись в простыни, протирая глаза, и Валери проворчала:

— Папа, еще шести нет.

— Подъем!

— Но что случилось, в конце концов? — запротестовала Валери.— Прежде всего выйди отсюда, дай нам одеться.

В эту минуту появился Шарль, он волочил по полу своего мишку Селеста, держа его за лапу. Шарль вцепился в папину ногу и твердил, подражая Валери:

— Что случилось, папа? Что случилось?

Папа тряхнул Шарля, чтобы тот выпустил его штанину, и влепил ему парочку подзатыльников, пожалуй чересчур сильных; Шарль недоуменно вскинул на него глаза и вдруг завыл, сначала вроде бы нерешительно, потом завопил отчаянно. Папа заткнул уши:

— Да замолчите же вы наконец! Вы что, забыли, что у вас умерла сестра?

Тут вошел Оливье, босой, еще не совсем проснувшийся; он увидел, что Шарля наказали, уголки его губ опустились, и, желая защитить брата, он сказал:

— А мне плевать, что она умерла.

Мы все затаили дыхание и смотрели на папу. Папа утонул в молчании, руки его бессильно повисли, он заплакал, но теперь совсем беззвучно. Он поцеловал нас, как в те дни, когда особенно любил и называл «милые вы мои».

Анриетта толкнула дверь, застегивая на ходу блузу, которую обычно надевала, чтобы купать Оливье и Шарля; увидев нас, она прижала ладони к лицу и залилась слезами. Папа, слабо улыбаясь, спросил:

— Вы тоже любили Клер, Анриетта?

— Не могу этому поверить,— рыдала Анриетта,— не могу поверить, мсье.

Папа помотал головой, совсем как лошадь. Наконец сказал, не глядя на нас:

— Сегодня утром на пальцах у Клер выступили черные пятна.

Мы бесшумно оделись. Даже Оливье и Шарль не проронили ни слова. За завтраком слышно было только позвякивание чашек о блюдца, потом мы в строгом порядке спустились по лестнице вместе с папой, стараясь шагать совсем неслышно.

Был канун 14 июля. К балконам уже прикрепляли флаги, цветочницы поливали выставленные на тротуаре горшки с цветами, и на пыльном асфальте растекались круглые лужицы.

Для клиники час был еще ранний; вазы с цветами, стоявшие на полу в коридоре, еще не внесли обратно в палаты; монахини в белых ночных одеяниях, еле шевеля губами, дочитывали молитвы, и поэтому не могли с нами поздороваться.

Перед палатой Клер цветов не было. Папа приоткрыл

дверь, и мы друг за дружкой протиснулись туда; мама молча поднялась нам навстречу и коснулась плеча каждого из нас, словно пересчитывая. Она не плакала, от нее веяло каменным спокойствием. Она приподняла штору и сказала, что не решается совсем ее отдернуть из-за пятен.

— Взгляни, Жером, еще одно появилось на подбородке.

Мы выстроились вокруг кровати Клер и, стараясь не подать виду, искали глазами пятна. Маленькие круглые пятна. Фиолетовые. А не черные. Оливье и Шарль еще не видели Клер. Оливье оперся о край матраса, стал на цыпочки, широко открыл рот, но не произнес ни слова. Папа приподнял Шарля, наклонил его над Клер, мама сказала:

— Нет-нет, Жером, он еще слишком мал.

— Я хочу, чтобы он запомнил,— ответил папа.

Шарль, потянувшись руками к лицу Клер, запечатлел на нем слюнявый поцелуй. Папа опустил его на пол; Шарль вздохнул, обвел нас взглядом, снова повернулся к Клер и, ухватившись за простыню, хотел вскарабкаться на постель.

— Не трогай, детка,— сказал папа.

Клер стала неподвижно твердой, это сразу было заметно. Папа подтолкнул Оливье:

— Хочешь поцеловать Клер?

Оливье быстро-быстро замотал головой и попятился к стене.

— Поцелуйте Клер,— раздраженно сказал папа,— все поцелуйте.

Мы не могли. Клер медленно погружалась на дно, к центру земли. Лицо ее поблекло, как отцветшие цветы, которые вот-вот осыплются. Мы боялись Клер. Папа настаивал:

— В последний раз.

Он притянул Валери за шею, она упиралась.

— Как? Ты не хочешь?

Валери сказала:

— Да нет, конечно, хочу.

Но не сдвинулась с места. Мама словно вдруг очнулась, она спокойно сказала:

— Оставь их, Жером, они правы, это негигиенично.

Мама вечно воюет с микробами. Стоит кому-нибудь из посторонних поговорить в нашем доме по телефону, она, едва дождавшись, когда положат трубку, тут же протирает аппарат ватой, смоченной одеколоном.

Мы, ничего не понимая, взглянули на маму. А потом, конечно, сразу вспомнили все эти истории, которые любят рассказывать, о могильных червях и прочем, и бросились к Клер, мы крепко целовали ее, так крепко. «Клер, умоляю тебя, не сгнивай никогда». И мы принялись вопить — словно таким способом еще можно было удержать Клер, вернуть Клер. Сразу же появилась монашенка:

— Пожалуйста, потише, вас слышно в том конце коридора!

Около полудня монашенка объяснила:

— Все это из-за жары. Если вы будете ждать дольше, у вас могут быть неприятности.

Она откинула назад монашеское покрывало, заколов его булавкой, на лбу и на носу у нее блестели капельки пота, выглядела она совсем нестарой. Она взяла блюдце с водой, веточку букса и две свечи, я помогла ей вынести все это в коридор; там я спросила:

— А лилии оставите?

Она ответила, что лилии брали из соседней палаты. Она ходила быстрыми шагами, и ее кожаные туфли поскрипывали.

Когда мне делали операцию аппендицита, меня положили на каталку, покрытую белой простыней, повезли по коридорам, а я смеялась и твердила: «Быстрей, еще быстрей», и у меня кружилась голова.

Так же поступили они и с Клер. Два санитара привезли в палату каталку и поставили рядом с кроватью. Они приподняли Клер за плечи и за ноги — тело ее не прогнулось посредине, оно оставалось прямым, точно ствол дерева,— и опустили его на каталку.

Мы отошли в глубь палаты, уступив место каталке, папа с мамой стояли впереди, заслоняя от нас кровать. Папа обеими руками поддерживал маму, а мама сказала:

— Поосторожнее, ох, да поосторожнее... — когда перекладывали Клер.

Монашенка хлопотала, снимала с матраса простыню, расстегивала пуговицы на наволочке; она шепнула, не переставая сноровисто двигать пальцами:

— Не держитесь все вместе, а то получится настоящая процессия.

Мы ничего не ответили. Мама склонилась над Клер в головах каталки, лицо у нее было такое, как бывает, когда мы болеем и она говорит нам:

— Усни, мама тут, с тобой, твоя боль перейдет к маме.

И правда. Просыпаешься окрепшей, а мама словно и не пошевельнулась, ты по-прежнему прижимаешь ее руку к сердцу. А у нее уже припасен для тебя сюрприз: то ли абрикосы, то ли куколка, наряженная сиделкой. Мама погладила Клер по щеке, прежде чем монахиня натянула на ее лицо простыню. Папа подхватил на руки Шарля, который ходит слишком медленно, и мы вышли в коридор. Впереди вприпрыжку спешила монашенка, подметая подолом плитки пола; другие сестры, прижавшись к стене, крестились, когда мы проходили мимо. Каталку поместили в лифт, а мы стали спускаться вниз по лестнице, все, кроме мамы,— она по-прежнему крепко сжимала железную ручку каталки.

Мы вышли в сад. Солнце уже высоко поднялось над цветником, и нельзя было различить, какое небо: голубое или белое, ветер приносил с собой запахи песка и нагретого асфальта. Каталка с трудом продвигалась по гравию, Клер подбрасывало на ней, и мама положила ладонь на сложенные руки Клер, в том месте, где под простыней отчетливо выступал холмик. Оливье ныл:

— Мама, у меня во рту пересохло, пить хочу.

Мама едва слышно проговорила:

— Сейчас, сейчас.

Мы остановились перед небольшим одноэтажным домиком, стоявшим в стороне. Нас уже ждали люди в черном, в полосатых брюках. Они обнажили головы и знаком велели продвинуть каталку дальше — так загоняют в гараж машину. Внутри было свежо и хорошо пахло. И кругом было множество всяких цветов — гладиолусы, анютины глазки, лилии, розы, маргаритки и еще букеты, венки из одних только белых цветов, лежавших даже на черно-белых плитах пола. Соломенные стулья выстроились вдоль стен, как в ризнице. Ален был уже здесь, он встал, держась очень прямо, скрестив руки на втянутом животе, словно старался сдержать икоту. Он взглянул на каталку, потянулся было к Клер, потом закрыл глаза. Распахнулись двустворчатые двери, и мы увидели яркую, выкра-

шенную в зеленый цвет комнату и на помосте — гроб. Клер вовсе не была такой большой. Мы сразу догадались, что это гроб, какая-то совсем новая мебель, вроде буфета из «Галери Барбес». Валери моргнула и выдавила из глаз две слезинки, блеснувшие у нее на щеках. Санитары втолкнули папу, маму и Алена в комнату и захлопнули дверь у нас перед носом.

Мы стояли, прислушиваясь к тому, что происходило за дверью: вот зашуршали простыни, заскрипела каталка, скрежет колес о камень, шумное дыхание людей, несущих какую-то тяжесть и чей-то голос:

— Осторожно... хоп!

Шарль сосал большой палец. Вышли санитары с пустой каталкой, они кивнули нам на прощание и на цыпочках удалились.

В дверях появился папа, дрожавший всем телом, он велел нам войти. Мама стояла к нам спиной, и, когда папа дотронулся до ее плеча, чтобы обратить на нас внимание, она рывком высвободилась, даже не обернувшись к нам. Ален удерживал дыхание, он тоже на нас не взглянул.

Никто теперь не мог поцеловать Клер. Обтянутые крепом стенки помоста были слишком высоки. Не знаю, кто позаботился о Клер, люди в черном или санитары, только она опять стала прежней. Убрали вату, окутывавшую ее голову, волосы снова падали свободно, на ней было белое подвенечное платье. Надо было бы запретить смотреть на эту притворно уснувшую Клер, заключенную в атласный футляр, как в чрево кита.

Я думаю, перед умершим всегда чувствуешь себя дурак дураком. Прощай, Клер, прощай твой последний земной облик, как выражается папа. Уходи от нас поскорее, уходи подальше — ведь то, что ты еще здесь, уже ничему не поможет. Уходи, пока нам не стало стыдно.

Люди в черном попросили у папы разрешения действовать, папа склонил голову, они подняли крышку, хорошенько пригнали ее к гробу, достали из сумки горелку, один из них надел прозрачную маску. И они запаяли Клер.

Едва вылетели первые голубые искорки, мама сразу же увела нас на улицу. Выйдя на солнце, она провела по волосам гребенкой — у нее были коротко подстриженные во-

лосы, каштановые и белокурые вперемежку,— взяла Оливье и Шарля за руки и сказала:

— А сейчас мы с вами вкусно позавтракаем, ладно?

Клер пошла с нами. Она догнала нас в обсаженной кустарником аллее. На ней была шелковая желтая кофта с большим вырезом, широкие черные расклешенные книзу брюки, золотистые итальянские босоножки. Волосы ее струились по плечам, она ступала по гравию совершенно бесшумно. Солнце завладело миром. Я вдохнула так глубоко, что оно осветило до дна мои легкие, две темнорубиновые пещеры, и сделала несколько па. Валери ущипнула меня с вывертом, шепнув:

— Ты что, с ума сошла?

От жары нас бросало в дрожь. Голова гудела от этого белесого солнца, обрушившегося на нас, едва мы вышли из домика, где осталась Клер. Папа шагал, закрыв лицо ладонями, точь-в-точь Адам, изгнанный из земного рая, каким он изображен в книге по Священной истории. Я попробовала: сквозь пальцы все отлично видно. К нам приблизились родители Алена... пожилой господин с трудом подкатил свою жену, колеса глубоко врезались в гравий.

Старая дама до того толстая, что уже никогда больше не сможет ходить. Она так и живет в кресле с велосипедной передачей, его можно вкатывать даже по лестнице. Когда ей делается скучно, она стучит палкой об пол и ей подают наверх бутерброды с паштетом из гусиной печенки.

Она утверждает, что в свое время у нее была такая тонкая талия, что даже Клер не влезла бы в ее корсет новобрачной. Из глаз ее катились голубые слезы. Она непременно хотела нас поцеловать, и пожилой господин тоже. Мама обычно против этого возражает: на губе у него какая-то болячка, как знать, не рак ли это.

Они сказали нам, что очень любили Клер. Называли ее «ваша бедненькая сестричка». Они высказали предположение, что мы, должно быть, очень несчастны. Особенно мама. Пожилой господин похлопал маму по плечу и, повернувшись к папе, намекнул ему, что существует все-таки нечто еще худшее, чем потерять свое дитя: потерять мужа. Старая дама запротестовала, она сказала:

— О нет, что ты, Фернан.

Отец Алена прижал рукой дужку очков, чтобы лучше разглядеть свою супругу. Среди наступившего молчания мы услышали птиц, они пели гораздо громче обычного. Мама потянулась к папе, чтобы взять его под руку. И Клер прошла между ними. Папа шагал с таким видом, будто все происходившее было ненастоящим, в глазах у него стояли слезы. Мать Алена вытянула шею в мамину сторону и выдохнула:

— К счастью, у вас, Вероника, осталось еще четверо.

— Умоляю вас,— устало проговорила мама.

Если волосы у Клер темно-рыжие, а полные губы уже не открывают верхний ряд зубов, то это потому, что я смотрю на нее.

Завтрак вовсе не был вкусным, как пообещала мама: лапша, все та же лапша, которую нам дают в сентябре, когда мы возвращаемся под дождем, распространяя вокруг запах промокших учебников. Мама заставила Оливье и Шарля выкупаться и облачиться в пижамы. Прямо среди дня, ну и ну. Завтракали мы за не покрытым скатертью столом, это тоже было впервые.

Прижавшись лбом к столу, я изображала лошадь, которую вот-вот сразит револьверный выстрел; Валери проговорила:

— Ох! Да перестань ты строить из себя неизвестно что.

И внезапно она начала рыдать. Казалось, звуки вырывались у нее прямо из живота. Мама посмотрела на нас. Ей, верно, хотелось нас любить, но никто сейчас не осмелился бы приставать к ней, да, впрочем, вряд ли она даже слышала хныканье Валери. И папа тоже о нас забыл, он жевал сухое печенье, макая его в апельсиновый джем, как в дни, когда у него бывало несварение желудка. Обычно в таких случаях мама ему говорила:

— Ну вот, ты начинаешь уже копировать своего бедного отца.

Дедушка всем нам предпочитал Клер. Он всегда брал ее с собой, когда ездил лечиться в Шательгийон, и она играла там в рулетку в казино, и он подарил ей изумрудные серьги бабушки номер один. Он говорил Клер:

— Пока тебе нет восемнадцати, можешь садиться ко мне на колени.

И даже когда ей исполнилось восемнадцать, он продолжал говорить «пока тебе нет восемнадцати». Дедушке не дарована была радость испытать эту боль, он уже умер. Я помню все очень хорошо, потому что это был день моего рождения и я не получила подарка. Дедушка лежал, вернее, полусидел в постели и дышал при помощи свистящей резиновой груши. Мама отослала нас с Анриеттой в Булонский лес, а когда мы вернулись, он уже был мертв. Словом, так нам сказали, и тетя Ребекка увезла нас за город, и мы каждый день ели жареную картошку, пока не приехала мама и не заставила всех нас, Оливье, Шарля и меня, выпить по ложке касторки. Она поставила в уборной два ночных горшка, а я восседала «на троне», как выражается Анриетта, и мы втроем все утро развлекались, стараясь произвести как можно больше шума, ну, в общем, состязались, кто лучше всех сумеет подражать дедушке. Мы с Оливье придумали, как называть дедушку, чтобы никто не догадался: Помпон II — когда-то у нас жил кот с таким именем, у которого, как и у дедушки, тоже вечно были колики.

А потом по большой красной лестнице, где окна доходили до самого потолка, вереницей потянулись люди. Облаченные в черное, они по очереди звонили у двери, и шепот их траурных голосов отдавался эхом, точно в пустом доме.

После завтрака мама заболела. Она соорудила себе нечто вроде саркофага, улеглась на большую папину кровать, возвела глаза к потолку. Когда папа касался рукой ее ног, она, вздрогнув, вскрикивала:

— Что случилось?

Люди интересовались маминым недугом, хотели ее видеть, застывали на миг на пороге спальни, прислонившись к дверному косяку, глядели на нее, качая головой, и удалялись, поскрипывая туфлями. Они шли и скрипели вдоль всего коридора, бросая вокруг себя настороженные взгляды, словно дорога была полна ловушек. Нормальным голосом они начинали говорить только в папином кабинете.

Я усаживалась напротив, по-моему торжественно серьезная, и ожидала их вопросов. Желая хоть чем-то быть полезной, бабушка Картэ заперла Оливье и Шарля в столовой. Она вязала, раскачиваясь, волосы ее из-за шаф-

рановых занавесей розовато пенились. Под столом Оливье с Шарлем изображали грузовик, но совсем тихонько, словно у него было всего две скорости. Не знаю, чего мы ждали. Все равно чего, может, напева дудочки в тростнике. Горя мы уже не испытывали, но наши жесты, наши слова сковывала какая-то осторожность, предписывавшая нам молчание, тайну.

Мадам Эмбер или мадам Сарт — а за их спиной стояли мужья и незамужние дочки — из деликатности еле нажимали на звонок. Я бежала в переднюю, чтобы первой оказаться у двери, потом медленно открывала ее и смотрела им прямо в глаза. Дамы говорили:

— Бедная девочка...

Но я отступала, прежде чем они успевали коснуться моей щеки или подбородка. Я вела их в папин кабинет, даме предлагала расположиться в плюшевом, пропахшем пылью кресле, все прочие тоже рассаживались, сложив на коленях руки, на хлипких стульях стиля ампир, на которых можно сидеть только очень прямо. Сама я садилась под портретами-близнецами маршала Петэна и генерала де Голля; мое платье в зеленую и розовую полоску казалось чересчур ярким, а торчавшие из-под него ноги — чересчур голыми. Я все еще никак не могла взять в толк, что на нас обрушилось страшное несчастье и люди являлись к нам выразить свое сочувствие, надеясь, что и мы ответим им тем же, когда настанет их черед страдать.

Говорят, кожа у прокаженных утрачивает чувствительность и они не замечают ожога, даже не догадываются о нем, пока не увидят собственными глазами — только тогда они и узнают, что обгорели.

Боюсь, что я тоже прокаженная: я никогда не страдаю. Меня это порой даже беспокоит, и я царапаю бритвой ляжки. Гляжу на длинные красные полосы, скрытые юбкой, и немного горжусь. Однажды мама заметила мои царапины, когда я с размаху села на стул. Она с каким-то волнением поцеловала меня, и я слышала, как она рассказывала бабушке, что я умерщвляю плоть. Я никак не могу понять, что уж такого серьезного в смерти Клер. Ее нет с нами, но ведь это часто случалось.

Явившиеся к нам с визитом люди не скрывали своего разочарования оттого, что их встречала только я, а не какой-нибудь более взрослый представитель нашего осиротевшего семейства. Тем не менее я вызывала у них извест-

ный интерес, потому что они меня совсем не знали: все эти годы я жила в пансионе. Я выглядела недостаточно печальной, они смотрели на меня с осуждением — на мои чересчур голые ноги, чересчур яркое платье,— может стоило меня пожурить. Им непременно хотелось видеть папу. Папа был занят с агентами похоронного бюро. А мама? Я вела их взглянуть на лежавшую маму. Они спрашивали меня:

— А где ваша бедняжка сестра?

Валери ездила по разным поручениям, связанным с похоронами. А раз так, они желали выслушать рассказ о том, как умерла Клер.

Мы помним все назубок. В воскресенье утром Клер отправилась к своим друзьям. К каким друзьям? Я не знаю друзей Клер. Известно, что она была одна, это подтвердили свидетели. Она ехала на велосипеде по дорожке, по дорожке, обсаженной кустами боярышника, отпустив руль. Когда Клер едет на велосипеде, она всегда отпускает руль. Она сказала кому-то «здравствуй». И много-много раз сказала «прощай».

Она довольно быстро, по словам свидетелей, достигла перекрестка, где начинается трасса. С соседней дороги подъехала, не притормозив, еще невидимая машина, которой предстояло ее задавить. И тут человек, сидевший за рулем, заметил Клер, так он сказал жандармам. Это был свиноторговец, ну, словом, агент по продаже свиней.

— Свиней? — переспросила мадам Сарт.— Какой ужас!

Он видел, как Клер, описав широкий полукруг, пересекала площадь. Сначала он решил было объехать Клер слева, как это предписывают правила уличного движения. Потом счел более благоразумным свернуть вправо, чтобы дать Клер время добраться до обочины дороги. В эту минуту Клер тоже его увидела. Она заметалась. Вправо. Влево. Они находились еще далеко друг от друга, но почти что напротив. Опасности вроде бы не было, стояла прекрасная погода. Этот перекресток такой широкий, точно церковная площадь. Они были совсем одни: Клер на велосипеде и свиноторговец на своем «шевроле» в 40 лошадиных сил. Свидетели рассказывали, что они все время вроде бы искали друг друга, зигзагами двигались навстре-

чу. Так сталкиваются на тротуаре двое прохожих, пытаясь разминуться.

Левое крыло машины ударило Клер. Она перелетела через капот, упала и расшиблась. И велосипед тоже.

— Ну а потом, потом? — допытывалась мадам Эмбер.

Я сочиняла. Клер совсем не было больно. Она только удивилась, что лежит на земле. И даже, робко улыбаясь, обратилась к свиноторговцу:

— Кажется, у меня ничего не сломано, я просто испугалась.

Но она не могла пошевельнуть головой. Это и понятно: у нее был разбит затылок. Поэтому-то она не видела, что лежит в крови, что натекла целая лужа крови из-под спины, из-под сломанной ноги. Свиноторговец наклонился над ней, красный как рак, он вытирал пот со лба, а когда говорил, в уголках его рта вскипали белые пузырьки. Сбежались люди, сидевшие на террасе кафе, и свиноторговец сказал им:

— Вот так история, да, вот так история, это мне дорого обойдется.

Клер пожаловалась, что у нее болит голова. Свиноторговец сказал:

— Ее вроде бы здорово задело.

Он осмотрел левое переднее крыло своей машины, краска там лишь слегка облупилась. Тем временем взгляд Клер стал тускнеть, и никто на свете не знает, о чем она думала. Кроме меня.

Вначале она падала навзничь на прохладную, мягкую как пух лестницу. Когда падение завершилось, она, покоясь в ласковом забытьи, поняла, что умирает. Она немножко поплакала, как дети, когда их запрут в темной комнате, хотя на самом-то деле они не испытывают страха. Ей было жалко себя, жалко родителей, но не нас: она прекрасно знала, что в юные годы братья и сестры не так уж сильно любят друг друга. А об Алене она и вовсе не думала. Ей было жалко неба и солнечных лучей, которые оно ей посылало, но очень скоро она примирилась с тем, что умирает.

Мадам Эмбер заплакала. Она плакала по-настоящему, а не из вежливости, она встала, обняла меня, и я догадалась, что печаль есть начало любви к тому, что тебе неведомо.

А потом мне надоело рассказывать всем о Клер. Я не пожелала больше выходить в переднюю, когда звонили у двери. Бабушка сказала:

— Что же ты, милочка, кажется, тебя это так развлекало?

Оливье и Шарль ползали на четвереньках под столом, они больше ни во что не играли, а заглядывали бабушке под юбки.

Мы услышали, как папа повернул ключ в замочной скважине, и бросились к нему, чтобы удрать от бабушки. Теперь папа был весь в черном и казался каким-то непохожим на себя. Он поцеловал нас, уколов небритой щекой, посадил на одну руку Оливье, на другую Шарля и отнес их к маме в постель. Мама, не открывая глаз, прижала обоих к себе. Шарль припал к маме и стал сосать свой большой палец. Бабушка вошла в спальню вслед за папой, она хотела забрать Оливье с Шарлем. Бабушка просто не в силах оставить нас в покое. Стоит сесть в какое-нибудь кресло, даже если рядом стоят еще четыре свободных, как она тут же говорит:

Может, ты встанешь и уступишь место своей бабушке?

Клер встряхивает головой, и волосы ее пляшут, точно змеи. В загородном доме она вылезает на крышу через чердачное окошко. Она разгуливает по гребню крыши, раскинув руки точно крылья, и зовет:

— Бабушка... У-у-у...

Бабушка выходила на лужайку перед домом, ей с трудом удавалось поднять голову, чуть не вывернув себе шею.

— Сделай милость, спускайся немедленно. Немедленно, слышишь?

Клер смеется, ей вторит эхо. Бабушка сердилась:

— Эти забавы кончатся тем, что ты разобьешься.

Клер отвечает, что ей это все равно. Бабушка пожимала плечами:

— Ну и многого же ты достигнешь, когда умрешь.

— Большего, чем ты,— говорит Клер.

День отступал все дальше и дальше, как свет, когда смотришь сквозь воронку. Вечером мы устроили генеральную репетицию, без Клер. То есть у нас собрались все персонажи последних дней: Ален, его отец и мать, наша бабушка и еще все мы, кроме Клер, разумеется. Все были в приготовленной для траурной церемонии одежде, даже на мне было черное платье. Я вовсе не хочу проявлять неуважение к памяти Клер, но я была довольна. Издали я казалась себе молодой девушкой. Я мрачно разглядывала себя в больших зеркалах передней, и Ален сказал:

— Теперь ты уже сможешь, пожалуй, выезжать на балы в будущем году.

Валери скорчила гримасу:

— Эта дуреха оттопчет ноги своим кавалерам.

Ален погладил меня по щеке.

— Молодые люди будут приглашать ее не ради собственных ног.

Я взяла руку Алена, обвила ею свои плечи, прижалась к нему, и так мы стояли и смотрели на Валери, пока она не ушла. Потом Ален присел передо мной на корточки, держа меня на расстоянии вытянутых рук, я видела его веснушки, его ласковые глаза. Сердце стучало у меня в висках, Клер была здесь, совсем рядом, но, как в легендах, нельзя было обернуться, не то она исчезнет.

— Знаешь,— сказал Ален,— ты на нее похожа.

— Нет, что ты! — воскликнула я с надеждой.

Ален дотрагивался пальцем до моего лица:

— Брови, лоб, нос...

— Ноги,— поспешно добавила я,— ноги и руки.

— А там,— сказал Ален, коснувшись моего лба,— что же там будет скрыто?

Я ответила вовсе не нарочно:

— Мертвая девушка.

Мне стало ужасно неприятно. Но Ален притянул меня к себе и все повторял:

— Тс-с, тс-с.

Я спросила его:

— Ты еще любишь Клер, Ален?

— Конечно,— сказал Ален,— конечно, ты забудешь, как и все мы забудем.

— А ты все-таки женишься потом?

— Послушай-ка,— сказал Ален,— сейчас мы все так потрясены.

Я пожала плечами. Меня раздражает, что они превращают смерть в какую-то трагедию. Я потащила Алена к себе в комнату, чтобы открыть ему один секрет, о котором никто не знает, показать ему своих вьетнамских солдат. Я вырезала их из «Пари-Матч», у меня их одиннадцать штук, они покоятся в самых различных позах, лица их залиты кровью. Ален сразу же взял тон старшего брата:

— Нехорошо быть такой извращенной, играла бы ты в куклы.

Я объяснила ему, что мои солдаты гораздо лучше кукол. Это живые мертвецы. Как Клер.

За обедом парил дух набожности. Начала, конечно, бабушка. Она уткнулась носом в тарелку с грибным супом и зашептала:

— Господь, взглянув на нее, возлюбил ее и сказал: «Прииди».

Бывшие будущие свекор и свекровь Клер вежливо отозвались:

— Аминь.

Опять было неловко за маму — она без конца улыбалась. Губы у нее распухли, говорила она только глазами, я хочу сказать, что она предлагала блюда беззвучно, но ясно было, что ей казалось, будто она произносит слова. Поэтому мы, чтобы не выводить ее из оцепенения, тихонько отвечали: «Большое спасибо». Папа ничего не ел. Он сидел, согнувшись над тарелкой, вперив взгляд в солонку. Внезапно он стал напевать: «Мои красные сабо, любовь моя, прости, навек прости и не грусти», песенку, которую иногда мурлыкала Клер. Потом он взглянул на нас, но нас не увидел и умолк. Мы просто не знали, куда деваться. Оливье колотил ногами снизу по столу, торчал только его уродливый бритый череп. Валери бросала на него грозные взгляды, но не смела показать, что злится, ей хотелось произвести хорошее впечатление на Алена. Старая дама и бабушка рассказывали друг другу, как они молились все эти дни об искуплении грехов Клер.

— Но она в этом не нуждается,— заключила бабушка,— она ангел из ангелов.

За жарким бабушка добилась от мамы обещания, что Анриетта не будет присутствовать на похоронах — ведь

она наверняка станет плакать в голос, и люди, чего доброго, подумают, что она член семьи. Небо между шафрановыми занавесями казалось фиолетовым.

— Завтра,— сказал пожилой господин,— на небе будет праздник в честь Клер.

Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы не было рая, чтобы молитвы были всего лишь шуткой, и избавь нас от других, когда мы мертвы.

Пока мы ели сыр, шло разрушение Клер, запаянной свинцом в ящике без воздуха, и подбородок ее образовывал все более и более острый угол с шеей, пока затылок не оказался наконец соединен с позвонками хребта лишь ломаной, хотя еще заметной линией.

По анатомии я иду первая. Скелет, эту целостную картину нашего тела, я предпочитаю расцвету нашей плоти. Своим вьетнамским солдатам я дала благородные имена, они зовутся Трицепс, Абдуктор, Кифоз, Ганглий, точно какие-нибудь римские императоры. Клер с такой удивительной легкостью начала свое путешествие. Позже, когда мы станем одного возраста, я узнаю ее тайны.

Я никогда не плачу, это просто, надо только поджать в туфлях пальцы ног. Рокфор я есть не стала, оттого что там могут быть черви. Мамин взгляд заблестел, словно душу ее переполняла радость.

— Клер,—сказала она,— в шесть лет просто набросилась на камамбер.

Ну так и есть. Для мамы Клер вновь стала маленькой девочкой, у которой выпал первый молочный зуб и которая прячет его под подушку, чтобы мышь-волшебница превратила его в подарок. Пройдет немного времени, и мама будет видеть в Клер лишь второго, только что рожденного ею на свет младенца, а еще немного — и мама предпочтет быть беременной Клер и лелеять надежды, долгие, как сама жизнь. Мама говорит, что она счастливей всего, когда держит на руках младенца. Вся беда в том, что, подрастая, мы становимся для нее довольно обременительным грузом и ей приходится опускать нас на землю.

Завтра маме предстоит опустить в землю Клер.

Папа любит нас всех скопом, а не по отдельности. Для него мы — единый ребенок, разделенный на четыре части,

и еще Клер. Поэтому в то утро, когда должны были состояться похороны Клер, он не обращал на нас внимания, только рассердился на Валери, которая взяла его бритву, чтобы побрить себе ноги. Он был готов гораздо раньше, чем нужно, и все оставшееся время закрывал в квартире ставни, задвигал шпингалеты на окнах, задернутых шторами, выключил также электрический и газовый счетчики, словно мы уезжали надолго.

На папе был фрак, в котором он должен был вести Клер к алтарю, серый галстук заколот жемчужной булавкой. Он порезал подбородок, когда брился, и мама залепила ранку пластырем, пообещав снять его, прежде чем мы войдем в клинику.

Мама была прекрасна. Она была совсем не похожа на нашу обычную маму. Под черной прозрачной вуалью она казалась очень высокой, а лицо ее было подобно цветку, глаза — два синих неподвижных лепестка, ярко рдеющий лепесток рта. Нам нельзя было ее поцеловать. Прежде чем выйти, она устроила нам смотр в передней. Обувь у всех блестела. Оливье обрядили в брюки для конфирмации, а на рубашку нацепили черную ленточку. Шарль тихонько хныкал, потому что был в белых штанишках на лямках, а ему хотелось надеть такие же брюки, как у Оливье, но мама сказала, что у китайцев белый цвет — траурный, и он успокоился.

Не знаю, как бы это выразить, но в то утро мы не были единой семьей, мы не могли ни разговаривать между собой, ни прикасаться друг к другу.

Под аркой дома выстроились консьержки и торговцы нашего квартала, чтобы поглядеть на нас вблизи. Парадный подъезд был задрапирован черным, на фронтоне выделялись наши инициалы, и мне сделалось стыдно, словно наш дом отметили каким-то позорным клеймом. Папа и мама отправились первыми вместе с бабушкой, которая уже сидела в машине, тщательно обряженная Анриеттой, черные перья на ее шляпе торчали очень прямо, и все было в полном порядке. Мы следовали за ними в машине тети Ребекки, яркой, веселой машине, где вечно валялись бумажки от конфет и на сиденьях были разбросаны журналы. На шоссе она спросила нас, не забыли ли мы сходить по маленькому, потому что церемония будет долгой. И еще она угощала нас рогаликами — она почему-то решила, будто мы выехали на пустой желудок, — но

мы боялись жирных крошек. Прижавшись носом к стеклу, мы разглядывали поля, засеянные овсом, четкие очертания самолетов, все это находилось на довольно большом от нас расстоянии. Нас немножко знобило, хотя жара усиливалась, а когда мы зевали, слезы застилали пейзаж.

У подножия холма, на котором была расположена клиника, уже стояло столько машин, что дальнейший путь нам пришлось проделать пешком.

— Чтобы похороны прошли удачно, нужно хорошее солнце,— сказала тетя Ребекка,— и в романах, и в жизни. Когда идет дождь, людям неохота себя утруждать.

Она раскланивалась направо и налево, благодарила своих друзей. Всем хотелось на нас взглянуть, но мы торопились отыскать папу и маму и шли быстро, с опущенными головами.

Вот наконец и наши дорогие родители, они держались за руки, мы выстроились позади них, и тут прибыл катафалк: белый катафалк, в который были впряжены четыре лошади — три белые и одна черная. Зажав рукой готовый сорваться с губ стон, мама сказала:

— Нет, Жером, не надо черной, это невозможно.

Папа повел переговоры с красавцами кучерами, они долго качали головой, но в конце концов один из них зашел в пристройку, куда дня три назад запрятали Клер. Он вернулся оттуда с попоной. И черная лошадь стала белой.

— Теперь хорошо,— кивнула мама.

Она обернулась к нам, сказала:

— Я вас люблю, люблю, люблю.

И хотя мы не сдвинулись с места, все мы бросились к ней, мечтая стать детенышами кенгуру, забившимися в материнскую сумку, но мы не произнесли ни слова, потому что поклялись все, даже Шарль, держаться прилично. Об этом мама просила нас накануне ночью, подтыкая одеяла. Она вообще предпочла бы, чтобы мы и вовсе не ездили на похороны и только по временам вспоминали Клер, в дневных играх, в ночных грезах, без печали, без боли. Она говорила нам об этом тихонько, чтобы не слышали посторонние; еще она сказала нам:

— Вы мои чудесные детки, мне так повезло с вами, мне так повезло, что одна из вас уже на небесах.

Потом мы услышали тишину. Мы не замечали этой тишины, пока люди в черном не вынесли гроб Клер. Они водрузили его на катафалк, затем выстроились цепочкой от дверей домика, передавая венки. Лилии, маргаритки, гладиолусы, белые розы. Главное — лилии. Лилии просто подавляли, из них можно было бы сплести гирлянды для лошадей, а оставшиеся разбросать по земле, чтобы устлать дорогу цветами, как в той истории, когда кричали «Осанна».

Ален в строгом черном костюме в полном одиночестве приблизился к гробу, он нес свои свадебные подарки Клер и водрузил их на самую вершину цветочного холма, потом занял место в наших рядах.

Люди, стоявшие далеко позади, начали потихоньку продвигаться вперед, мы знали это, даже не оборачиваясь, потому что звук шагов менялся, когда вступали на дорожку, посыпанную гравием.

И вот эта минута пришла. Церковный сторож разделил нас — папу, Оливье, Шарля и Алена поставил впереди, сразу за катафалком; маму, Валери и меня — во второй ряд. Бабушка и старики родители Алена не пошли вместе с нами в этой процессии: папа сказал, что у них ноги не выдержат, и тете Ребекке пришлось везти их на своей машине.

Лошади, вытянув шеи, тронулись с места, и груз цветов дрогнул. Мы шагали словно бы под музыку, медленно-медленно, и все вокруг было очень торжественно: и солнце, и покачивание катафалка, и белые лошади; и наши сердца бездумно постигали подлинную жизнь. Клер не расшвыряла наваленные на нее цветы, но она зажгла у нас под ногами солнце. Мама права — надо было хохотать, кружиться в хороводе вокруг катафалка, а потом устроить битву цветов, бросая их друг в друга, а когда выглянет крышка гроба, насильно разбудить Клер, и каждый из нас по очереди ложился бы в этот атласный футляр, и мы бы так веселились. Часто, когда все засыпают, мы трое, Оливье, Шарль и я, играем в покойника. «Труп»

лежит неподвижно, мы накрываем его простыней и зажигаем по углам постели четыре свечи. А еще одну свечку ставим ему на живот, и, если пламя колеблется, значит, он не по-всамделишному умер, и тогда мы начинаем его мучить — щиплем и царапаем в тех местах, где больнее всего, когда ты живой. Если же он умер совсем как по-настоящему, его нежно целуют, гладят по волосам и приговаривают:

— Как счастлив ты теперь, когда обрел приют. Даруем тебе все на земле, куда ни ступит нога твоя, от бесплодной пустыни до бескрайнего моря в лучах заката.

И сквозь трепещущие веки ясно видно, что покойник доволен.

На вершине холма зазвонили церковные колокола каким-то глиняным звоном, словно звуки долетали из глубины вулкана, и у меня мучительно сладко сжалось сердце, мне даже стало больно от счастья. Катафалк покачивал свою цветочную ношу, лошади чуть пританцовывали, папа держал Оливье и Шарля за руки. Я знала, что мамины губы вздрагивают в улыбке.

Жить, а потом так чудесно умереть, как Клер под этими цветами, лежать под всеми этими цветами. Телеграфные провода поднимались, опускались, деревья вырастали навстречу, прежде чем опрокинуться, вздымались светящиеся столбы дорожной пыли, и правая лошадь радостно вскинула голову и призывно заржала. Я обернулась: под палящим солнцем тянулась почти сплошь черная траурная процессия, по длинной дороге медленно, друг за дружкой ползли машины. Жаль, что приходится тащить за собой всех этих людей.

Двустворчатые двери были распахнуты в пустоту церкви. Отступать нам было уже некуда. У самых ступенек паперти лошади оставили золотистые кучи навоза. Красавцы кучера снова обнажили головы, раздвинули цветы, и Клер торжественно перенесли к алтарю, и органная музыка зазвучала, подобно гулу оваций. Мы опустились на колени на почетные молитвенные скамеечки: папа, Оливье, Шарль и Ален — по одну сторону, мама, Валери, я и тетя

Ребекка — по другую, и еще бабушка, которая, прихрамывая на ходу, присоединилась к нам на главной аллее.

Певчие отладили серебряную цепь кадильницы, и, когда гул голосов теснившихся между скамьями людей затих, началась кара.

Силою молитв и ладана они замкнули Клер в очерченные ими круги, они заставили музыку воздвигнуться, подобно второму каменному своду, и так громко призывали бога, что у нас мурашки пошли по спине.

Бабушка сказала, что мы слишком разогрелись на солнце и непременно схватим в церкви простуду, но, если она и в самом деле вздумает умереть, она все равно опоздала. Я немножко помечтала о том, что под белым покровом вместо Клер лежит бабушка, и мне ужасно захотелось плакать.

Я скосила глаза в сторону, так умеют только лошади: поодаль, над свечами, часто моргала мама, и в ее глазах отражались, суживаясь, крошечные язычки пламени. Бабушка молилась на четках, она всегда перебирает их, читая молитвы, не выпускает из рук во время мессы, а мессу отстаивает у себя в спальне. Оливье и Шарль держались потрясающе прилично, у них, верно, здорово затекла шея. Валери принимала томный вид, как в те минуты, когда считала себя красивой, и закусывала щеки изнутри, чтобы появились интересные ямочки. Валери нас всех ненавидит. Она спрятала первое вечернее платье Клер у себя под матрасом, и Клер не смогла в первый раз выйти с Аленом, а она кричала: «Это несправедливо, несправедливо!» — и даже выбежала без пальто на улицу, судорожно всхлипывая, и мама поймала ее на тротуаре и залепила ей пощечину, чтобы она вернулась домой. А теперь Клер снесли с катафалка, и левая лошадь с опухолями на ногах величественно склонила голову, а правая, весело потряхивая гривой, призывно ржала.

Сейчас, будь я молодым человеком, я сказала бы Клер:

— Отныне ты стала совсем бледной, и я тебя люблю.

И Клер вышла бы из тьмы, предстала бы всемогущей Девой, живым Иерусалимом, красой Израиля, надеждой в ночи, чтобы каждое унылое утро, каждый тоскливый вечер мы, не уставая, твердили, как мы счастливы и как завидна наша участь. Вот о чем поведал нам каноник Майяр. Он велел преклонить колени, и мы молились о Клер, заставившей нас страдать.

Ее окропили со всех четырех сторон и превратили в труп. Другого объяснения нет. Каноник велел еще раз возблагодарить бога за благо, которое тот нам ниспослал, вежливо умолчав о зле, от которого он нас не охранил.

Большие хоры были еще открыты, и церковный сторож с алебардой провел нас в придел, и люди подходили по очереди, чтобы поздравить нас с тем, что церемония прошла так удачно и что Клер превратилась в твердый белый предмет, заключенный во гробе.

Ален, единственный, смотрел людям прямо в лицо, отзываясь на их сочувственные слова жестами, исполненными покорности судьбе,— и я даже слышала, как он ответил мадам Эмбер, что свершилась воля божия. Валери смотрела на него влажными от слез глазами, словно он обещал вознаградить ее за смерть Клер.

До самого конца мы держались прилично, но несчастье ударило нам в голову, потому что все кругом молились о том, чтобы мы были несчастны. Незачем думать о Клер, которая лежит под белым покровом. Слишком поздно. Слишком поздно — вот что хотели выразить люди, шептавшие прямо нам в лицо: «Мужайтесь!», насильно целуя нас. Даже Шарль это понял, испугался, стал звать маму. Мама не откликнулась, она не могла, ей нужно было соблюдать приличия; тогда Шарль — хотя он, конечно, прекрасно понимал, что это запрещено,— крикнул:

— Клер, Клер!..

Я пнула его ногой, Валери сказала:

— Замолчи, она скоро вернется.

Просто, чтобы заставить его замолчать. Те, кто стояли поблизости, были взволнованы.

Когда мимо нас прошли последние участники процессии, папа приподнял мамину черную вуаль, сжал руками ее лицо и поцеловал, как в день их свадьбы на той фотографии, где он поднимает ее белую вуаль, а она не сводит взгляда с его губ.

На другом снимке папа и мама стоят, обнявшись, на террасе загородного дома, они смеются, папа внизу подписал: «Вот нас и двое». Кажется, мама на этом снимке ждет Клер, но Клер совершенно не видно.

Катафалка не было уже у церковных ступеней, лошади и кучера тоже исчезли. Мы вышли из церкви осиротевшие,

даже папа и мама, и под яркими лучами солнца казались такими жалкими — это заметно было по лицам стоявших кучками на паперти людей, беседовавших вполголоса о нас.

Гроб и немножко цветов втолкнули в фургон, впереди еще посадили папу с мамой, захлопнули дверцы и тронулись в путь. За ними следовал Ален со стариками родителями. Бедная толстая дама все это время просидела в машине, потому что ее кресло не привезли, но ей оставили пакет печенья, и она, не переставая, грызла его.

Мы поехали с тетей Ребеккой, а следом потянулось множество других машин. И мы двинулись длинной процессией за Клер куда-то еще, мы не знали куда, где были похоронены старшие члены нашей семьи, два наших дедушки и бабушка номер один.

Кажется, чтобы освободить место для Клер, пришлось переселить бабушку в могилу к дедушке. От нашей юной бабушки уцелело только вышедшее из моды голубое платье в складку, в которое ее обрядили, когда родился папа и когда она умерла. На свежем воздухе оно рассыпалось в прах, и рядом с дедушкой положили горстку воспоминаний, да маленькую челюсть. Папа при нас рассказывал это маме. Тем лучше для Клер, тем лучше, раз можно питать надежду, что мы и впрямь становимся только трепетным дуновением, а не существами, навеки заключенными под мрачные своды в каком-нибудь саду.

Обо всем этом я думала, не отрывая глаз от фургона, увозившего втиснутую в ящик Клер. Клер равнодушную и далекую, с тусклыми волосами, свернутыми на затылке, и неподвижно вытянувшимся телом в подвенечном наряде, подпрыгивавшую на дорожных ухабах.

Клер с ее бесполезными ранами. Клер, которую погрузил в неведомое сильный удар в поясницу, перебросивший ее через капот машины. Я зову ее изо всех своих сил сквозь крепко зажмуренные веки:

«Клер, убей меня, я тоже хочу жить так, чтобы вся Вселенная стала по мне, я тоже хочу вырасти и убежать, Клер, Клер...»

И на меня дохнуло ее тепло, на лицо, на обнаженные руки, она тихонько зашевелилась у меня в животе, тетя остановила ехавшую на полной скорости машину, я нагну-

лась над травой, и горькие, обжигающие потоки хлынули у меня изо рта, и я услышала все, что чуть было не поняла и что невозможно передать во веки веков.

С тех пор всякий раз, когда я слишком много думаю о Клер, у меня начинается рвота. Валери говорит, что мне остается одно — вечно ходить с половой тряпкой. Просто она завидует, что с ней этого не случается.

После того как мне стало дурно в траве у обочины, мы все испытали облегчение. Тетя Ребекка усадила меня впереди, под острым бабушкиным локтем, и дала затянуться своей сигаретой, чтобы отбить неприятный вкус во рту. Она курит так, словно дышит через сигарету, и хрупкая палочка пепла становится все длиннее, а потом осыпается на ее пуловеры. Машину она ведет точно гонщик, пригнувшись над рулем, рыжие ее волосы треплет ветер, они лезут ей в глаза, а две прекрасные морщинки по бокам рта раздвигают в улыбке губы.

Она чуть было не вышла замуж за человека, который забрал ее ковры и серебро, это все, что мне известно. С тех пор она подбирает на дороге автостоповцев — я слышала, как мама говорила об этом с бабушкой,— и ее никогда не приглашают на приемы, которые устраиваются у нас в доме.

Она повернула ручку настройки приемника, и мы услышали, как рокочут гитары для счастливых людей, для людей, которые могут взять и нацепить на уши поданные на десерт вишни и неторопливо потягивать вино, сидя под оранжевыми тентами.

— Выключи! — завизжала Валери.— Совсем стыда у тебя нет!

— Не смеши меня,— сказала тетя.

— Послушай, Ребекка,— сказала бабушка,— соблюдай все-таки приличия.

Тетя увеличила скорость и, нажимая на акселератор, обошла вереницу машин, которые обогнали нас, когда мы останавливались на обочине. Проснулись Оливье и Шарль, они на четвереньках перелезли через Валери и принялись во весь голос выкрикивать «пим-пом, пим-пом», заглушая даже гитары; и ветер странствий подхватил и понес нас за фургоном, который мчался своей дорогой среди полей и лугов. Солнце палило по-прежнему, волны зноя заливали гудрон. И мы снова оробели.

— Скорей бы все кончилось,— сказала тетя Ребекка.

Едва она выключила мотор, нам стало страшно. Мы сразу поняли: нам осталось побыть с Клер всего несколько минут, даже если мы не будем спешить.

Гроб вынесли из фургона. Меж оградами могил уже ждал каноник с крестом в руке. Нам не хотелось вылезать из машины. Даже бабушка молчала. Слышен был стрекот кузнечиков, пахло нагретой травой. Мама подошла к нам обычным своим шагом, вид у нее был озабоченный. Она сказала, что Оливье, Шарль и я останемся в машине. Мы перелезли через бабушку и Валери, выбираясь наружу, и, поглядев на маму, отрицательно мотнули головой. Мама чуть улыбнулась, поцеловала нас и сказала:

— Знаете, это совсем не страшно, мама вам обещает. Согласны?

Шарль повторил за ней своим низким голосом:

— Согласны.

Мама для начала слегка подтолкнула нас, и мы, все трое, не взявшись даже за руки, зашагали за гробом. Каноник высоко поднял серебряный крест, и, хотя мы старались держаться очень прямо, мы стали как будто еще меньше ростом. Нам ужасно хотелось спрятаться за спиной папы и мамы, но они шли позади нас.

Подойдя к маленькому домику-склепу, мы увидели яму, поднятую плиту и рядом кучу земли.

Они опустили эту штуку, этот гроб. И больше я ничего не помню.

Только Шарля, который стал лязгать зубами. Мама поддерживала его челюсть ладонью, а голову уткнула себе в юбку.

Только папу и его лицо, когда он, поднявшись на цыпочки, наклонился над ямой, а по щекам у него ползли крупные слезы, стекавшие к подбородку.

И белые корешки, прорезывающие кучу земли.

И сине-белое небо, тускло-черные одеяния, запах ладана.

И могильщика, вытиравшего лоб платком.

И нашу траурную одежду, в которой становилось все жарче.

И кто-то незнакомый, кто-то невидимый в толпе начал плакать за нас, начал рыдать.

И каноник Майяр замедленными жестами благословил последнее пристанище.

А потом этот мерзкий тип заставил нас петь «Разлука эта не вечна», в то время как гроб, раскачиваясь на веревках, погружался в яму.

А потом Ален обручился со всей нашей семьей.

Он поклялся быть нашим братом, он поклялся, склонившись перед нашими родителями, быть их сыном; и он первый бросил горстку земли на Клер.

Я боюсь каноника. Слишком уж он ласков. Обычно он говорит лишь о нас самих, какими мы станем в будущем, расточая похвалы, которых мы не заслуживаем. И от этого бывает очень неловко.

Каноник Майяр печется о нашем семействе. Он венчал папу с мамой, он крестил всех нас и все такое прочее. Каждый раз, когда по воскресеньям он является к нам на обед, он без лишних церемоний предлагает всем исповедоваться. Устроившись в папином кабинете под портретами-близнецами маршала Петэна и генерала де Голля, он велит нам стать на колени, лицом к нему. Папа туда никогда не заглядывает. Он пьет «американо» или чинит штепсель, пока мама проходит очередное очищение.

Валери заносит на листочек свои прегрешения, закрываясь локтем, чтобы у нее не списывали. Клер... не знаю уж, что делает Клер. Думаю, учит в кухне танцевать Анриетту и макает палец в шоколадный крем.

Когда приходит очередь Оливье, он отвечает так громко, что его голос доносится даже через закрытую дверь. Бешеным галопом он перечисляет:

— Я нарочно разбил зеркало в передней, стащил у мамы из сумочки деньги...

Так становится известен виновник всех оставшихся нераскрытыми проделок. Он нарочно придумал такую хитрость, чтобы избежать наказания.

Время от времени каноник ловит меня:

— Теперь наша очередь.

Я отвечаю, что уже исповедовалась в пансионе. Он смотрит на меня, и я не знаю, куда деваться. Он начинает смеяться, и крест подрагивает на его фиолетовой пелерине, которая год от года все больше раздувается; он тычет в меня пальцем и говорит:

— Господь догонит тебя где-нибудь на повороте и превратит в великую святую.

И все потому, что во время крещения я подняла голову и сама открыла рот, чтобы вкусить от соли премудрости.

С тех пор бог внушал мне сильную тревогу.

Вечером, стоя в дверях, я собираюсь с силами и прыгаю прямо в кровать, чтобы бог не успел схватить меня за пятку; я говорю ему:

— Господи, пожалуйста, забудь обо мне, сделай так, чтобы я не стала великой святой.

Однажды Клер застигла меня за этой молитвой и расхохоталась. Она, к несчастью, не принимает меня всерьез. Ждет, когда я вырасту. Она долго и судорожно потягивается, закладывает волосы за уши, зевает по-кошачьи, обнажая в улыбке два маленьких острых зуба в глубине рта; говорит:

— Вырастай поскорее, тогда я тебе все расскажу.

А потом уходит, нарочно переплетая ноги в розовых носках, ни разу не споткнувшись. Перед тем как открыть дверь, она оборачивается, бросает смеющийся взгляд через плечо, задевает меня мимоходом, но не ерошит мне волосы, ничего. Не касается меня.

Мы с Клер не целуемся, не пожимаем рук, даже не говорим «здравствуй». Ждем, когда я вырасту. Мы почти не знаем друг друга, потому что я живу в пансионе, а она часто уезжает на каникулы куда-нибудь в горы или к реке, не знаю точно, я никогда не прислушиваюсь, о чем они там разговаривают, мне это еще не интересно.

Встречаясь, мы не разглядываем друг друга. Лишь чуточку наблюдаем одна за другой, изо дня в день, и я замечаю, что у нее маленькие, квадратные уши. И держится она до того прямо, что порой даже выступают тонкие бедренные кости, точно два межевых камушка, ограничивающих крошечное поле живота. А то вдруг она измеряет сантиметром мой нос, потом свой и говорит:

— У нас с тобой самые маленькие носы в семье.

И это еще одно, что связывает нас.

Именно из-за Клер я и попросила отдать меня в пансион несколько лет назад. В пансионе тебя заставляют есть

и заниматься гимнастикой, и поэтому быстрее растешь. И еще заставляют трудиться, там редко кто остается на второй год, вот вам и выигрыш во времени, чтобы поскорее со всем этим разделаться.

В июле, когда я вернулась из пансиона, как раз накануне смерти Клер, именно она открыла мне дверь; захлопала длинными ресницами, точно кукла с закрывающимися глазами, и сказала:

— Вот здорово, дружок!

За последний триместр я выросла на четыре сантиметра, но никому не заикнулась об этом, а она вот сразу заметила.

«Вот здорово, дружок», может быть, это был знак. В тот вечер толстобрюхие ночные бабочки сталкивались между собой со стуком, от которого становилось не по себе, врывались, кружась, под красный абажур моей лампы, а я, забравшись с ногами на кровать, в идиотской пижаме с изображениями Пиноккио, я глядела на Клер.

Клер широко распахнула окна; от лип, где ворочаются в листве две совы, старые наши знакомые, поднимался теплый воздух. Она вытаскивала охапками платья, все свои туалеты, раскладывала их на кровати, брала один за другим и, приложив к себе, смотрела в зеркало, чуть покусывая губу. Потом отбрасывала их и шептала про себя:

— Нет, не то.

Повернулась ко мне:

— Ты не проговоришься, обещаешь, клянешься?

Она достала спрятанный на груди голубой листок телеграммы, поцеловала его; прижала к губам, надкусила, изорвала зубами в мелкие клочки и наконец проглотила всю телеграмму целиком, съела по-настоящему.

Потом клубочком свернулась на своей кровати, как кошечка, и стала напевать:

— Хлоп и бум и тра-ля-ля, гликс, клюкс, флюкс и бум-ля-ля...— и от этих слов она смеялась и плакала. Глядя в потолок, она сказала: — Завтра — день феер-рического счастья. А потом — долгая скучная жизнь с молодоженом. А потом — единственные свидания с вами каждую ночь на Полярной звезде, на кончике хвоста Малой Медведицы.

Я прекрасно поняла, что молодожен — это Ален, а об остальном ничего не спросила.

А после Клер побросала на пол все новые платья, которые купила ей мама к свадьбе с Аленом, влезла в ночную рубашку; взглянув в зеркало, отдала себе честь и белым языком пламени закружилась по комнате. Совсем задохнувшись, она остановилась передо мной; повторила, прижав руку к сердцу:

— Обещаешь, что не проговоришься?

Я не ответила. Притворилась, что сплю, натянув на голову простыню, и твердила молитву, которая меня усыпляет: «Господи, пожалуйста, забудь обо мне».

Утром Клер побоялась меня разбудить. Оделась при закрытых ставнях. Натянула спортивную блузу и джинсы. Целый час накладывала на лицо косметику. Напевала, как человек, который ждет какого-то события, потом подошла к моей кровати.

— Послушай-ка, ты, не притворяйся, что спишь. Скажешь папе, что я выбрала серебряные ложечки в форме ракушки.

И все. Она не попрощалась, ничего не сказала. Уехала и умерла. Лучше бы она все мне открыла, если это и правда был знак, когда она сказала:

— Вот здорово, дружок!

Из-за того, что я так выросла.

Все воскресные дни за городом похожи как две капли воды. Клер родилась 8 октября. Значит, это было ее девятьсот семьдесят шестое воскресенье, но тогда я еще не сосчитала.

И в этот раз, как всегда, мама обходила все комнаты, открывала и закрывала двери, проводила пальцем по зеркалам, проверяя, нет ли пыли.

Валери загорала, лежа на циновке из рафии; чтобы защитить от солнца свой перекроенный нос, она наклеила на него серебряную бумажку, за каждой щекой у нее было по карамельке, она читала журнал «Эль», всасывая потихонечку сладкую слюну.

На лужайке Оливье с Шарлем ползком осторожно пробирались по африканскому лесу. Они прихватили с собой тигра из столовой, и Анриетта, подметавшая на террасе, крикнула, увидев, что на тигра налипла целая куча веточек и травы:

— У меня небось не четыре руки, чтобы ходить за вами грязь подбирать!

— Конечно,— ответил Оливье,— если бы у тебя было четыре руки, ты взяла бы два веника.

И в этот раз, как всегда, мама звала Клер, искала ее по всему дому, в саду под деревьями, даже на крыше. Засунув руки в карманы кружевного пеньюара, она сказала папе:

— Уверяю тебя, ее не мешало бы запереть. Опять убежала, никого не предупредив, и это за две недели до свадьбы.

Папа ничего не слышал. Уши у него были еще забиты белой пеной, и он бритвой прокладывал по лицу сложные тропинки.

И в этот раз, как всегда, мадемуазель, сидевшая за фисгармонией, неизменно юная с самого дня нашего рождения, все в том же цветастом платье с плоским корсажем и все с теми же вздернутыми бровями ниточкой, довела, буквально, до одышки инструмент, исполняя «Славься».

И в этот раз, как и всегда, когда мы вышли после мессы, папа купил нам «пустомель» — маленькие печенья, на которых написано: «Я вас люблю» или «Не пойман, не вор».

И в последний раз, когда мы садились за стол, мама все еще злилась на Клер, обещая, что ей дорого обойдется эта выходка.

— Уж можете мне поверить,— сказала мама, строго поглядывая на нас.

А Клер тем временем продвигалась тайком навстречу гибели. Она ехала на велосипеде по дорожке, обсаженной кустами боярышника. Когда Клер едет на велосипеде, она всегда отпускает руль. Она сказала кому-то «здравствуй». И много-много раз сказала «прощай». Свидетели видели это. Она смеялась, темно-рыжие волосы летели у нее за спиной, и солнце звенело в ее смехе. Успела ли она уже договориться о свидании на Полярной звезде? Значит, теперь каждую ночь кто-то ждет в полном одиночестве на этой звезде.

Но здесь, в домике-склепе, для Клер отныне было навсегда покончено с Полярной звездой. Здесь ее ждал по-

кой, кончено со всеми горами и реками, кончено с тем смехом, с каким проглотила она голубой листок телеграммы.

— О! Обнимите меня покрепче, поцелуйте покрепче,— сказала нам мама, когда на могилу были брошены последние лопаты земли.

И мы снова прошли, только теперь уже в обратном направлении, кладбищенской дорожкой, между двумя живыми изгородями: кустарником и людьми, которые уже говорили обычным своим голосом, перебрасывались фразами:

— Да, ужасно.

— А этот несчастный юноша, как найти для него слова утешения?

— Лучше бы Вероника поплакала, а то она не вынесет.

— Что поделаешь, рано или поздно их должен был постигнуть удар, как и всех на свете.

— Послушайте, было бы еще хуже, если бы она осталась калекой.

— По-моему, смерть у девочки прекрасная, в мгновение ока, раз — и конец!

— Я от души желаю себе такой смерти.

— Послушайте-ка, поспешим, такси ждет.

Нас вышибло из колеи, мы сбились с пути, растерялись. Папа был похож на человека, разбуженного среди ночи и вдруг понявшего, что его кошмары оказались реальностью. Его прекрасный фрак был весь измят, но он, расправив плечи, жестом собственника подтолкнул нас вперед, перед собой, Оливье, Шарля и меня.

Папа часто говорит о нас троих, последышах:

— Моя вторая выпечка.

И краешком глаза улыбается нам. С тех пор как Валери провалила экзамен на бакалавра, папа с ней чрезвычайно любезен. По утрам он спрашивает, хорошо ли она спала. Достает из бумажника и протягивает ей купюру, держа между указательным и большим пальцем, и говорит:

— Не вздумай благодарить.

Если она просит разрешения провести рождественские каникулы в Германии вместе с подругой американкой, он отвечает, не отрывая усов от чашки кофе с молоком:

— Поговори с мамой.

Мама чуть не целый час держит руку на кофейнике.

— Жером, а что если это друг американец?

Папа пожимает плечами:

— Что прикажешь делать?

— А если она вернется беременной?

— Тогда у нее будет хоть какое-то занятие,— отвечает папа.

Мама хлопает дверью. Если этот стук все же не выводит папу из себя, она снова заводит разговор. Каноник Майяр подбадривает маму: Валери обретет душевный покой в замужестве.

— А что ей еще остается? — ворчит папа.

Вот Клер — это совсем другое дело. Папа надевает серый костюм и галстук жемчужного цвета, подставляет Клер руку калачиком и ведет есть устрицы. Тетя Ребекка говорит:

— Взгляните-ка, вот уж действительно мошенники пировать собрались. Наконец-то я вижу прежнего Жерома.

Говорят, до нас папа был настоящим франтом, носил трость с серебряным набалдашником, вечно торчал у «Максима», глаза в глаза с Люлю Диаман, которая пила из ладошки шампанское. Единственным дефектом Люлю Диаман была маленькая бородавка на среднем пальце левой руки. А потом Люлю Диаман вышла замуж за венецианского банкира, а он заставил ее удалить эту маленькую бородавку. И зимой Люлю Диаман умерла, потому что маленькая бородавка, хотя никто об этом не догадывался, была вроде застежки, которая держала на запоре притаившийся рак.

— Главное, не передавайте маме, что я все это вам рассказываю,— говорит тетя Ребекка.

Маме не по душе, что папа познакомился с тетей Ребеккой раньше, чем с ней. Папа говорит, что маме нечего опасаться — тетя Ребекка нагоняла на него страх. Она хотела внушить папе, что одинока. Что лишена поддержки семьи. Лишена материальной поддержки. Всякой поддержки. Тетя Ребекка покупает шоколадные эклеры, которые мама запрещает нам есть, закуривает новую сигарету, струйка дыма обвивается вокруг ее запястья, и мы просим:

— Расскажи еще.

Это самая наша любимая история, хотя мы знаем ее наизусть.

— Пока ваш папа не сводил глаз с Люлю Диаман, мама ваша подрастала в доме своего молчаливого отца и нервной матушки, вашей теперешней бабули.

В двенадцать лет мама ездила на собственных лошадях, ее кормили бананами и зеленым горошком, потому что тогда в моде были упитанные дети. Однажды немка-гувернантка оправой от кольца рассекла ей губу за то, что мама не выполнила какого-то приказания, отданного на языке тевтонов. И вот фрейлейн отослали обратно в Германию, а мама так и осталась с раскрытым на коленях непонятым «Вертером».

— Когда Люлю Диаман умерла, ваша мама как раз начала выезжать в Оперу, сидела в ложе своего облаченного во фрак папеньки, который сжигал себе бронхи, вдыхая цемент на стройках, и маменьки, которой стало уже не по летам появляться в декольтированных платьях. А я,— говорит тетя Ребекка,— лучше бы я сломала в тот вечер ногу, я сама привезла в соседнюю ложу вашего папу, неутешного после смерти Люлю Диаман...

Оливье, Шарль и я даже сопим от наслаждения, мы отодвигаем тарелку с шоколадными эклерами и ждем, пока официантка в белом переднике нальет тете Ребекке еще чашечку зеленого чая, от которого пахнет листвой, и спрашиваем:

— А потом?

— Потом...— повторяет тетя Ребекка.

Она прихлебывает крошечными глотками дымящийся чай, оставляя следы губной помады по краю чашки, нарочно заставляет нас ждать, и глаза ее из-под сиреневых век смеются.

— Потом ваш будущий папа последовал за машиной вашей будущей мамы и был весьма удивлен, обнаружив, что она живет в том же самом доме, что и я. По дощечке у входа он установил, что ваш дедушка — строительный подрядчик. Он явился к нему за консультацией, и, поскольку ваш дедушка не смог предложить ему никакого подходящего проекта для постройки дома, ваш папа в конце концов объявил, что просит разрешения устроить счастье его дочери. «Ребекки?» — спросил ваш будущий де-

душка. «Ни за что в жизни»,— ответил ваш будущий папа. «Меня это тоже удивило бы»,— сказал ваш будущий дедушка. И вот так они наконец обвенчались в церкви Сент-Оноре д'Эйлау — она в белом подвенечном платье, он в черном фраке, получив устное благословение каноника Майяра и письменное — папы Римского.

Ваш отец забросил трость с серебряным набалдашником, не появлялся больше у «Максима», а стал есть пюре, чтобы упростить меню, поскольку родилась Валери.

Он совсем уже перестал удивляться излишней удобоваримости пищи, когда с нового благословения каноника на свет появилась Клер. Ваш отец смирился с тем, что придется вечно жить среди мокрых пеленок и рева на рассвете, к которому его приучила Валери, когда вдруг заметил, что Люлю Диаман вернулась на землю, приняв облик дрыгающей ножками и горланящей малышки Клер.

— Клер не мамина дочка? — спрашивает Оливье.

— О,— вздыхает тетя Ребекка,— для своего возраста вы не так уж глупы.

Она поднимает вверх палец, просит, чтобы дали счет, ее золотые браслеты, звеня, спадают к локтю, потом достает губную помаду, и мы следим, как она рисует между двумя прекрасными морщинками жандармскую шапку.

У кладбищенской ограды мы сделали последнюю остановку для последних объятий. На этот раз люди словно бы искали на наших лицах отпечаток присутствия Клер и спешили, прежде чем тронется поезд, пожелать ей счастливого пути.

Каноник Майяр со своей стороны принимал знаки внимания, пожимая множество рук; а папины коллеги, офицеры Почетного легиона, те самые, что приходили на помолвку Клер, ободряюще похлопывали его по плечу и твердили:

— Помни, мы с тобой, Жером.

И папа словно молодел. Когда шумная толпа поредела, мама подошла к тете Ребекке, неподвижно стоявшей в тени кипарисов.

— Я перед всеми хочу поблагодарить тебя, Ребекка, за то сердечное тепло, которое ты дарила моей дорогой Клер.

Тетя Ребекка не ответила, она повернулась лицом к дереву, сняла черную шляпку, расчесала обеими пятернями волосы и в конце концов проговорила:

— Не знаю, как только вы выносите всю эту процедуру тисканья и объятий.

Вдруг она вся как-то незаметно напряглась, глаза ее расширились, она рванулась навстречу какому-то типу, который шел по аллее. Такого типа мы еще никогда не видывали: похож на огромного орангутанга с огромными плечами, огромными ушами, в огромных черных очках и со смуглой кожей, кожей инков; тетя Ребекка крикнула:

— Фредерик!

— Кто это такой? — спросила Валери, приставив козырьком ладонь к глазам.

Тетя Ребекка приникла к нему, на минуту замерла у него на плече, потом оттолкнула его. Но этот тип по-прежнему неподвижно стоял в своих черных очках, верно, считая себя из-за них невидимым.

— Я еле на ногах держусь, еле держусь,— простонала бабушка.

Мама подхватила ее одной рукой и позвала папу:

— Помоги мне, Жером. Милой бабуленьке нехорошо, такие волнения не для ее возраста.

Бабушка Картэ, я все время за ней слежу, никогда не умирает. Ломает одну ногу, ломает другую, расшибает плечо, съедает ядовитую устрицу, останавливает сердце, надавив на грудь обеими руками, и падает навзничь, но потом обязательно наступает минута, когда она открывает глаза и требует свои очки.

— Для того, кто так стремится попасть в рай, она что-то уж слишком крепко держится за жизнь! — говорит Анриетта.

Бабушка никак не может поверить в наше существование; она твердит:

— Откуда только взялись эти дети?

Клер особенно выводит ее из себя.

— Ох уж мне эти чарующие позы, да как она вертит своим задом, у нее, бедняжка моя Вероника, дьявол под юбкой, тебе не мешало бы приструнить ее как следует.

Мама пугается:

— Ты в самом деле так думаешь?

И они втроем, мама, бабушка и каноник, принимают решение укротить Клер, как укрощали бы лошадь, отправляя ее в прерии Швейцарии, Германии или Англии.

— Там она хоть языки выучит и подышит свежим воздухом без риска угодить в лапы орангутангов,— говорит бабушка.

И я представляла себе огромных обезьян, которые вприпрыжку бегут за Клер, но Клер их не боится. Сердце у нее колотится, но она успокаивает их, треплет рукой по загривку; она говорит им:

— С завтрашнего дня мы станем гулять вместе, я пойду впереди, но все время буду оборачиваться, чтоб поглядеть на вас, чтоб быть уверенной, что вы, сокровища мои, никуда не делись.

А потом один из огромных орангутангов становится любимчиком Клер, он кладет ей передние лапы на плечи, пачкая ее, но он такой милый, что Клер улыбается, закрывает глаза и просит:

— Ну еще, ну еще, хоть до скончания света, если пожелаете.

Вот так я теперь часто думаю о Клер. Открываю для себя ее улыбки, которые она не дарила нам. Жду, когда смогу войти в окружающий ее ландшафт и тоже окажусь в стране обезьян. Тогда бабушка закроет глаза на свой лишенный красок мир и мама из папиных уст узнает, как умерла Люлю Диаман, умерла оттого, что ей не разрешили оставить на пальце бородавку.

Маме ничего не известно о Люлю Диаман. Мы о ней не рассказываем, даже когда хотим, чтобы мама подольше посидела перед сном у нашей постели и для этого выдумываем какой-нибудь секрет и шепчем ей его на ухо.

Шарль чуть не каждый вечер просит ее выйти за него замуж, с мамой этот трюк всегда проходит, он пытается поцеловать ее в губы.

— Я бы на тебе женился, если бы ты не была старой.

Мама, слегка улыбаясь, вытирает рот, подтыкает плотнее под него одеяло и обещает ему, что завтра утром ей будет восемнадцать.

— Даже в автобусе? — спрашивает Шарль.

— Везде, куда я тебя ни поведу за руку,— говорит мама.

Широко раскрыв глаза в темноту, я жду ее. Она подходит, в полумраке она кажется выше ростом, ласково проводит рукой по моему лбу.

— А какой же у тебя великий секрет?

И секрет тотчас исчезает, я вспоминаю только, как она

меня укусила. Я была маленькой, и она встала на колени, чтобы быть со мной одного роста, взяла мою руку и медленно стиснула зубами, и мое лицо затопил ее синий горячий взгляд; она сказала:

— Понимаешь, как это больно?

Потому что я укусила Оливье. После этого я спряталась в стенном шкафу, но и во мраке я по-прежнему утопала в ее синем горячем взгляде, мне было страшно — я обнаружила жестокость на дне маминой души.

Когда Клер лежит в соседней постели, мне не страшно. Красный свет лампы, обнаженные ноги Клер, которая, покусывая ноготь, читает Ницше. Она держит наготове раскрытую книгу Кронина или Жильбера Сесброна, чтобы быстро подменить, заслышав приближающиеся мамины шаги. Мама бросает недоверчивый, как у таможенника, взгляд, сначала смотрит на Клер, и Клер начинает улыбаться, что означает: «Я тебя люблю, люблю», слова, обращенные к маме, которые Клер не осмеливается произнести, она напишет их на клочке бумаги и сунет под мамину подушку. Мы знаем об этом, потому что каждый раз, когда мама сердится на Клер, она говорит:

— В таком случае не трудись совать мне под подушку нежные записочки.

Вид у папы делается совсем несчастный, и Клер спешит укрыться в его объятиях. Папа прижимает Клер к себе, молча вытирает ей слезы. И в конце концов Клер улыбается, она говорит папе:

— Я тебя прощаю, я прекрасно знаю, что это не твоя вина.

И она уезжает в Швейцарию, в Англию или в Германию, туда, где мама отыскивает семью, которая по вечерам будет держать ее взаперти.

Но однажды ночью Клер, рано или поздно, обязательно возвращается — с новыми лыжами или со списком английских ругательств в кармане,— она не может удержаться от смеха: ее отослали домой.

Последние каникулы она всю зиму провела в Ницце с тетей Ребеккой, и никто об этом не знал, она убежала из немецкой семьи и участвовала в киносъемках.

— Вот так, мадам! — сказала тетя Ребекка прямо маме в лицо.— И еще благодари бога, что она вернулась.

Мама схватилась за сердце, а Клер принялась бить вазы, тарелки — все, что ни попадало под руку, и рыдала при этом:

— Ну да, непоправимое свершилось, нет у меня больше твоего приданого, этой святыни!

А потом на Пасху появился Ален. Он взглянул на Клер, и Клер сразу сделалась молчаливой. Мама превратила это в настоящее торжество.

— Ален именно то, что нужно Клер,— говорила она,— он сумеет ее укротить.

Но тетя Ребекка пробралась к папе в кабинет, положила сиреневые ногти на лацканы его пиджака.

— Жером, ну как ты можешь допустить такое? Это все равно что обвенчать лед и пламень.

— Что поделаешь,— сказал папа,— когда трудно самому заплатить по счету, волей-неволей приходится обращаться к банкиру.

— Ты, видно, забыл, чем кончилась подобная история? — сказала тетя Ребекка.

Вернувшись с кладбища, папа не снял фрака, не вышел к столу, он ходил по квартире и все чего-то искал: нашел игрушечные литавры Клер и ее старенькую блузку, которая пошла на тряпки и валялась в чулане вместе со щетками.

Он унес эти сокровища в спальню Клер и заперся на ключ. Нами он больше не интересовался. Он не брился. Не спал в маминой постели, а лежал ничком на диванчике Клер, ноги его свисали на пол, и он тихонько говорил ей какие-то непонятные слова. Мама за дверью умоляла его:

— Жером, открой мне, не оставляй меня одну, поговори со мной.

А мы, мы все молчали, чтобы не потревожить папу, который снова готов был влюбиться в Клер. Оказывается, у папы с Клер был роман и продолжался он целых шесть лет. До тех пор, пока мама не начала сердито поглядывать на Клер и говорить ей: «Папа занят»,— каждый раз, когда Клер цеплялась за папины брюки и с обожанием глядела на него, ожидая поцелуя или комплимента. Бабушка боялась, как бы Клер не завладела маминым мужем.

— Да ты только подумай, Вероника, эта парочка лишь об одном мечтает — спать вместе; вот увидишь, Клер бро-

сится Жерому на грудь, залезет в вашу постель, пригреется на твоем месте!

Бабушка боится всего. Она натягивает на колени черную шаль, кисти рук у нее уже не разгибаются и похожи на увядший салат, все десять пальцев сложены вместе и обращены к небу, и она, не переставая, твердит о том, что́ запрещено нам в этом мире:

1. Разводы.
2. Революции.
3. Политические партии, кроме благонамеренных.
4. Кумиры и люди, лишенные нравственных принципов, пусть даже симпатичные.
5. Ходить, размахивая руками, сидеть, болтая ногами, витать мыслями в облаках.
6. Жареный картофель и вино, прежде чем минет пятнадцать лет.
7. Бранные слова и медицинские термины.
8. Отдел происшествий.
9. Фильмы об адюльтерах.
10. Все писатели, кроме тех, которые уже умерли или являются членами Французской академии.
11. Летать на Луну, даже когда билеты будут продаваться в транспортном агентстве, потому что бог раз и навсегда создал нас для жизни на Земле.
12. Рак, туберкулез, нервная депрессия, поскольку в нашей семье таких вещей не водится.
13. Иметь воинственный дух, потому что как раз он-то и погубил мир.

— Когда бы каждый твердо стоял на своем посту, выполняя свой долг, как в четырнадцатом году,— говорит бабушка,— не получилось бы так, что одна нога на Луне, а другая разъедена метастазами, от которых в мое время никто и не погибал. То, чего не знаешь, того и не существует.

Когда Клер умерла, бабушка изобрела новый запрет: раз и навсегда покончено с Клер, веселой и живой, с той, что ждет на пороге, такая тоненькая в белом платье, такая стройная, с длинными ногами, раздражавшими бабушку, покончено с ее улыбками, манящими и в то же время недоступными, которые сводят с ума обезьян.

Бабушка Карте предпочла превратить Клер в некую икону, где ее последний земной облик на последнем ее ложе, в клинике, парит в туманном кольце цитат из Священного писания, и посоветовала нам навеки запечатлеть этот образ между страницами наших молитвенников.

— Этот образ фальшив, уничтожьте его,— сказала тетя Ребекка.

Каждый день после полудня она приезжала за нами. Траура она не носила. Платья у нее были фисташкового, коричневого, малинового, апельсинового цвета, они бились вокруг ног, когда на улице поднимался ветер. Открывая ей дверь, Валери мерила ее взглядом:

— У тебя и в самом деле стыда нет.

— Не смеши меня,— отвечала тетя Ребекка.

В нашей семье вечно так. Тетя Ребекка, взяв нас за руки, вела в сад Тюильри, там она брала нам лодочки, и мы, изо всех сил дуя в паруса, старались их перевернуть. Она покупала красные воздушные шары, и мы выпускали их на берегу Сены, следили за их полетом в облаках и скакали по мостовой на одной ножке, запрокинув вверх лицо, так что голова начинала кружиться.

Когда мы уставали, она усаживала нас в плетеные стулья, наклоняла над нами тент в сине-белую полоску, щелкала пальцами, и к нам подходил гарсон; он изнывал от жары в своей белой куртке и кончиком языка облизывал уголки губ, чтобы хоть капельку освежиться. Держа на ладони блокнот, он записывал туда мороженое всех цветов, которые мы требовали.

Кроме синего. Шарль каждый раз просил синее мороженое, и тетя Ребекка, покачивая босоножкой, чудом держащейся на кончике пальцев, уперев руку в бедро, диктовала гарсону:

— И будьте добры, порцию синего мороженого вот для этого молодого человека.

— Сегодня у нас синего уже не осталось. А завтра будет непременно,— обещал гарсон.

— До чего же тебе везет,— говорила тетя Ребекка Шарлю,— у тебя всегда назавтра синее мороженое.

Мы смотрели, ничего не понимая, как расцветает ее улыбка между двумя прекрасными морщинками.

Она рассказывала нам о Клер. Правда, Клер уже не могла быть с нами и есть мороженое или еще что-нибудь, но ее не было больше и в том домике-склепе.

— Это нехорошее воспоминание,— говорила тетя Ребекка.— Выбросьте его из головы. Одни лишь старики, окончив жизнь, умирают.

Клер всего-навсего вроде бы исчезла. Она была с Люлю Диаман, которая пила из ладошки шампанское. И с папой в те времена, когда он еще был настоящим франтом и носил трость с серебряным набалдашником. И с мамой, когда та ездила на собственных лошадях и ела бананы и зеленый горошек.

Отныне Клер могла ранним утром, напоенным запахом сирени, вскочить на лошадь и ехать не спеша по лужайкам, где в струйках воды, веером разбрасываемых водометом, играет радуга, следовать за изменчивым полетом белого или желтого мотылька.

Клер излечилась от жизни, она еще немного слаба. Она может курить, когда ей захочется, даже если между выкуренной сигаретой и следующей пройдет лет десять. Никто больше не властен причинить ей боль ни в ее воспоминаниях о прошлом, ни в ее надеждах на будущее. Она по-прежнему будет молчаливо жить среди нас, будет любить, кого захочет, и не понесет за это никакого наказания. Ей не придется уже считать оставшиеся до смерти годы.

— А ты,— сказала тетя Ребекка, обращаясь ко мне,— не должна говорить, как несправедливо, что бабушка совсем дряхлая, а не умерла раньше Клер.

Будь то день, будь то ночь, Клер наверняка сумеет утешить нас — ведь она больше никогда не будет спать. И, стоит только назвать ее по имени, она наверняка сможет вернуться на время и жить опять обычной жизнью...

— Уф! — вздыхала тетя Ребекка.— Для вас троих так все теперь и пойдет с сегодняшнего дня, ладно?

Солнце становилось розовым, холодало, и мы шли по Елисейским полям прямо в лапы Триумфальной арке. Тетя Ребекка отводила нас домой, заставляла принимать ванну, потом вела в гостиную, где мама, Валери и Ален тихо беседовали в полумраке за закрытыми ставнями. Мама ощупывала наши мокрые головы, почти не видя нас, глаза у нее были все в красных прожилках.

В ожидании, когда папа выйдет наконец из спальни Клер, мы ели пюре, приготовленное на скорую руку. Вечер за вечером — пюре на скорую руку для Оливье, Шарля и меня в старой супнице, у которой ручки были в виде цыплят. Алену и Валери подавалось холодное мясо с корнишонами.

— Поскорей доедайте — и в постель,— говорила нам мама.

А мы, прокладывая вилкой бороздки в этом проклятом пюре, наблюдали за ней. С тех пор как умерла Клер, маме все время было жарко. Подбородок у нее блестел от пота, и, когда она нас обнимала, она была какая-то липкая. Она десятки раз принималась за свою порцию холодного мяса, мыла в раковине руки, все время мыла руки, потом нюхала пальцы.

— Опять этот запах, кажется, я никогда не избавлюсь от запаха лилий, он, ей-богу, въелся мне в кожу.

И мы тоже начинали ощущать аромат белых лилий с желтыми сердечками, которые стояли в банке из-под джема у кровати Клер; и не могли уже проглотить ни крошки.

— Неважно,— говорила мама,— больше я никогда не стану вас ни к чему принуждать, никогда не заставлю плакать, ничего не буду запрещать, и вы будете счастливы, правда? Вы не станете говорить, что я была к вам слишком строга, слишком вас притесняла?

Ален и Валери входили в кухню.

— Мы тебе поможем, мама,— объявляла Валери.

Она доставала из холодильника две банки пива, Ален делал в каждой по две дырки, они пили пиво, и у них над верхней губой появлялись усы.

Они распахивали окно, отсюда видна была японская акация, которая росла во дворе, радио консьержа передавало новости. Ален присаживался на край мойки, курил, потом гасил сигарету под струей холодной воды. Валери садилась на кончик стола, за которым мы ели, приподняв подол нового платья в черно-белую полоску: глаза она подрисовывала, чтобы они казались немножко нежнее и добрее. Она смотрела на Алена.

— До чего они милы, когда едят своими ручками!

Вот идиотка. Мы вовсе не едим руками. Ален делал вид, что соглашается с ней, дотрагиваясь временами до черной ленточки в петлице — знак траура по Клер.

А потом папа с проклятиями вышел из спальни Клер. Он молотил в передней кулаками по шкафу, он зажег свет, мы все сбежались, босиком, еще сонные, и увидели, что он срывает с себя воротничок и галстук жемчужного цвета.

— Но в Париже ведь нет осиных гнезд,— сказала мама, косо застегивая кружевной пеньюар.

А папа тряс большим заросшим щетиной лицом:

— Да помогите же мне, черт побери, сорвать эти тряпки, я больше не могу терпеть.

И нам,— да, так оно и было! — нам разрешили шуметь, мы кричали и хохотали, цеплялись за фалды папиного фрака, за его жилет, материя трещала, поддавалась. Мама начала улыбаться, прикрыв рот рукой, и мы снова почувствовали себя такими счастливыми, что готовы были даже содрать с папы заживо кожу и выставить его в окне, чтобы все убедились, что он к нам вернулся. Когда папу раздели почти догола, а прекрасный фрак, в который он влез ради Клер, был приведен в полную негодность, мы обнаружили, что мучился он вовсе не из-за осиных укусов, а из-за фурункулов. Сорок восемь укусов-фурункулов.

Вначале мы хорошенько не знали, как взяться за дело, но потом здорово наловчились. Пинцет, кипяток, компрессы — этим занималась я. Оливье накладывал мазь, Шарль налеплял пластырь. Мама наблюдала за нами, сидя напротив папы, который испускал стоны, чтобы доставить нам удовольствие. Она явно была рада, что на папу напали эти фурункулы. А потом стало еще лучше, потому что и на маму тоже напали фурункулы.

И, словно мы только этого и ждали, решено было поехать к Алену в Бретань.

— Не расставаться больше, никогда не расставаться,— шептал Ален, проходя мимо нас по коридору.

«Гнусный раб»,— бросала я ему мысленно.

Сама не знаю почему. Они с Валери отправились первыми, чтобы проветрить дом. Мы двинулись вслед за ними, ехали ночью вдоль берега Луары, и луна плыла под водой, и тучи двигались, точно челюсти гиганта, который медленно зевает, раздирая себе рот. Мы уснули, когда Луара уже оставалась позади.

Путешествовать ночью была мамина идея. Она предпочитает теперь ездить по ночам. Говорит, что тогда папа не сможет узнать огромный «шевроле» в 40 лошадиных сил, который задавил Клер.

Приехали мы на рассвете; дом Алена, обдуваемый ветрами, казался синим, и папа перенес нас туда на руках и уложил в кровати, поцеловал, как в прежние времена, уколов усами.

Проснулись мы от холода — у нас замерзли ноги, но всех нас ждали купленные мамой матросские тельняшки, и каждое утро сквозь прорези в ставнях мы видели солнечное сердечко, а за завтраком мы пили из чашек, на которых было написано: «Гастон», «Лидия» или «Альбер».

Потом мы ухаживали за папой и мамой, они сделались нашими детьми. Мы будили их, приносили на подносе все необходимое для лечения фурункулов.

— Будьте умниками, миленькие, сейчас вас полечат.

Мама сквозь ресницы улыбалась папе. Папа чмокал ее в нос; они стали неразлучны, гуляли рука в руке. Ветер приминал пряди маминых волос, папа повязывал вокруг шеи шелковый платок, чтобы не так жгли фурункулы, и они шли в поселок делать уколы пенициллина. Возвращались они, накупив газет, ложились у мола на пляже, в защищенном от ветра месте. Страницы газет улетали одна за другой, мама бессильно откидывалась назад, закрывала глаза, папа брал ее за руку, сжимал изо всех сил, и мы знали: Клер снова пришла к ним.

Тогда мы прогоняли Клер громкими криками. Шарль стучал по ведерку, Оливье притаскивал краба, держа его двумя пальцами, и хныкал:

— Мама, он меня укусил.

— Поди-ка ты сюда,— говорила мне мама,— что это с тобой, ты такая бледная, верно, ешь слишком много жареной картошки.

И в самом деле, мама нам больше ничего не запрещала, вот мы и пользовались этим, когда подавали жареную картошку. Но нельзя было не видеть Клер. Ее купальник напоминал две дольки мандарина, она пробовала ногой воду и морщила нос:

— До чего же холодная, бесчеловечно!

Или скакала вместе с мальчишками между дюнами на длинногривых пони, ее можно было узнать по темно-рыжим волосам, она оборачивалась, и ветер залеплял ей рот.

Клер всегда была той девушкой, что дальше всех, той, у которой длинные волосы, той, что быстро бегает и бросает смеющийся взгляд через плечо,

К счастью, с Аленом она не бывала. Никогда. Ален участвовал в теннисных состязаниях, возвращался на заходе солнца, накинув на плечи темно-синий свитер, а рукава завязав на груди; он еще издали спрашивал, не нуждаемся ли мы в чем-нибудь.

С каждым днем на носу у него появлялось все больше веснушек, все больше выгорали волосы на ногах. Валери семенила за ним, помахивая ракеткой, она носила коротенькие плиссированные юбочки, Ален посылал ей мячи в ворота гаража, она подпрыгивала наискосок, и мячи пролетали мимо, словно ракетка у нее была дырявая; она краснела.

— Это потому, что они на меня смотрят,— жаловалась она,— убирайтесь отсюда, малыши!

Но слишком уж нам приятно было каждый раз кричать: «Мимо!», а при Алене она не смела нас особенно задевать.

Как-то, когда фурункулы у папы и мамы начали подживать, аленовская Анриетта сидела на пороге кухни в черном переднике, держа на коленях медный котел. Она долго начищала его мокрым песком. Потом поманила нас издали старушечьим пальцем.

— Золотки мои, не надо больше говорить папе и маме о вашей сестричке, пусть они хоть немножко успокоятся.

Мама притаскивала целые охапки дрока для котла, она отступала назад и, прищурив глаза, старалась оценить плоды своего труда.

— Последи, чтобы твои братья не произносили при папе имени Клер, а то у него опять могут фурункулы начаться.

Папа шагал по саду куда глаза глядят, у него снова появилась старая привычка, заложив руки за спину, обламывать ногти. Он смотрел на яхты под белыми парусами, пучками расходившиеся во все стороны мимо бакенов. Я прижалась к нему, обхватив рукой за талию; он очнулся.

— Ах, это ты, детка. Пока мы здесь вдвоем с тобой, послушай меня: не говори больше о Клер при маме, она еще слишком потрясена.

Ни о чем больше нельзя было говорить. Разве что об ученых, обнаруживших формалиновые облака в Млечном Пути и аммиак неподалеку от туманности Стрельца.

— «Это доказывает,— громким голосом читал папа,— вероятность того, что жизнь является результатом некой химической эволюции».

— Как это интересно! — воскликнула мама, вырывая у папы из рук газету.

Надо было без конца притворяться, что все забыто. Ален и Валери принимали участие в регатах, возвращались они усталые, с мокрыми ногами, торчавшими из-под желтых непромокаемых плащей. Слегка сконфуженные тем, что так весело провели время, они уверяли, что еле на ногах держатся.

Во время сиесты Ален приносил мне шоколад, я молча отворачивалась к стенке.

— Ты неправа,— шептал он, стараясь для меня одной говорить мужественным тоном.

Ведь для этого-то мы и родились на свет, чтобы исчезнуть в один прекрасный день, чтобы время унесло нас, погребло, растворило. Чтобы остались от нас лишь жалкие крохи примет, искаженные даты. Богу угодно было, чтобы мы жили, жевали шоколад, если охота, повторяли изо дня в день как ни в чем не бывало привычные жесты, поступки и пятое, и десятое, все это я знаю назубок. И я отвечала Алену: «Ладно», чтобы он оставил меня в покое.

Завернувшись в одеяло, я лежала ничком на лужайке, носом к земле, касаясь щеками травы; я пыталась припомнить ее голос, глаза, зубы.

Я пыталась рассказывать себе про Клер, словно смотрела пьесу в театре: как она приехала бы сюда с Аленом, как заскрипели бы на повороте шины автомобиля. Я пыталась представить, как они пили бы игристое вино, которое ударяет в голову, как плавали бы в чернично-синем море. Говорили бы о детях, о подрастающих детях и ложились бы спать на большую белую софу, сделанную для Клер.

А потом я вскидывала голову, я знала, что все эти планы одна ложь, что Клер не могла жить вместе с Аленом. И все-таки она строила эти планы ночью, думая, что я сплю, но совсем не Алена она звала.

Что-то разладилось в этом пейзаже, море стало серое, взбаламученное, словно иссеченное галькой, аленовская Анриетта заставляла нас принимать обжигающие ножные ванны. Где-то стучал метроном, где-то между домом под синей крышей, почтенными соснами и кленами, скалистой грядой со ступеньками, выбитыми в камне и спускавшимися на пляж, куда посторонним вход воспрещался.

За столом папа, мама, Валери и Ален мило беседовали о предстоящем приливе, они скатывали ржаной блин на слое рыжеватого сахара, слизывали сладкие крошки с подбородка. Я глядела им прямо в лицо, и главное — в лицо папе, который был влюблен в Клер целых шесть лет и потом еще два дня, когда заперся в ее спальне, но оно даже не пошелохнулось. А метроном все стучал.

— Еще блин?

— Еще сидра, мама?

— Чудесная ночь, море спит.

— А завтра посетим садки для устриц, будем их есть живыми.

— Да, выковыривать их прямо ножом ужасно вкусно.

Чудесная ночь, море спит, и я кусала в темноте подушку, звала Клер, крепко-крепко зажмурив глаза.

— Приди, Клер, приди.

Но она не желала приходить. Ночь за ночью я забывала, какой у нее нос, рот, овал лица, взгляд. Когда удавалось ухватить хоть что-то, в памяти возникала ее походка, ее затихающий смех. Все девушки, которых я видела днем издалека, перепутались в моей голове — та ли она, что скакала между дюнами с мальчишками, или та, что вскрикнула:

— До чего же холодная, бесчеловечно холодная,— пробуя ногой воду в море.

Я вставала и ходила по темной спальне. Я уже не боялась, что бог схватит меня за щиколотки; я говорила ему:

— Подлый бог.

Воздух безостановочно сотрясался от ударов метронома, стук его лез в уши, завладевал всем телом, и, повинуясь его ритму, сердце колотилось как бешеное. Я ничего не смыслю в том, что они называют смертью. В пансионе

устраивают опросы: надо рассказать, как мы проведем последние пять минут своей жизни. Каролина содрала ответ у святого Людовика Гонзаго; она написала: «Я буду все так же спокойно играть». Она оказалась первой. А я им выложила: «Если бы я знала это точно, я выбросилась бы из окна, чтобы не ждать». Я заработала единицу, и, кроме того, маме сообщили о моем плохом поведении.

Каждый день в четыре часа надо было есть тартинки с джемом, от них на зубах скрипел песок, смотреть, как папа с мамой пьют ненавистный чай вместе с Аленом под укрепленным на лужайке тентом, наблюдать, как Валери изучает свой гороскоп, спрятав его между страницами какой-то философской книги, нагонявшей на нее тоску.

Искусственная, навязанная жизнь, словно все мы сидим в какой-то мушиной клетке, укрывшись от внешнего мира. Под деревьями Оливье и Шарль гонялись друг за другом, стреляя из револьвера; они кричали:

— Не шевелись, ты умер, не смей шевелиться.

Роясь в песке, я извлекала различные предметы, пролежавшие там не одну неделю: апельсиновую кожуру, палочки от эскимо, обломок расчески без зубьев и даже совершенно развалившуюся комнатную туфлю.

В глубинах этого заброшенного мира безостановочно рождались личинки, шло непрерывное брожение — грозные гроздья яичек грызли, уносили Клер далеко, все дальше и дальше, потому что никто больше не желал говорить о ней.

Еще дальше, чем дедушку номер один, одетого в белое в саду нашего детства, еще дальше, чем юную бабушку, исчезнувшую в складках голубого платья.

Далеко, туда, где смерть бесповоротна, где, словно хлопья снега, на все нисходит тишина. Солнце, пробивая в тучах белые прогалы, все отступало и отступало в глубину пространства. Я говорила Клер:

— Не тревожься, я не позволю им это сделать.

Мертвые не входят в кухню, не приближаются к металлическому крану, под которым неслышно наполняется водой стакан.

Они не бродят по крыше, раскинув руки точно крылья. Не шагают так стремительно по самому краешку тротуара в золотистых итальянских босоножках, потряхивая темно-рыжими волосами. Я закрываю глаза и вижу идущую издалека Клер, ее лицо, руки, ноги, точно такие же, какие

будут у меня, когда я вырасту, и она проходит сквозь меня совсем легко, даже не задев.

А потом однажды утром метроном смолк. Волей-неволей они вынуждены были заговорить об этом — отец в темно-серых брюках, мать в трикотажном лимонном платье, застегивающемся спереди, Ален совсем белесый, в белой водолазке, Валери с нарисованными карандашом веснушками на перекроенном носу и с появившимся у нее в последние дни удивленным взглядом. Да, все было готово к первому завтраку: чай, обычный кофе, кофе без кофеина и пять сортов джема. Да, все и правда было в полном порядке, и каждое утро, когда они оглядываются, прежде чем сесть за стол, я читаю удовлетворение в их взглядах, и это всегда меня смешит, я всегда твержу себе: «Вот оттого, что они так довольны своей упорядоченной жизнью, они и пожнут катастрофу». Аленова Анриетта принесла ее прямо на тарелочке и сказала, опустив голову:

— Извините, пожалуйста, кому это передать?

И мы узнали, что Клер получила письмо. Никто не ответил. Мама с пылающими щеками налила кофе на стол, в блюдца и даже в чашки.

— Этого и следовало ожидать,— сказал папа.

Письмо положили перед Аленом. Он подтолкнул его к маме, а мама чуть отодвинула, и письмо осталось лежать посредине вышитой маками скатерти. Испачканный, перечеркнутый конверт, перемаранный тремя разными адресами: парижским, нашим загородным и теперь бретонским адресом Алена, красные и зеленые марки, жирный фиолетовый штемпель — «Корреос дель Перу», а потом изображение ламы на горе. И еще печать: «Лима — Пруденсия, 5 июля», времени было достаточно, чтобы все это разглядеть.

— «Кор-реос дель Пе-ру»,— запинаясь, медленно прочла Валери с таким оскорбленным видом, как будто сама Клер была здесь.

Я сказала:

— Ну и что, это ведь не запрещено.

Папа взял письмо, повертел его в пальцах, разобрал на обратной стороне штемпель французской почты: «Париж, доставлено 13 июля», он прочел эти слова как-то неуверенно, хотя очень громко, письмо в его руке начало дрожать,

сначала незаметно, потом все сильнее. Мама окликнула его:

— Жером!

Будто папа находился далеко, будто он уехал в изгнание утром 13 июля, тем самым утром, когда, не попрощавшись, ничего не сказав, уехала Клер.

— Какое печальное совпадение,— сказал Ален.

Он сидел неподвижно в плетеном ивовом кресле лицом к окну, и вид у него был, пожалуй, раздосадованный. Валери повела плечами:

— Что ж тут поделаешь?

Глаза у мамы были широко открыты, как тогда, когда она сказала: «Я хочу в последний раз увидеть тело своей девочки».

Я покраснела как рак.

— Мама, прошу тебя, сожжем его, не надо распечатывать, она не хочет, я не хочу.

— Имеем же мы право знать,— сказала Валери.

Я посмотрела на нее в упор, на ее перекроенный нос.

— Уж тебе никто никогда не напишет из Перу, поэтому ты и хочешь, чтоб письмо распечатали.

Мама грустным голосом обозвала меня злюкой.

— Неужели смерть Клер не послужила тебе уроком? Подумай, как бы тебя мучила совесть, если бы Валери умерла, после того как ты с ней так разговаривала.

Я не пожелала отвечать. Мама ножом вскрыла конверт, вынула оттуда квадратный листок бумаги, не обычной почтовой бумаги, а просто листок, вырванный из рабочего блокнота, чтобы побыстрей черкнуть несколько строк Клер. В последнюю минуту мама сказала:

— У меня не хватает духу, прочтите вслух вы, Ален.

— Нет,— сказал Ален,— пускай лучше прочтет отец.

— Ну что ж,— сказал папа,— пусть будет, как в песенке: самого маленького съедают первым, иди-ка ты сюда.

Я не поверила, но папа улыбался краешком глаза, как, должно быть, улыбался Люлю Диаман, как улыбался Клер, когда, повязав галстук жемчужного цвета, вел ее есть устрицы. Именно такого папу я любила. Я взобралась к нему на колени, и выглянувшее из-за тучи солнце в мгновение ока пронеслось над столом и тотчас скрылось опять. Папа развернул листок, я старательно прочистила горло.

— Начинать, папа?

Он кивнул со слабой улыбкой. Может быть, он пробежал глазами первые строчки. Почерк был неразборчивый, поэтому читала я медленно.

Икитос, 5 июля

Моя козочка,

42° в тени. Сплю мало, работаю много. Люди вялые, из-за жары невозможно их расшевелить. Сильные ливни превращают все кругом в болото. Бесконечные трудности... пожалуйста, переверни страницу...

...и однако, я нахожу время скучать по тебе.

Чем ты занимаешься? Что поделываешь? Мне просто необходимо знать, что ты счастлива. Ничего не попишешь, так уж мне, видно, в жизни суждено! Мне не терпится показать тебе то, что я отснял. У меня тысяча всяких планов для нас обоих. Многосерийный телевизионный фильм для Канады и итальянская документальная лента об автомобильных гонках, в общем, сама увидишь. Я тебе все расскажу. Думай обо мне крепко-крепко, я это почувствую, и мне будет казаться, что ты мне написала.

Вернусь 12 или 13 июля, может быть, раньше, чем это письмо до тебя дойдет; почта здесь несколько странноватая. Я тогда тебе телеграфирую. Да здравствуем мы! Нежно тебя целую.

Фредерик

Валери ахнула, тыча пальцем в кого-то невидимого, она сказала:

— Мама, это он, он! Тот самый тип, что явился на похороны, тетя Ребекка еще поцеловала его, уж для нее-то никогда не существовало никаких понятий о нравственности. Да он к тому же, оказывается, снимает фильмы, впрочем, ничего удивительного нет, стоит только посмотреть на его темные очки!

Значит, это был он, тот, кто прислал телеграмму по пневматичке, тот, кому назначено свидание на Полярной звезде, огромный орангутанг в темных очках? Я сказала Клер: «Вот здорово, дружок! — как она когда-то сказала мне, оттого, что я так выросла.— Значит, тебя любят даже в Перу?»

Ален опустил голову, он чертил ножом по скатерти. Морщины у него на лбу казались нарисованными карандашом. Папа сложил письмо, поскреб шею; по-моему, он даже тихонечко заржал — гимн лошадей, взявших барьер,— но, может быть, я все это придумала. Мама укладывала справа от себя тосты, один на другой, ровным столбиком, потом взглянула на Алена, и в глазах ее снова воскресла Клер, ей хотелось показать, что Клер сожалеет, и она проговорила:

— Ален, скажите, что вы меня прощаете? Я заблуждалась, я так виню себя, но в то же время для меня такая огромная радость, что... ох! Простите, простите, я вас всех шокирую.

Папа, должно быть, счел, что мама преувеличивает:

— Но, Вероника, вовсе не надо извиняться. Они уже тайком распрощались, он и она. И поцеловались. И она даже подарила ему свою карточку и просила никогда никому ее не показывать.

Все поглядели на папу так, словно он сошел с ума.

— Ты все выдумываешь, выдумываешь,— поспешно сказала мама.

— Вовсе нет,— сказал папа,— когда любят, любят навеки.

И с видом человека сведущего он откашлялся, чтобы избавиться от смущения, потом сказал:

— Ну хватит. Слишком это ужасно, да и ничего не дает.

Он спустил меня с колен и вышел, ни на кого не глядя.

— Моя козочка! — повторила Валери.— Он называет ее «моя козочка», и мы должны это слушать!

Она издала короткий смешок. А я смотрела на муху, увязшую лапками в джеме, и мой рот растягивался в улыбку. Я представляла себе огромного типа в темных очках, как он стоит, засунув руки в карманы, и насвистывает песенку о ковбое, который собирается съесть жареного цыпленка.

Клер с растрепавшимися волосами мечтала на солнце, подставляла солнцу маленький нос, жизнь под солнцем казалась ей прекрасной, и что же поделаешь, если отныне глазницы ее пусты.

Вот к какой жизни я стремилась — за пределами метронома, когда в мгновение ока перепрыгиваешь из Перу

в слишком уж упорядоченный дом в Бретани, не страшась, что тебя поглотит земля — ведь Земля так огромна.

Не страшась ни копий, ни стрел, ни греческого огня, ни бомб — всех этих хрестоматийных ужасов. Не боясь ни революций, ни рака, ни полетов на Луну — всех этих бабушкиных запретов. Без коленопреклонений, без чаепитий, без стремления прослыть образцом высокой морали.

И я смотрела на Клер, не видя ее, на Клер, зубами рвущую в мелкие клочки телеграмму, проглатывающую ее, чтобы быть уверенной, что не позабудет уходя.

Мама взяла письмо, повертела в руке.

— Прочту его в последний раз. И покончим с этим... мне так не хочется, чтобы это омрачало память о Клер.

— Это и в самом деле было бы прискорбно,— прошептал Ален.

Я встала, чувствуя себя по меньшей мере восемнадцатилетней, и сказала маме, как равная равной:

— Не понимаю, кого ты собираешься оберегать. Что бы там ни было, Ален все равно уже не может расторгнуть помолвку с Клер.

Мама быстренько напомнила мне мой возраст, отвесив пощечину.

Мы дрались на дуэли: мама и я. Я была в перуанской рубашке с кружевными манжетами, в черных штанах с широким поясом, в сапогах с серебряными шпорами, я зарядила пистолеты, взвела курок и целилась маме прямо в лоб в ответ на ее пощечину.

— Ты и правда хочешь заставить меня уехать, как Клер?

С того дня как она меня укусила, мама ни разу не осмелилась меня даже пальцем тронуть. Когда она в хорошем настроении, она говорит:

— Я просто робею, когда ты так смотришь на меня.

Когда она раздражена, она говорит:

— Не смей на меня так смотреть.

И все. Она еще ни разу не осмеливалась поднять на меня руку. На Клер да, постоянно. Анриетта говорит:

— Если собрать все пощечины, которые ваша мамаша отвесила этой девочке, набралось бы аплодисментов минут на пять.

— Иди в свою комнату,— пробормотала мама,— уходи, ты сама не знаешь, что говоришь.

Ален и Валери не пошевельнулись, я видела их глаза, похожие на испуганных птенчиков, готовых издать пронзительный писк. Я сказала маме:

— Тогда идем со мной, я хочу с тобой поговорить.

Мы поднялись по лестнице друг за дружкой прямо в Перуанскую пустыню, где в каждом кактусе таилась угроза и где жила обманчивая надежда, что вдруг все могло бы вновь стать ясным и простым, что, преодолев линию горизонта, можно в крайнем случае обо всем позабыть.

Увидеть, как из дальней дали приближаются фигуры, и выбрать, кого избежать, с кем встретиться. Войдя в мою комнату, мама прислонилась спиной к двери, очень бледная, она еле держалась на ногах; я сказала:

— Почему ты всегда ее запирала, била по щекам, наказывала... Почему?

— Так надо было,— простонала мама,— ты причиняешь мне боль, замолчи, детка, ты не можешь понять.

Она закрыла лицо руками, и я услышала свой крик:

— Почему? Скажи, что она тебе сделала?

— Она была упрямая, не хотела слушаться, она самой себе навредила бы, ты не можешь понять,— повторила мама.

Мы взглянули друг на друга — мама и я. Молчание было таким весомым, что мне показалось, я слышу, как оно упало, разлетелось в куски у самых наших ног, сопровождаемое крошечными взрывами. Сердце мое выпрыгнуло из грудной клетки, бесформенное, красное, все в бороздках, как в анатомическом атласе, и шумно стучало, хлюпая клапанами.

Я сказала маме:

— Все плачет и плачет тихонечко ночью и повторяет: «Что же все это такое, Фредерик? Думаешь ли ты обо мне? Думаешь ли ты иногда, что я для тебя единственная?»

— Ох, этого-то я и боялась,— сказала мама, опускаясь на кровать.

У мамы опять был тот самый взгляд, как после смерти Клер,— взгляд немного безумный от бессильного горя; она тихо взмолилась:

— Рассказывай еще, детка.

— Говорит потом о другом, громко смеется, а я боюсь, вдруг она заметит, что я проснулась.

— Еще,— потребовала мама.

Но больше я не могла рассказывать ей про Клер. Я сняла сапоги с серебряными шпорами, отложила в сторону пистолеты и села рядом с мамой.

Чтоб ее утешить, я сказала:

— Можешь наказать меня, если хочешь.

— Больше никогда в жизни,— сказала мама.

И она обняла меня, гладила по волосам, шепча себе с закрытыми глазами, словно во сне:

— Усни, моя радость, мое маленькое сокровище, твоя боль перейдет к маме.

Те самые слова, которые она говорит, когда мы больны и засыпаем, прижав к сердцу ее руку. Чтобы думать о Клер в маминых объятиях, я закрыла глаза, и больше у меня не было сил.

Я все время слышу голос Клер в ту последнюю ночь, когда она белым языком пламени закружилась по комнате, потом остановилась передо мной:

— Клянись, что не проговоришься!

Я не ответила. Я притворилась, что сплю, натянув на голову простыню, и повторяла убаюкивающую меня молитву: «Господи, пожалуйста, забудь обо мне». Но я не смогла уснуть. Клер начала тихонько плакать в темноте и громко смеяться и шептала:

— Мне так часто не хватает тебя, я тебя зову. Мне кажется, я несчастна оттого, что тебя нет рядом со мной. Я говорю: «Мой Фредерик, мой Фредерик», я все твержу, твержу эти слова, а бывают минуты, когда я думаю покончить с собой. Думаю о смерти. Оттого что, говорю я себе, моя жизнь завершила свой оборот.

— Мне хочется больше не жить,— сказала Клер ночью тем приглушенным голосом, который разносится так далеко, когда душат слезы.— Не на самом деле не жить, потому что всегда надеешься. Я все еще надеюсь, я так часто говорю себе, говорю: «Немыслимо, чтобы в один прекрасный день я... я не зажила вместе с Фредериком». Мне хотелось бы иметь от тебя ребенка, дитя нашего прошлого года, мечтать, что ребенок будет расти, будет спать между нами на большой белой софе. Сейчас он мог бы уже родиться. Ты не захотел. Сказал, что боишься меня. Потому что я хотела внушить тебе, что одинока.

Что лишена поддержки семьи. Материальной поддержки. Всякой поддержки.

Я уже сама не знаю, чего хочу. Уже не знаю, чего жду. Жду завтрашнего дня. В последний раз жду завтрашнего дня. И потом — единственные свидания с вами на Полярной звезде? Нелепо. А потом? Ничего. Такое долгое потом. Набраться мужества. Позволять Алену целовать себя каждый раз, когда ему захочется. Как это трудно. Ничего я больше не знаю.

А после Клер принялась хохотать в темноте, сидя в постели на корточках, в белой ночной рубашке, похожая на бедуина, ожидающего зарю. Ее охватил приступ безумного смеха.

— Те, кто меня и правда любят, говорят, что я еще незрелая. И я, которая себя и правда люблю, тоже говорю себе, что я незрелая, но что лучше примириться с этим — чего другого ждать в мои годы, так ведь? Часто я не могу удержаться от смеха. До того все это глупо. До того пустыми стали мои дни. Видно, у меня совсем мало гордости, если мне приходится немножко ругать себя. И все-таки. Если уж надо вспоминать. Заставить себя сделать аборт. Лгать. Тысячу раз?

Потом Клер снова вытянулась в темноте на постели и заговорила почти светским тоном, словно и в самом деле к кому-то обращалась:

— Послушай, Фредерик, пожалуйста, не делай такого лица, ты же прекрасно знаешь, что в моих чувствах к тебе ничего не изменилось. Ну конечно, я знаю, ты меня любишь. На свой лад! Ты говоришь: «Уж мы-то никогда не расстанемся». Время от времени опять повторяешь, говоришь: «Ну просто близнецы». Говоришь про нас: «Мы близнецы». И когда тебе грустно, говоришь: «Какое счастье, что ты рядом!» Или же с тяжелым вздохом: «До тех пор, пока один из нас не уйдет!»

Если я рожу ребенка не от тебя, мне все будет казаться, что этот чужак меня уничтожит. Но неужели это и в самом деле возможно — ведь я такая идиотка! — что в глубине души я тебя не люблю? А просто играю роль в одном

из твоих фильмов? И поскольку не могу жить вместе с тобой, воображаю, что люблю тебя. Хитро, не правда ли?

Если бы можно было точно знать, вместо того чтобы выдумывать неведомо что. Так долго веришь, что любовь — это какое-то необоримое чувство, что ли. Потребность во Фредерике. Фредерик — единственный на свете. Моя зеница ока. Теперь я верю, что любовь или то, что называют любовью,— это родство. Нельзя отказаться от своего отца или матери. Они даны на всю жизнь, подходят они вам или нет. Ну вот, когда любишь кого-нибудь, когда любишь Фредерика, можешь испытывать тоску или желание ранить его, отомстить, можешь по-дурацки выскочить замуж за кого-то другого, как собираюсь сделать я, но несмотря ни на что, ты — частица меня, и все.

— Ты частица меня, вот и все,— сказала Клер отсутствующему Фредерику.— Даже Гаспар, знаешь, что говорит Гаспар? Он говорит: «У Фредерика с женой дело не пойдет».

Говорит, что она властная. Ты, верно, разъярился бы, если бы знал, а? Он говорит, что у тебя какой-то несчастный вид. Говорит, что мы с тобой что-то упустили. Ты тоже мне это сказал. Ты сказал мне это в машине на авеню Иены, вечером, а я, я сказала тебе: «Нет-нет, не надо меня целовать, ведь я теперь выхожу замуж, нас могут увидеть».

Я жду, что ты мне напишешь. Ты вечно говоришь: «Как только я туда приеду, я тебе напишу».

Всякий раз, когда ты далеко, тебе меня не хватает, и ты мне об этом пишешь, а я рву письмо, открытку или телеграмму. Потому что боюсь, вдруг кто-нибудь их найдет. Жаль, что у меня такая хорошая память. Все спрашиваешь и спрашиваешь у самой себя: почему?

Почему? Невозможно понять. Когда я объявила тебе, что тоже выхожу замуж, ты подарил мне цепочку. Она вся почернела у меня на шее. И тогда я подумала это оттого, что наша с Фредериком любовь вся почернела, ей нельзя показаться на белый свет. Почернела цепочка.

Ты сказал, что очень счастлив и в то же время очень несчастлив, оттого что я выхожу замуж. Надеюсь, насчет очень счастлив ты солгал.

Вот ты, когда ехал венчаться, позвонил мне и старался говорить совсем тихо, боялся, как бы она не услышала, и ты сказал мне, что...

— Что тебе очень страшно,— повторила Клер, и голос у нее пресекся.— Что ты носишь с собой маленькую косточку Меровингов, которую я тебе подарила. Фредерик, ведь это неправда? Это невозможно. Просто скверная шутка. Я не могу понять.

Она несколько раз шмыгнула носом, потом заговорила иным, рассудительным тоном:

— Ты должен быть счастлив. Вот что я себе твержу, но особой радости не испытываю. Нет, я хочу сказать, что испытываю радость, но это не утешает. Фредерик, я была с тобой счастлива. Может, вовсе не так счастлива, но мне это казалось. В сущности, да, лучше было бы, чтобы ты действительно был счастлив со своей женой, лучше бы, и я надеюсь, что...

Я надеюсь, что у вас с ней будет ребенок и всё прочее. Но в чем же смысл? Не могу понять. Совсем не могу понять. Ничего не понимаю. А дни идут за днями и ничего не улаживают.

Думаю, когда-нибудь вопреки всему. Вопреки всему и себе на беду. Я покончу с собой. Чтобы помешать всему, что... Всему, что может еще произойти. Но, возможно, у меня слабое воображение, я не вижу чего-то иного, что со мной произойдет. Не вижу больше. Не желаю больше, чтобы со мной что-то происходило. Только то, что завтра. Рассказывать тебе. Слушать тебя. Воображать, будто все можно перечеркнуть и начать сначала.

А потом она уснула. Или, вернее, я. На следующее утро она побоялась меня разбудить. Она не попрощалась, ничего не сказала. Уехала и умерла. Так что волей-неволей все это и запечатлелось в моей памяти.

Папа тоже предатель. Мне было так стыдно, что я думала о Клер в маминых объятиях, так стыдно, что мама не захотела меня наказать, когда я сказала: «Ты и правда хочешь заставить меня уехать, как Клер?», что я спряталась в машине. Чего-чего, а прятаться я умею здорово. Ведь в стенной шкаф или в машину они сроду не за-

глянут, им это и в голову не придет, уж они непременно будут искать тебя где-то далеко, где тебя и в помине нет.

Мне до того хотелось так вот и сидеть в машине, пока они про меня не забудут и не уедут в Париж, ясно, вместе со мной, уже высохшей, и с моей челюстью на заднем сиденье, но я так проголодалась, что это предприятие оказалось слишком сложным. Когда я решила, что они уже улеглись спать, я вылезла из-под откидного сиденья и выбралась наружу. Ноги меня не слушались, точно у новорожденного ягненка, в ушах звенело. Я не очень хорошо представляла себе, что мне делать, дошла до угла гаража, дом был погружен в темноту.

И вдруг совсем рядом увидела неподвижную фигуру папы. И я поверила, что папа больше всех на свете, что у него теплые руки, которые могут унести далеко, и я очутилась наверху, в его объятиях. На этот раз мой трюк с поджиманием пальцев ног не удался, я не могла удержаться и захныкала, но мне было не так уже стыдно, потому что папа запер кухонную дверь на засов и поклялся, что никто меня не увидит.

Мы съели глазунью и одиннадцать тартинок, макая их в шоколад с молоком. Папа посадил меня на колени, ему хотелось знать, почему я ушла. Он говорил «ушла», как люди говорят о Клер, и тогда я сказала, помимо моей воли:

— Потому что я не хочу больше жить с вами.

— Почему? — спросил папа.

— Потому что не хочу стать похожей на вас.

— Что же, по-твоему, в нас такого ужасного?

Я прекрасно чувствовала по папиному голосу, что он не принимает меня всерьез, и от этого было еще труднее объяснить.

— Не знаю. Метроном. Бабушка. Каноник. Запрет летать на Луну, даже когда все будут туда ездить. В общем все.

— Метроном? — спросил папа, улыбнувшись в усы.

— То самое. То, что заставляет вас так поступать.

— Ладно,— сказал папа.— Попробуем кое-что уточнить. Знаешь ли ты, чего именно хочешь?

— Я хочу быть, как Клер. Как Люлю Диаман.

— Люлю Диаман! Кто рассказал тебе о ней?

— Тетя Ребекка.

Папа спустил меня с колен; скрестив ноги, он сказал:
— Знаешь, твоя милейшая тетушка — ужасная чудачка.

Он сказал, что Люлю Диаман звали Мадлен Триньон. Она была бретонкой, но все слова произносила с английским акцентом. Ее мечта, говорила она, смотреть, как за окнами лачуги льет дождь, и есть прямо руками каштаны, обмакивая их в сметану. Она лгала, она вообще не желала есть. Целью ее жизни было добиться, чтобы грудь и бока ее стали лишь клеткой с дугообразными прутьями-ребрами, за которыми бьется сердце.

— Приложи руку, Жером, чувствуешь, оно совсем близко, ты мог бы даже взять его в ладонь, подсечь, как рыбак удочку, хочешь?

Папа отправлялся на улицу Руаяль, ждал ее появления во время выхода манекенщиц, вот уж действительно было зрелище! Жеманно, с продуманной грацией вышагивали молодые женщины — носительницы драгоценностей и удачи...

Судьбы некоторых были связаны с политикой, с дипломатией. Кое-кого можно и сейчас узнать по фотографиям на первых полосах газет, они сохраняют все ту же гордую посадку головы, загадочную складку губ, свое молчание.

Но Люлю Диаман не выносила молчания, она бежала к «Максиму», насыщалась шампанским.

— Понимаешь, Жером, это химический процесс, мы суть то, что мы поглощаем, и я в конце концов превращусь в пузырьки, в пену, искрящуюся на солнце.

Люлю Диаман благоразумием не отличалась. Когда папе до смерти хотелось спать, она не давала ему закрыть глаза:

— Если ты хоть на минутку отведешь от меня взгляд, я перестану существовать, я это знаю, чувствую.

У папы начинало зудеть все тело, это Люлю Диаман покусывала его то там, то здесь.

— Жгло, как фурункулы после смерти Клер?

Папа не ответил. Люлю Диаман хотела, чтобы он целиком принадлежал ей, она в этом призналась, закрыв глаза и мило улыбаясь:

— День за днем, до скончания света, если пожелаете.

Папу охватил страх, Люлю Диаман уже возносилась пузырьками ввысь, это заметно было по ее горящему

взгляду, по совсем уж прозрачной грудной клетке, где все громче и громче стучало сердце.

Дедушка номер один рассердился:

— Послушай-ка, Жером, ты что, хочешь оказаться с больной на руках? Девицей, которая появилась неведомо откуда и, поверь мне, идет неведомо куда. Которая лишена поддержки семьи, материальной поддержки, всякой поддержки.

Папа послушался дедушки. И он любезно сказал Люлю Диаман, что хорошенько все обдумает. Люлю Диаман поняла. Она улыбнулась папе, первый раз в жизни помада у нее на губах была наложена неровно.

Они тайком распрощались, он и она. И поцеловались, и она даже подарила ему свою карточку и просила никогда никому ее не показывать.

Очень скоро она вышла замуж за банкира. Благоразумней она не стала, по-прежнему отказывалась есть, и желудок у нее сделался таким маленьким, что ей хватало одного-единственного печенья.

— В сущности,— сказал папа,— бедняжка Мадлен была не слишком-то умна.

Я выслушала папин рассказ до конца. Я по очереди шевелила пальцами — большим, указательным, средним, безымянным, мизинцем и снова большим. Я не напомнила папе про бородавку на пальце Люлю Диаман, слишком о многом он уже забыл. Я смотрела на него, на его усталое, немного отекшее, сероватое лицо, на подбородке еще остался след от фурункула; и сказала ему:

— Знаешь, я тебя все-таки очень люблю.

Мама устроила сеанс прощения. Она твердила, по своему обыкновению:

— Я тебя прощаю, прости и ты меня.

Такова ее обычная формула. Прямо не знаешь, куда деваться. Она стоит перед нами, глаза у нее еще горячее и синее, чем обычно; она смеется:

— Бедное мое дитя, у тебя скверная мать, нервная мать и совсем вас не любит.

Мы только вздыхаем. На этот раз мне нужно было еще просить прощения у Алена, Валери и даже у Оливье с Шарлем, поскольку я, видимо, всех их оскорбила, спрятавшись в машине. Я проделала все, что от меня требовали.

— Пойми, детка, надо пользоваться каникулами, чтобы восстановить силы, прибавить килограмм или два, если возможно, и тогда осенью, подхватив простуду, почувствуешь, как благотворен великолепный морской воздух.

— Дышите полной грудью, у-фф, это изгоняет из организма токсины, а розовые детские щеки — залог здоровья, которое вы здесь накапливаете.

— Подумайте о тех детях, что никогда не выезжают на каникулы, личики у них прозрачные, как бумага.

— На нашу долю выпало тяжкое испытание, но мы с божьей помощью его выдержим. Впрочем, самое трудное позади.

— Вера в загробную жизнь — вот, что помогает, это несомненно.

— Иначе пришлось бы руки на себя наложить.

— Я так страшусь возвращения в Париж, вернуться опять ко всем этим вещам, принадлежавшим Клер. Взять в руки платье, которое она никогда больше не наденет, косынку, флакон духов, сердце надрывается.

— Надо написать Анриетте, пусть отдаст все вещи Клер в пользу бедных молодых девушек. И еще пусть, пожалуй, распорядится, чтобы перекрасили комнату.

— Ты прав, так я и сделаю. Но каждый из нас возьмет себе что-нибудь на память, подумайте об этом хорошенько, прежде чем я пошлю письмо.

— Надо бы сжечь оставшиеся брачные уведомления.

— Моя бедная девочка, которой никогда не исполнится сорок. Виновата ли я, что все время об этом думаю.

— Бог в неизреченной своей доброте уберег ее от страданий, от опасностей, от горестей жизни — вот, что надо неустанно твердить себе.

— Знаете, Ален, не сочтите меня жестокой, но порой я думаю, что вы были бы не слишком счастливы с Клер. Она была еще чересчур молода, чересчур импульсивна.

— А я никогда не забуду, что ты был ее последней земной радостью, Ален. Ведь, в сущности, она умерла счастливой?

— Повторяйте мне это, дорогие мои детки, повторяйте, иначе я не вынесу.

Кто говорил все это? Папа, мама, Валери, Ален, кто-то, во время бесконечных сидений за накрытым к чаю столом, потому что лил дождь.

В воздухе стоял запах гудрона, гниющих водорослей, мокрого песка, опавших листьев. Оливье и Шарль окрестили аленовскую Анриетту «Боблок». Они все время спорят, кому первому карабкаться ей на спину. Стоя на четвереньках, она наващивала ступеньки лестницы и ворчала:

— Вот увидите, уж коли я начну сейчас лягаться, хорошенькие следы останутся у вас на попках!

Но они не унимались, подстегивая ее пыльной тряпкой:

— Эй, Боблок!

Направляясь к себе в комнату, я перешагивала через них.

— Правда, что у тебя неблагодарный возраст? — низким голосом кричал Шарль.— Это мама сказала, когда ты пряталась в машине.

Я заперлась на ключ. Стены комнаты голые. На постели покрывало в красную и белую клетку и такие же занавеси на окнах. На выбеленном жавелевой водой полу мне иногда вдруг попадался кузнечик. Я усаживалась рядом с ним, подтянув колени к подбородку. Накрыв рукой, я заключала его в темницу. Он прыгал, щекоча мне ладонь, я воображала, что он ищет щель, через которую мог бы убежать, ищет неутомимо, но неразумно. А потом без всякой причины он смирялся на дне своей пещеры, прикидываясь мертвым. А потом снова я чувствовала лихорадочное трепетание его лапок то тут, то там, ничто не могло заставить его разувериться, ничто не могло остановить его, словно в этой черной пещере, образованной моей ладонью, заключена была вся его земная жизнь, хоть и не было никакой надежды выбраться отсюда.

Я разжимала пальцы, оставляла для него отверстие, отводя большой палец, но этот идиот не находил отверстия. Он продолжал колотиться своей кузнечиковой головкой, впрочем, у него, видно, уже отбило память. Я раскрывала ладонь.

За окном надвигалась ночь. Я спускалась вниз и присоединялась к тем, кто сидел за чайным столом.

— Когда идет дождь, не знаешь, чем занять детей,— говорил кто-нибудь из них.

Я люблю наш зеленый класс за то, что солнце там падает прямо на меня. Оно греет весь левый ряд парт, стоящих вдоль большого окна, и в последний триместр у нас, пяти девочек, покрывается загаром левая рука и щека.

Перед классной доской стоит сестра Долли, она разучивает с нами телефонный разговор по-английски. Когда очередь доходит до меня, я поднимаюсь на кафедру, прикладываю к уху кулак, словно телефонную трубку, сестра Долли поступает так же, и мы перекликаемся словно на большом расстоянии.

— How do you do? [1] — с энтузиазмом восклицает сестра Долли.

Я тоже почти кричу, чтобы она меня услышала:

— How is Claire?

— She is fine,— говорит сестра Долли.

— Has she eaten her rotten chicken? [2]

Сестра Долли прерывает телефонную связь.

— Не «rotten» детка. «Rotten» значит «гнилой».

Вечно я говорю «rotten», когда хочу сказать «жареный». Но пока что мы проходим описание фермы, и у нас не так уж много тем для беседы. От сестры Долли пахнет кофе с молоком и пылью, ходит она стремительными большими шагами, и в складках юбки у нее позвякивают четки. Каролина клянется, что она переодетый мужчина.

Каролина моя лучшая подруга. Вернее, это она избрала меня своей лучшей подругой. Из-за каштановых волос, свисающих по обеим сторонам острого подбородка, она похожа на нашего английского спаниеля Бобби. Чтобы доставить ей удовольствие, я, так же как она, напускаю на себя мрачность в те воскресные дни, когда мы остаемся в пансионе, а родственники могут встречаться с нами в приемной для посетителей. Мы с ней усаживаемся на лужайке, Каролина выдергивает травинку за травинкой и каждые пять минут спрашивает:

— Берта, ты тоже грустишь, оттого что твои родные не приедут?

И я отвечаю:

— Ну, конечно, Берта.

Мы с Каролиной называем друг друга «Берта». В зеленом дортуаре наши кровати стоят рядом, и по утрам мы говорим:

---

[1] Как вы поживаете? *(англ.)*

[2] — Как Клер? *(англ.)*
— Отлично *(англ.)*
— Ела ли она гнилого цыпленка? *(англ.)*

— Привет, Берта!

— Привет, Берта!

Таким образом становишься вроде бы никем, а это приятно. В часы, свободные от занятий, мы прогуливаемся под присмотром в парке, только не у самой стены, там растет кустарник и это запрещено. Каролина старается подпрыгнуть повыше, она жалуется:

— Из-за этой стены ничего не увидишь, до чего же мне хочется выйти отсюда.

А я вот довольна, что нахожусь за стеной. Здесь бродит на воле старый конь с выгнутой спиной по имени Клокло, он тычется ноздрями в наши ладони, протяжно вздыхает, дрожь электрическим током пробегает вдоль его позвоночника, прогоняя мух. По ту сторону ограды, отделяющей нас от монастырской общины, видны монахини, играющие в мяч. Девочки медленно, пара за парой проходят по аллеям, перешептываются, волосы у них свободно падают на плечи или же подняты вверх по новой моде, и неизбежно наступает год, когда меняется цвет ленточки у нас в бутоньерке. Розовая — для группы малышей, зеленая — для нашей, синяя — для старших.

Смена ленточки — единственное событие, которое меня интересует, не считая посещений бывших воспитанниц в день праздника. Вдыхаешь запах улиц, который они принесли с собой. Им удалось ускользнуть из маленького мирка в большой мир, это сразу заметно по лукавому любопытству, с каким разговаривают с ними монахини, спрашивают даже, прикрывая ладонью улыбающийся рот, об их будущих детях.

Я гляжу на них во все глаза. Каролина тянет меня за руку.

— Берта, перестань на них так смотреть. Что у тебя за манера разглядывать людей, потом ты хлопот не оберешься с мальчишками, если будешь на них так пялиться.

Каролина только и думает, что о мальчишках. В поезде, который в субботу раз в месяц отвозит нас в Париж, она ухитряется строить глазки контролеру. И утверждает, что он отвечает ей тем же.

Когда мы в сентябре вернулись в пансион, Каролина, желая меня потрясти, извлекла украденный у матери бюстгальтер и, подбоченившись, заявила:

— Спорим, что я надену его еще до весны?

— Бедная моя Берта. Мне он ни к чему, я и так заполучу себе дружка.

И потом каждый вечер в темноте мы развлекались тем, что рассказывали друг другу про Фредерика.

— К несчастью, ему приходится носить темные очки, даже когда он спит. Он обжег глаза, снимая солнце с борта реактивного самолета. Знаешь, на такой высоте небо страшно разрушает зрение. На землю он вернулся ослепшим, его мать просто сходила с ума от беспокойства.

Каролина делала вид, что сражена:

— Бедная моя Берта! Значит, когда вас станут фотографировать вдвоем, всегда будет казаться, что ты стоишь под руку с преступником, темные очки на снимке выходят совсем как черная полоска на лице, если хотят, чтобы человек остался неузнанным.

— Подумай, зато это будет дьявольски удобно, когда он станет знаменитым.

Каролина от злости ворочалась в постели. Уткнув нос в подушку, она спросила:

— А какие фильмы он уже снял?

— О! — беззаботно отвечала я.— У него главное — планы. Планов выше головы, вечно он с самолета на самолет, то в Перу, то в Бретани. Боюсь, в этом году у него не будет времени повидаться со мной. Мы поженимся через четыре года.

— Бедняжка Берта,— вздыхала Каролина,— он найдет себе другую, в солнечных очках, в белых бикини на золотистой коже.

Я была спокойна. Фредерик предпочитает девушек с длинными темно-рыжими волосами, которые держатся до того прямо, что порой у них даже выступают тонкие бедренные кости, точно два межевых камушка, ограничивающие крошечное поле живота. Словом, таких, какой я стану позже.

— Ты в этом уверена, Берта?

— Послушай, Берта, он же мне пишет. И даже называет «моя козочка».

Но после первого же посещения родителей Каролина бегом примчалась по дорожке, посыпанной гравием, ее каштановые волосы мотались во все стороны, пронзитель-

ным голосом она звала под каждым окошком зеленого класса:

— Берта! Берта!

Распахнув дверь ударом ноги, она взглянула на меня, и ее коричневые глазки совсем сузились, она принялась орать:

— Лгунья ты, Берта, подлая лгунья! Твой Фредерик — просто выдумки. А на самом-то деле у тебя во время каникул умерла сестра, твоя мать написала об этом моей матери, просила, чтобы я была с тобой поласковей. Еще чего не хватало, буду я ласкова с такой лгуньей!

И все вдруг погрузилось в тусклую тишину, только гулко стучало мое сердце, удары его были точно подземные взрывы. Я посмотрела в окно, но ничего не увидела, кроме мутного пятна. Приподняв крышку парты, чтобы как-то укрыться за ней, я сказала:

— Клянусь тебе, Берта, это абсолютная ложь.

Каролина набросилась на меня, дергала меня за волосы и, не переставая, кричала:

— Лгунья, нет, ты мне скажешь правду!

Я тоже вцепилась ей в волосы, мне удалось даже укусить ее в ладонь, и она принялась орать, а я совсем озверела, и тут появилась сестра Долли.

— У нее умерла сестра,— задыхаясь, проговорила Каролина,— а она не хочет в этом признаться.

— Ох-хо, ужасно, бедная деточка, тише, тише,— выдохнула сестра Долли.

Она заключила меня в объятия, замкнула в кольцо своих запахов — пыли и кофе с молоком,— втянув носом подступавшие слезы, я высвободилась из ее объятий и сказала, глядя ей прямо и открыто в глаза, как она этого всегда требует:

— Нет, неправда. Мама недоносила младенчика, выкидыш — вот и все!

— What? [1]

— Младенчика,— повторила я, расставив ладони, чтобы показать, какой он крошечный.— Но у нее будет другой, правда!

Потом мы остались вдвоем, я и Каролина, в зеленом классе; мы попытались, сидя рядышком, читать «Моби

[1] Что? *(англ.)*

Дика», не разговаривая, не глядя друг на друга. И вдруг я почувствовала, что это надвигается из самой глуби гниющих лесов, где едва поставишь ногу на слой опавших листьев, как вокруг уже просачивается темный ореол, отпечаток следа. Я увидела, как на мои колени, на синий передник капают, расплываясь, темные пятна — одно за другим. Каролина тоже увидела их; она робко сказала:

— Послушай, Берта...

Я уткнулась в скрещенные на парте руки. Больше не о чем было спорить. Я сказала ей:

— Это злой поступок, Берта. Я хочу теперь, чтобы Клер оказалась здесь.

И я крепко-крепко прижалась лбом к дереву парты, устремив глаза в темноту, волны душе-леденящего-горя пробежали по моей спине, как у коня Клокло. Я канула в пустоту, в некий колодец, вырытый в центре бетонной пустыни, медленно погружалась туда вместе с остальной вселенной, с зеленым классом, сестрой Долли, папой, мамой, со всеми нами, неразличимыми, как крупицы слюды, поблескивающие на лестнице метро. Все мы — ничто, и если все мы и в самом деле ничто, Клер может вернуться, ведь позади нас пролегло столько тысячелетий, что мы теперь в равном положении.

Дрожь душе-леденящего-горя нежно окутала меня, стала настоящей нежностью, все возрастающей нежностью, радостью, всеобъемлющей радостью. Я подняла голову: Клер была здесь.

Не видимая, нет, но живая, так что я даже забыла о самой себе,— замкнутая в стенах зеленого класса, с телом, растянутым между партами, классной доской и почти черным сейчас окном. Существовавшая во все множащихся зовах, которые сходились над нами, в свистке семичасового поезда, пронзительных голосах проходивших по коридору девочек, приглушенном шуме телевизора, долетавшем сюда.

— Берта,— шепотом сказала Каролина,— слушай, пошевелись. Надо зажечь свет, запрещено сидеть в темноте.

— Еще минутку. Слушай, Берта, я разгадала фокус, я могу теперь увидеть ее, когда пожелаю.

— А где? — дрогнувшим голосом спросила Каролина.

Я вскочила на ноги, расхохоталась: «Здесь» — и показала пальцем на кафедру, на доску, на все вокруг. Каролина издала стон.

— Мне страшно, Берта. Расскажи, какая она?

Мне просто хотелось взбесить Каролину, но это и в самом деле была Клер в желтой кофте с большим вырезом, в широких черных расклешенных брюках, в золотистых итальянских босоножках. Волосы ее струились вдоль плеч, она бесшумно ступала по гравию, присоединившись к нам в аллее клиники в тот день, когда ее запаяли в гроб.

— Ничего не понимаю, Берта. Никогда не видела, чтобы она так одевалась, сама знаешь, мама ни за что бы не разрешила.

Мы зажгли свет и стали размышлять. Каролина грызла ногти.

— Послушай, Берта, если она уехала из дому, не попрощавшись, то, может, потому, что не хотела возвращаться. В таких случаях, знаешь, нарочно делаешь все, что было запрещено. Если я сбегу отсюда, уж будь уверена, в столкнувшихся автомобилях меня найдут вместе с железнодорожным контролером, я стану щекотать ему усы, и мы будем выплевывать скорлупу от арахиса прямо на землю. Представляешь себе выражение лица моей мамы, если ей об этом расскажут? И тут то же самое.

— А как она умерла? — шепотом спрашивала Каролина.

Ей без конца хотелось говорить о Клер. Я натягивала на голову простыню, но Каролина, свесившись с постели, щипала меня.

— Можно не беспокоиться, она уже сняла покрывало.

В свете ночника сквозь матовое стекло каморки видна была голова сестры Долли — теперь она стала совсем круглой и не походила больше на парусник.

Все девочки спали, но нужно было дождаться, пока соседка Каролины, Луиза, засунет в рот три пальца и начнет их сосать, тогда можно быть уверенными, что не спим только мы двое. Я прошептала:

— Фредерик выстрелил в нее из револьвера, пуля попала в самое сердце.

— Ты врешь, Берта, — отвечала Каролина, даже не сердясь.

— Послушай, Берта, ведь это моя сестра, а не твоя.

— Ну так как же? — снова спрашивала Каролина.

— Она подорвалась на бомбе, и жандармам пришлось нарисовать ее фигуру на шоссе, чтобы ее могли опознать.

— Ну, ладно,— говорила Каролина,— я все равно узнаю правду.

Я затыкала уши, так что начинало шуметь в голове, выгибалась дугой от затылка до пят, но ни разу мне не удалось настичь Клер в том беспредельном просторе, куда она вырвалась, ускользнув от объятий, приказов, разговоров. Я десятки, сотни раз беззвучно кричала:

— Клер, я хочу тебя видеть на самом деле, хоть разочек, только один разочек, явись.

Я чувствовала, что она приближается, и не смела дышать.

— Я не стану смотреть, обещаю, только приди, о, приди!

И тут воздух врывался в мои легкие, и шар, в котором я была заключена вместе с Клер, лопался. Тогда я отодвигалась на самый краешек кровати, чтобы оставить побольше места для Клер, если она вдруг придет ко мне во время сна.

— Ты спишь, Берта? — шептала Каролина.

— Да, Берта, молчи.

И я лежала не шевелясь. Никто на свете не обнаружил бы, что я жива, не приложив руку к моему сердцу.

Раз в месяц, в субботу, нам полагается ездить домой. В первую субботу, когда я вернулась, все прошло удачно, мама с подозрительным видом спросила:

— Ты не передаешь мне ни слова от сестры Долли? Ты уверена, что не забыла отдать ей мое письмо?

Я нагнулась, подтягивая носки, чтобы она не видела моего лица.

— Она поминала Клер в своих вечерних молитвах, вот тебе, мама, доказательство, что она знает.

Мама опять была спокойной. Она то и дело раздвигала пошире шафрановые занавеси, расставляла по росту бутылки с ликером, шла взглянуть, действительно ли на стене появилось пятно из-за вечной нашей привычки, Оливье, Шарля и моей, всюду лезть со своими грязными лапами.

Папа состарился. Он все время звонил по телефону, громоздил одну папку на другую на письменном столе, от-

правлялся на машине фотографировать треугольник острием вниз (что должно было означать «стоп!») на перекрестке шоссе, где огромный «шевроле» задавил Клер. Папа без конца садился, вставал, разговаривал сам с собой.

— Он мне дорого заплатит. Я добьюсь, что у него отнимут права. Посмотрим, как он тогда станет торговать свиньями, передвигаясь на своих двоих. Я его в тюрьму упеку. Разорю. Миллионное возмещение убытков.

Он всюду таскал с собой, зажав под мышкой, целую кучу счетов, ложась спать клал их рядом, на ночной столик, обращался к Некоему лицу, похлопывая по листкам тыльной стороной ладони:

— Они все здесь, начиная со счета, предъявленного после родов, кончая расходами, в которые мы влезли ради ее замужества. Он мне еще заплатит за ее подвенечное платье. Может быть, он думает, что я так вот и отступлюсь от своего имущества? Ребенок — это капитал, и мы его отсудим!

Потом бессильно опускался на стул, начинал плакать, и его большое серое лицо вздрагивало. Мама молча делала мне знак подойти к нему, утешить. Но я, даже не взглянув, проходила мимо. Слезы внушали мне отвращение. Только когда ни в ком не нуждаешься, можно быстрее вырасти, уехать. Быть одной на свете. Одной и одновременно везде. Из Перу в Бретань в мгновение ока.

Скача на одной ножке по коридору, я повторяла:

— Вот так, да-да-да.

Все одеты в черное на этом процессе. Длинные ряды скамеек, как в нашем зеленом классе, почти пустых. Преподаватели выстроились в шеренгу у классной доски, лица их выпачканы мелом, только на месте рта красная черточка. На этот раз папа и мама оба худые. Они стоят, вцепившись руками в железный барьер. Есть тут и адвокат в широкой мантии, от его стремительных шагов подол мантии развевается, как развеваются ее рукава, когда он воздевает вверх руки, провозглашая:

— Сто франков кило лососины, дамы-господа. Четыреста восемьдесят франков бежевая амазонка с коричневой отделкой, которую носят с брюками. Миллион франков за лужайку с миллионом травинок, где эта молодая девушка некогда выросла.

На шатающемся одноногом столике волосатый карлик с выкрашенной черной ваксой бороденкой при каждой цифре восклицает:

— Допускаю!

Чтобы все выглядело всерьез. Он крутит ручку счетной машинки, фиксируя сумму, бумажная лента тянется, скручивается и в конце концов падает на пыльный паркет, ползет по полу, как толстый белый червь. А карлик совершает гигантский прыжок, ловко приземляется перед строем преподавателей и объявляет гнусавым голосом:

— Сто семьдесят семь тысяч восемьсот сорок часов подготовки ради того, чтобы умерла эта молодая девушка весом в сорок шесть килограмм... Сколько же получается у нас за кило, дамы-господа, чтобы я мог подбить итог.

— Есть возражение! — вопит адвокат.— Часы, когда светит солнце, гораздо дороже. Следует включить дополнительные расходы на клубничное мороженое, на дурацкие журналы, которые зимой не читают. А велосипед, взятый напрокат для последней прогулки, вы что, совсем сбрасываете со счетов?

Папа с жалобным видом открывает портфель, трясет его, желая продемонстрировать, что он пуст.

— У меня все забрали,— говорит он вяло.— Видите, ничего не осталось, прочие мои дети полностью девальвированы.

Старший преподаватель изо всей силы ударяет молотком, стук далеко разносится, он говорит папе:

— Вы оплатили свое право молчать, так воспользуйтесь же им. Убийца, встаньте.

Появляется маленький, вполне приличный господин, он идет на четвереньках, старательно вытягивая ноги, чтобы не образовались мешки на новых серо-зеленых брюках, цвета нечищенного котла. Единственное, что у него неприлично,— это рот, в уголках которого вскипают белые пузырьки. Голоском младенца орангутанга, волочась на коленях перед папой и мамой, протягивая к ним сложенные ладони, он взывает:

— Бог-отец и Бог-мать, простите меня, ведь я не прегрешил против вас. За меня моя вера и еще крыло моей машины, взгляните сами на заключение экспертизы, краска лишь чуточку облупилась. Мой свидетель — солнце, оно подтвердит мои слова, ваша молодая девушка броси-

лась ко мне, она искала у меня защиты и спасения. Она сказала: «Наконец-то вы здесь, мсье, я вас ждала. Конечно, лицо ваше не слишком красиво, я знавала лица гораздо красивей, если бы вы видели, какие мне присылали из Перу. Но не будем терять зря времени, вы все же вполне приличны».

— Ложь! — кричит мама.— Мы ждали Клер к обеду.

Маленький господин грустно трясет головой:

— Я не стану лгать перед вами, Бог-мать. Она даже настояла, что оплатит свой проезд бриллиантовым кольцом стоимостью двести пятьдесят тысяч, которое носила на безымянном пальце левой руки. Вот заберите его, фактически она путешествовала вполне самостоятельно. Ох, боюсь, что в этой истории мной воспользовались просто как средством транспорта, не больше.

— В таком случае пусть мне вернут бриллиантовое кольцо,— объявляет бесстрастным голосом Ален.

— Как, и вы тоже здесь? — говорит мама.— Скажите, пожалуйста, по какому праву вы подслушиваете наши цифры? С любезностями покончено, голубчик мой. Вы годны только на то, чтобы жениться, вот и ждите, когда придет ваш черед. И помалкивайте, понятно?

— Так что же,— в нетерпении спрашивает бородатый карлик,— какой счет я вам выписываю?

— Добавьте к общей сумме треугольник острием вниз,— говорит папа.— Он не обратил внимания на «стоп», у нас есть свидетели.

Губы маленького господина складываются в капризную гримаску:

— Да я же говорю вам, она делала мне знаки. Она сама так захотела, да-да!

Старший преподаватель встает. Его огромный рост нагоняет на всех страх. Папа и мама чуточку толстеют, они садятся, они верят в правосудие и совершенно спокойны.

— Ваше блямканье мне надоело,— грубо заявляет преподаватель.

Все вздрагивают.

— Пусть мне переведут, пусть переведут! — умоляет бородатый карлик, прикладывая руку трубочкой к уху.

— У меня за плечами большой опыт и большое знание человеческого сердца,— снова говорит старший преподаватель.— Короче, все вы будете осуждены. Вы,— он ты-

чет пальцем в маленького господина,— потеряете свою собственную дочь, это отучит вас подбивать на путешествия несовершеннолетних без согласия родителей.

— У меня нет дочери, ваша честь,— извиняется маленький господин.

— Не имеет значения,— говорит преподаватель.— Тогда, значит, жену. От рака, это как раз подойдет для ее возраста.

Маленький господин тотчас скрючивается от боли на пыльном паркете.

— Это всего лишь колики, непроходимость кишечника,— стонет он,— умоляю вас, пощадите меня.

Папа начинает насмехаться, и сразу же темные одежды становятся ему слишком широки, он говорит:

— Да уж, от этого вы никак не разбогатеете!

И внезапно я просыпаюсь.

Я жду, когда молчаливая сова, раскинув огромные крылья, пролетит на бреющем полете над восьмью, стоящими в ряд кроватями в нашем зеленом дортуаре. Луиза сосет засунутые в рот пальцы.

Каролина радостно икает во сне, потом раза два подгребает рукой.

Ночами мне тоскливо. Я сажусь на постели. В белой ночной рубашке я — бедуин, ожидающий зарю. Я закрываю глаза и вижу, как навстречу мне встает бескрайний, плоский небосвод, он опрокидывается, и я падаю. Пролетаю атмосферные слои, они поддаются один за другим, разрываются, словно перепонки, а в самом конце — узкий проход, окруженный красным кольцом, он все сужается, и я не могу, не могу его преодолеть.

— Клер, Клер!

И она приходит, обжигающая, да, она как ожог, рывком хватает меня за плечи, и я выпрыгиваю из своей скользкой кожи, и приземляюсь на ноги, раскинув руки, как акробат в цирке, приветствующий публику.

— Вот здорово, дружок! — говорит Клер и хлопает длинными ресницами, изображая куклу с закрывающимися глазами.

С каждой секундой она отступает все дальше, я следую за ней по прямой, натянутой до предела, туда, где гуляет ветер, от которого перехватывает дыхание. Клер шагает

слишком быстро, я не поспеваю за ней, она закладывает волосы за уши, бросает смеющийся взгляд через плечо:

— Вырастай поскорее, тогда я тебе все расскажу.

И она продолжает удаляться, нарочно переплетая ноги в розовых носках, ни разу не споткнувшись.

— Послушай, Клер, они хотят устроить судебный процесс, они уже все облачились в черное...

Клер не принимает меня всерьез. К несчастью, она ждет, когда я вырасту.

Она запирается вместе с Фредериком в маленьком домике-склепе. Непринужденно берет его за руку, говорит ему:

— Надеюсь, дорогой мой, вы со мной согласитесь, хорошо живется только под землей. У нас повсюду будут подушки, белые цветы, а солнце мы станем вдыхать через соломинку в крыше.

Когда вы отлучитесь, вы лишь слегка прикроете меня землей, так чтобы лицо выглядывало и я могла улыбаться, дожидаясь вашего возвращения. Я даже, если мне заблагорассудится, положу ту, другую свою улыбку в карман вашего пиджака, она будет оттуда выглядывать с заледеневшими, синеватыми зубами и с носом, кажущимся еще меньше, может быть, оттого, что щеки и подбородок распухли. Видите ли, я разбилась, когда спешила на встречу с вами.

Кстати, пока я не забыла, последняя деталь: наше свидание на Полярной звезде невозможно. Представьте себе, небо в той стороне, где Перу, совершенно иное, там нет Полярной звезды, моя младшая сестренка смотрела по атласу, и мне не хотелось бы, чтобы вы глупейшим образом блуждали среди незнакомых нам звезд. Я боюсь, что они выроют зияющие черные ямы у вас под ногами и нарушат нашу тишину, постепенно заполнив ее мертвенным шелестом глубинных вод.

И что-то завопило в темноте, и они опустили на землю эту штуку, гроб. У Шарля стали стучать зубы, мама поддерживала его челюсть ладонью, а голову уткнула себе в юбку. Белые корни прорезывали кучу земли. И гроб на веревках начали погружать в яму, и все бросали по горсти земли.

Все бросали землю, мама, я хочу видеть маму!

Пусть мы будем совсем еще маленькие, и пусть будет июльское воскресенье, и пусть мы собираемся сесть за стол, и пусть придет Клер, и ничего не поделаешь, пускай я не вырасту.

Сестра Долли зажигает свет, появляется на пороге в смешном чепце на маленькой головке, все девочки толпятся вокруг моей постели, и я прекрасно вижу, что Берта трусит, рот у нее открыт. Сестра Долли заставляет меня выпить какую-то горькую водичку.

— Это, чтобы вы успокоились, бромистый препарат. Ничего, деточка, вас мучали кошмары, а теперь все прошло.

Но я-то прекрасно знаю, что это никогда не пройдет.

— Никогда, никогда.— И я сжимаю ее крепкую руку.— Не давайте мне уснуть, я так боюсь уснуть, не желаю больше спать.

Она обещает разбудить меня, если я засну; она посидит рядом, гаснут огни, и мы друг за дружкой, гуськом, погружаемся в сон, а сестра Долли молится, чтобы мы уснули, и говорит: «Господь мой пастырь», она бодрствует над нами, мы хранимые ею белоснежные агнцы.

Наступает утро, и, пока мы ввосьмером чистим зубы, стоя перед восьмью умывальниками, голые, в одних трусиках, сестра Долли смотрит на меня.

— Честное слово,— шепчет Каролина,— ты совсем не меняешься.

Не моя вина, если мама купила мне семь совершенно одинаковых трусиков.

— Ну и переполох же ты устроила ночью,— продолжает Каролина.

Ей ужасно хотелось бы, чтобы я болтала с ней, как прежде. Я пытаюсь, говорю:

— Это из-за твоей башки у меня кошмары, Берта.

Я не знаю, что еще сказать. Огромный «шевроле» в 40 лошадиных сил все катится, проезжает в зеркало умывальника, стекло искажает его очертания, словно кузов отражается в витрине. Одна за другой тянутся квадратные горы Перу, то видимые, то скрытые темными очками. Я надеюсь, что там есть небоскребы, которые карабкаются все

выше и выше в облака, улицы, ровные, словно вытянутые по веревочке, освещенные желтыми пучками света. Огромные орангутанги, небрежно прислонясь к дверному косяку, провожают взглядом фигурки в желтых кофтах с большим вырезом, в черных широких расклешенных брюках и на ходу нашептывают им:

— Вы гуляете в одиночестве, вы смотрите вокруг, придете?

Никто не отвечает. Клер ушла. Мама стоит, пошатываясь, в коридоре нашей парижской квартиры, в темном коридоре, тянущемся бесконечно,— мамина фигурка съеживается, качается, она удерживает равновесие, хватаясь обеими руками за стену. Взгляд у нее немного безумный от бессильного горя, взгляд, который появился после смерти Клер; она говорит:

— Я ищу свое маленькое сокровище.

Это уж полное идиотство. У папы вокруг шеи повязана салфетка, лицо у него серьезное, пылающее, и таким же пылающим голосом он спрашивает:

— Что произошло?

Спина у бабушки совсем согнулась под тяжестью жемчужного колье; она неустанно приподнимает его обеими руками все тем же привычным движением и говорит:

— Вот что сохраняет мне молодость. И еще мой список запретов, чего вам больше?

Она до того старая, что просто не верится. Застывшая на негативе Валери лежит на животе, ее улыбка расплющена стеклом фотопластинки. Она считает, что о Клер нечего больше говорить.

Белая поверхность умывальников душевой головокружительно сверкает, ничто уже не способно удержать меня, я скольжу с неслыханной скоростью, не встречая препятствий, по новой белой дороге, вокруг меня градом падают секунды, но я проношусь сквозь них. Местами они образуют пласты непрозрачного льда, подобного матовому стеклу, и я сворачиваю в сторону, вхожу в полосу зноя, влажного зноя, она извивается острыми, как черви, спиралями, которые сверлят землю, выбрасывая на поверхность грязные брызги. Когда будет пробит туннель, я вплыву в него с раскрытым ртом, чтобы вдохнуть воздух, и жизнь, и землю.

Я повторяю вслед за Клер:

— Но в чем же смысл? Не могу понять. Ничего не понимаю. Я уже не знаю, чего жду. Ничего я больше не знаю.

А потом сестра Долли хлопает в ладоши. Перед тем как принять душ, мы должны построиться в линейку, на расстоянии вытянутых рук, для того чтобы наклоняться, подниматься на носках и приседать — раз, два, раз, два.

Затем время пить шоколад с молочными булочками; мы с Каролиной поспешно набиваем полный рот и стараемся смеяться как полоумные, делая вид, что делимся какими-то секретами, которые остальные девочки не смогут понять. По средам у нас бывает геометрия. В пятницу принимаем ванну. Когда у сестры Долли выдается минут пять свободных, она, закрывшись в музыкальном зале, играет «Желтые розы Техаса». Вечно «Желтые розы Техаса».

Каждое утро мы сидим за партами в зеленом классе, заложив руки за спину, и часто на меня падает солнце, а сзади Каролина хлопает меня по голове учебником.

Как-то раз в декабре Каролина ворвалась как сумасшедшая. Я читала «Моби Дика», лежа на постели в зеленом дортуаре, а на улице шел дождь. Всю зиму я читала «Моби Дика». Я стала уже думать, что на самом-то деле белый кит вовсе был черным и что капитан Ахав виноват не меньше, чем он. Что означают эти бесконечные погони друг за другом по всем океанам?

— Берта,— сказала Каролина, обеими руками придерживая бурно вздымавшуюся грудь под темно-синим передником,— там тебя ждет какой-то мужчина. Настоящий, клянусь, он, того и гляди, начнет расточать улыбочки сестре Долли, иди скорей!

Я поднялась с постели, мне пришлось сосчитать до пятнадцати, прежде чем я соблаговолила сделать следующее движение.

— Скорей! — твердила Каролина.

Она в нетерпении сама подтянула мои носки, развязала мой передник и расстегнула верхнюю пуговичку на форменном платье, заявив:

— Так ты похожа на молодую девушку. А вдруг это Фредерик? Ты мне расскажешь, а, Берта?

— Да, Берта.

Только губы мои шевелились.

В вестибюле, который вел в приемную, я заметила стоявшего ко мне спиной белокурого, очень высокого мужчину во фланелевом костюме жемчужного цвета, таком, как у папы в те времена, когда он был настоящим франтом и носил трость с серебряным набалдашником.

— Хоп! — Щелкнув пальцами, он повернулся.— Иди же сюда! Тебя что, парализовало?

Я узнала Алена. Я подошла к нему, чтобы вежливо его поцеловать; он остановил меня, отстранил на расстояние вытянутой руки.

— Да ты растешь не по дням, а по часам! А волосы! Ты что, собираешься их отпускать?

— Как Клер. Папа с мамой не приехали?

— В качестве делегации явился я. И смел думать, что ты очень этому обрадуешься!

Лицо его морщилось в улыбке. Он взял меня за плечи и, забыв пропустить вперед в дверях, повел к машине, потому что в приемной было слишком много народу. Мы устроились с ним, я — за рулем, а он — на месте пассажира, скрытые запотевшими от дождя стеклами. Он достал с заднего сиденья белый сверток, ухватив его за кончик ленты.

— Догадайся, что там?

— Пирожные.

Ален улыбнулся. Потом выдал другие улыбки, пуская в ход челюстные мышцы, если одна из них вдруг застревала надолго. А потом скрестил на груди руки и сказал, что в машине холодновато. Вздохнул. Снова скрестил руки. Пожелал, чтобы я сначала ела пирожные, а поговорим мы после. Открыл коробку с шоколадными эклерами, самыми моими любимыми, и я принялась их жевать, стараясь производить как можно более шума. Сначала никакого другого шума не было слышно. Только дождь, да еще ветер шелестел в тополях.

Ален заметил, что ветер подул сильнее. Это было неправдой. Он зевнул, хлопнул меня по коленке.

— Ты и в самом деле не любопытна. Даже не спрашиваешь, что я собираюсь тебе сообщить.

С набитым ртом я потрясла головой — то ли «да», то ли «нет».

Разделавшись с пятью шоколадными эклерами, я положила руки на руль, делая вид, что веду машину, вслушиваясь в тишину дождя, которую нарушал, быть может, лишь легкий скрежет зубчатых колесиков в часах на запястье Алена.

Ален закурил сигарету. Несколько раз затянулся, вздохнул полной грудью и сказал:

— Ну вот, надеюсь, ты будешь довольна: я женюсь на Валери.

Я опустила стекло со своей стороны, высунула наружу голову, запрокинув кверху лицо, и почувствовала, как мелкие освежающие капли потекли по вискам, вдоль носа и щек; я ловила их языком.

— Ужасно люблю дождь.

И я широко улыбнулась. Освежающий дождь падал на целый свет, на Перу, на Аляску, на Австралию, нависал над нами, словно драпировка, его складки мягко окутывали дни и ночи, все то, что готовит последний удар, тот, от которого зубы леденеют и делаются синеватыми, а веки остаются полуприкрытыми. Блестящими глазами Ален следил, какой эффект произведет его новость.

— Так что же ты на это скажешь?

Он приподнял пальцем мой подбородок и с коротким смешком шепнул:

— Знаешь, будь ты постарше, я, верно, женился бы на тебе!

Каролина подстерегала меня у двери вестибюля, сидя на плюшевом диване; глаза ее были сощурены, а на лице застыла гримаса, словно от любопытства у нее чесался кончик носа. Девочки медленно проходили парами, шепотом передавая друг другу новости, которые узнали в приемной. Вскоре наступит время мыть руки перед обедом. Из зала для музыкальных занятий доносились звуки пианино — «Желтые розы Техаса». Сестра Долли вечно играет «Желтые розы Техаса».

Когда я вошла, Каролина бросилась ко мне, ткнувшись ртом прямо мне в волосы:

— Ну, Берта, рассказывай!

Движением плеч я высвободилась от нее.

— Да ничего интересного, Берта. Еще один тип хотел на мне жениться. Вот и все.


ЖАН ПЕЛЕГРИ
ЛОШАДЬ В ГОРОДЕ

ПЕРЕВОД Л. ЗОНИНОЙ
РЕДАКТОР Е. БАБУН

Нью-Йорк, 11 миллионов 410 000
Токио, 11 миллионов 5000
Лондон, 7 миллионов 764 000
. . . .
Париж, 9 миллионов 197 000

I

Когда я очнулся, мсье, вокруг меня был Париж, я лежал на тротуаре, на широких каменных плитах, и какая-то рука, моя рука, шарила по тротуару, как у слепого. И вдруг у самой сточной канавки кто-то наступил на нее ботинком, намеренно, со злостью, чтобы причинить мне боль. А мне почему-то подумалось о мыши. Я вскрикнул. Я что-то кричал. Сам не знаю что. Тут я услышал очень далеко, за Рынком, сирену — полиция. И мне стало легче.

— *Признаете ли вы факты?*

Сирена ревела, и я прислушивался, точно это имело отношение не ко мне, к кому-то другому. Звук то удалялся, то приближался. Казалось, полицейская машина беспрестанно натыкается на преграды, что-то мешает ей пробиться — одностороннее движение, заторы. Я все еще лежал, и мне, мсье, виделись баррикады, пробки, толпы людей, которые переходят улицу, преграждая проезд, ряды тяжелых грузовиков, легковых машин. Черная машина была пока что далеко, и я старался угадать, откуда она появится — и появится ли вообще,— с улицы справа, где мелькали на тротуарах ноги, ботинки, или с бульвара, забитого колесами, дымом. Кажется, я даже заключал сам с собой пари, как ставил по воскресеньям на ту или иную лошадь.

— *Я вас спрашиваю, признаете ли вы факты?*

Из-за плотной стены людей до меня донеслись свистки, окрики. Толпа отхлынула, и я почувствовал, что двое полицейских берут меня под мышки, ставят на ноги. Расталкивая всех, они повели меня к черной машине. Задняя дверца была открыта, на крыше вращался желтый фонарь. Я оказался на сиденье, за решеткой, под замком. Здесь, взаперти, я подумал об Элиане, о ее глазах, машина тронулась, сирена наверху, как раз над моей головой, снова завыла, очень громко, заставляя всех смотреть на меня.

— *О какой поездке вы говорите?*

Я их всех видел через окно, сквозь прутья решетки, они шли по тротуарам, по улицам, расходились в разные стороны, минутой раньше точно так же шагал я сам. Одни оборачивались нам вслед, другие не оборачивались. Но я смотрел только на машины. Тысячи машин. Я даже подумал, что, с тех пор как я в городе, они впервые так послушно расступаются передо мной, из-за сирены. И я сразу успокоился, как будто меня везли на вокзал. Мне хотелось, чтобы это путешествие длилось подольше.

— *Я вам задал вопрос. Отвечайте.*

Я так и сказал комиссару — «это путешествие». Тут-то он и спросил меня, почему — почему нож? Я не нашелся, что ответить. Ни на этот вопрос, ни на все прочие. А он — точно он и пригласил меня только для того, чтобы поздороваться,— велел меня увести, сказав, что снова вызовет на следующий день, когда бригадир представит рапорт.

Я прождал в соседней комнате всю ночь. Я пытался собраться с мыслями, вспомнить. Но видел только эту руку, мою собственную руку, плотно сжатые пальцы, шарившие по тротуару, между ботинок, словно в поисках чего-то, словно вымаливая прощение. И это напомнило мне жест Элианы в последний день, ее руку, шарившую в предсмертный миг по асфальту мостовой, в поисках, может, кольца, а может, браслета.

— *Ну, будете вы отвечать?*

Здесь, ночью, я заново пережил минуты, когда, бросив нож, бежал по тротуару. Люди что-то кричали мне вдогонку, что-то злое. Потом меня схватили, швырнули наземь, я ударился затылком о плиты. Остальное мне рассказал уже комиссар, на следующий день, сверяясь со своими бумагами, разложенными на столе: стычка с шофером, перебранка, нож. Когда меня повалили, я будто бы выкрикнул, и даже дважды: «Убейте меня, убейте!»

— *Ну, так почему же все-таки, почему? Не накидываются же с такой яростью без всякой причины, ни с того ни с сего.*

Я ответил, что и в самом деле хотел, чтобы меня убили. Как мышь, как крысу. И тут, пока какой-то человек записывал мой ответ, я снова вспомнил Элиану. Она тоже стучала на машинке. Часто. И подушечки пальцев у нее чуть затвердели, точно кошачья лапка между коготками. Однажды я сказал ей об этом. Она рассмеялась и захотела взглянуть на мою руку. Склонив голову, она водила кончи-

ком указательного пальца по мозолям, по шрамам, волосы упали ей на лицо, губы приоткрылись. До чего же я ее любил!

— *Я жду ответа, слышишь? Ответа.*

На тротуаре, у дверей зеленщика, за ее туфлями виднелось что-то красное, что-то раздавленное. Может, кровь, а может, помидор? Я ответил комиссару, что в эту минуту успокоился, обрадовался. Раньше, сказал я ему, я чувствовал себя в городе проезжим, человеком, которого гоняют из барака в барак, с одной работы на другую, человеком, у которого нет постоянного угла. А теперь со всем этим было покончено, конец скитаниям. Тогда он спросил, не хочу ли я что-нибудь добавить. Я отрицательно покачал головой, дважды.

— *Запишите, что задержанный отказывается сообщить мотивы своего поступка.*

Сразу после этого он поднялся и велел полицейским увести меня, они взяли меня под руки, как на фотографиях в газетах. Я снова очутился в черной машине. Потом меня долго вели по коридорам и наконец заперли в камере. В первый раз. Я оглядел стены, кран, полочку. Сел на кровать, такую же, как в общежитии, в бараке, и стал смотреть на окно, на решетку, на быстро плывущее облако. От всей этой истории, мсье, в голове у меня остались только какие-то осколки, обрывки — полутемные дома, улицы, на которые глядишь сверху, тоннели, зелень бульваров, ряды машин, и среди всего этого что-то крохотное, затерявшееся. Билетик метро в просторном коридоре. Дерево, а под ним, в дыму, радиатор тяжелого грузовика. Мусорный ящик и возле — пустая, раздавленная бутылка с масляными кругами у горлышка. Губы Элианы под упавшими на лицо волосами. Ее губы, ее шутливая присказка: *«Вечно юная, вечно прекрасная, вечно богатая — прославленная и любимая»*. Эту фразу, мсье, она повторяла всякий раз, когда у нее были трудности или неприятности по работе.

В этой камере я редко вспоминал о своей прежней жизни в другом краю, в горах, в деревне. А если и вспоминал, то мне чудилось, будто все это было не со мной, а с кем-то другим, совсем на меня не похожим,— вот так выходишь в воскресенье на улицу из кино, и уже никак не можешь представить себя тем, кем представлял себя только что: тем, кто в шляпе или с ружьем скакал на лошади или сидел за рулем огромной машины. И в то же время, как и

после кино, мне всякий раз, когда я вспоминал о деревне, становилось как-то не по себе, совестно. Точно все это произошло там, в той, другой жизни.

В этой камере у меня в конце концов и появилась привычка разговаривать с кем-то, кого я не знал, никогда в глаза не видел. Мне казалось, этот человек сидит где-то здесь, рядом. *«Мсье,—* говорил я ему,— *мсье».* Он никуда не спешил, не торопился. Он слушал.

Вот ему-то я часто рассказывал об Элиане.

II

Потом меня отвели к судье, который назывался следователем. У него был приятный голос, спокойное лицо, и начал он с тех же вопросов, что и комиссар. Как, почему, откуда я приехал? Но очень скоро ему захотелось узнать больше. Как другу. Это слово он не уставал повторять каждый раз, расставляя мне очередную ловушку, задавая новый вопрос. *«Ну, друг мой, давайте же говорить серьезно».* Спустя некоторое время мы все же нашли общий язык.

Когда я его увидел в первый раз, меня поразило, что он одет, как все. Я-то думал, что судья будет в черной мантии, как в фильмах, что он будет обращаться ко мне издалека, откуда-то с возвышения. А этот сидел в обыкновенном костюме за столом, обложенный бумагами. В углу какой-то человек записывал мои ответы. Бесшумно. Время от времени следователь делал ему знак, чтобы удостовериться, не упустил ли тот чего, все ли понял.

Сначала он спросил, есть ли у меня семья. Я ответил, что жена и сын. Какого возраста? Семи лет. Я сказал также, что скоро у сына день рождения. Через две недели. Тогда он совсем по-родственному поинтересовался, часто ли сын мне пишет. Я ответил: да, каждый месяц. «Он, мсье,— сказал я,— ходит в школу. Умеет читать, писать». *«А вы?»* Я ответил, что читать немного умею. Научился по букварю малыша, по надписям под картинками в газете. Но недостаточно, чтобы самому найти дорогу в первый день, когда я приехал и вышел с вокзала.

— *Вы имеете в виду Лионский вокзал?*

Я опять ответил, что да, Лионский, где большие часы. Тогда он заглянул в свои бумаги и сказал мне, сколько времени я уже в Париже. Ровно год и семь месяцев. Потом ему понадобилось узнать, что я делал раньше. Я рассказал,

что жил в деревне, на ферме, в горах, с женой и сыном. Сколько себя помню. Это он понял сразу.

— *Почему вы расстались с ними?*

Я ответил не сразу. Причин было немало. Были старые и были новые. Но он настаивал. В конце концов я сказал ему, что так решила жена. *«Ваша жена?»* Да, мсье, моя жена. Мы насмотрелись на все эти поезда и машины, мчавшиеся внизу, и нам тоже захотелось сдвинуться с места, уехать. Нам тоже захотелось иметь машину. И я рассказал, как по воскресеньям, окончив работу, мы все трое усаживались на обочине и глядели вниз на машины. Они неслись мимо, на полной скорости. Красные, синие, белые. «У нас, мсье, была только лошадь».

Тут он впервые посмотрел на меня с каким-то удивлением, даже с любопытством, будто пытался что-то понять. *«Вам, значит, хотелось переменить жизнь?»* Я ответил, что да, именно так — нам хотелось жить по-другому, как все. И вот однажды я покинул дом, я уехал один. Жена и сын должны были присоединиться ко мне, когда я найду жилье. Я забыл ему только сказать, что в Париже я не нашел ничего, кроме койки на одного, и то с помощью товарища. Того же, который прислал мне в письме удостоверение, чтобы я мог устроиться на работу.

— *Человеку, который, подобно вам, никогда не покидал дома, эта поездка должна была показаться настоящим путешествием, долгим путешествием?*

В этот раз ни о чем больше разговору не было. Меня отвели обратно в камеру, и в нескончаемые послеполуденные часы я, растянувшись на койке, все вспоминал и вспоминал день, когда приехал. На миг мне даже почудилось, хотя вокруг были стены, будто я все еще еду в вагоне,— стучат колеса, мелькают за мокрыми стеклами деревни, трактора в поле, города, через которые мы проносимся с бешеной скоростью. Когда поезд шел по большому мосту, далеко внизу виднелись сельские домики, трава, широкая река, лес. Глядя через стекло, я все думал, водятся ли и здесь кабаны, козы или хотя бы лошади. За все мое путешествие, мсье, я видел всего одну лошадь. Одну-единственную. Она стояла за изгородью, какая-то унылая, заброшенная, а вокруг были трактора, по дорогам мчались, обгоняя нас, грузовики, машины всех цветов. Иногда они исчезали в лощине, за поворотом, за лесом. И тогда каждый мог думать, что взял верх, но мы, мсье, всегда нагоняли

любую машину. Всегда. И каждый раз я за стеклом радовался. Да, радовался, сам не знаю чему.

— *Почему вы, друг мой, отказались отвечать комиссару, чем было вызвано ваше упорное молчание?*

Иной раз, мсье, машина шла так близко, что можно было различить за ветровым стеклом мужчину, который закуривал, пиджак его висел на крючке около дверцы, женщина оглядывалась на ребенка, сидевшего сзади на специальном сиденье,— и так на протяжении километра или двух, точно мы, не двигаясь, мчались вместе на ковре-самолете. Когда поезд шел между откосов, углублялся в лес, мы на мгновение теряли ее из виду, забывали о ней, но потом она появлялась снова, на другой дороге, среди других деревьев, где-то вдалеке, совсем крошечная. Точно игрушечная.

— *Когда вас схватили, вы пытались убежать, не так ли?*

Нет, мсье, нет, я только пытался понять, объяснить себе все это — город, машины. Я искал номер той машины, которая ее задавила. В городе все происходит так стремительно, все сразу исчезает, не остается и следа. А я хотел удержать в памяти Элиану, которой не стало. Только и всего.

— *Пойдем дальше.*

К вечеру поезд плавно повернул и замедлил ход, а машины на всех дорогах сбились в кучу, точно их затягивало в воронку. Люди в вагоне засуетились, убирали книги, газеты, надевали пальто. Я из своего окна видел, как подступали вплотную к поезду строения — не то город, не то деревня,— кучки домов, окраины, иногда площадь, окруженная деревьями, кафе с табачным киоском, гараж, сотни домиков за решетчатыми оградами. Дома проплывали так близко, что я успевал разглядеть, как будто мы ехали медленно-медленно, садик, водоразборную колонку, четыре или пять ступенек, дверь со стеклянным навесом-ракушкой, а рядом — завод, где я, возможно, буду работать, старую кирпичную трубу, застекленную крышу, красно-бурые стены или вдруг громадное здание, новое, белое, с одинаковыми кабинетами один над другим, с одинаковыми стульями, одинаковыми шкафами; все здесь настолько перемешалось, мсье, что я в своем вагоне никак не мог понять, для чего это предназначено — для работы или для отдыха, для садов или для машин.

И тут, мсье, вагон нырнул вниз, в глубокий ров между двумя высокими стенами, и я почувствовал, что счастлив. Да, счастлив. Я впервые куда-то ехал. И мне казалось, сам не знаю почему, будто здесь все люди, раз они едят досыта, будут приветливыми. Я наконец добрался куда хотел.

— *Но почему же вы в таком случае заявили, что город напомнил вам паука?*

III

— *Вам не кажется это странным?*

Едва я вышел с вокзала, все переменилось. Я стоял на тротуаре с чемоданом, передо мной были машины, автобусы, широкая лестница. Чуть подальше, за перекрестком, длинная улица, деревья, огни. Все было ново — запахи, бензиновый перегар, серое небо, шум. Я и сам чувствовал себя каким-то другим. Здесь, в грохоте моторов, не слышно было ни детских криков, ни плача, здесь не играл, не смеялся ни один ребенок.

— *Вас кто-нибудь встречал на вокзале?*

В ту минуту, когда я поставил чемодан, вокруг меня сразу на всех улицах зажегся свет. Одновременно. Точно кто-то повернул один выключатель. Так бывает, когда входишь в дом. И наверно, из-за этого света мне показалось, что все побежало еще быстрее — машины, люди, платья на той стороне, на другом тротуаре. Мне даже почудилось, мсье, что люди здесь не идут никуда. Ни мужчины, ни женщины. Что они снуют в разных направлениях, не замечая друг друга. Как встречные поезда.

— *Я задал вам вопрос.*

Потом, словно фейерверк, вспыхнули повсюду разноцветные огни. Над домами, на балконах. Эти огни дрожали, складывались в гигантские слова, в гигантские картины. Над самым высоким домом вдруг поднялась во мраке красно-синяя женщина, прямая как стрела, и там, наверху, быстро-быстро зашагала на месте, словно догоняя мужчину и бутылку, которые точно так же шагали по другую сторону улицы, над другим домом.

Эта женщина то вспыхивала, то гасла, попеременно. Будто звала меня. Я хотел было перейти улицу. Тут вдруг выскочила синяя машина. Такси. Шофер притормозил. Я отпрыгнул назад. А он из своей кабины принялся орать,

и город закружился, закружился вокруг меня и моего чемодана.

— *Я спросил, встретил ли вас на вокзале ваш товарищ, от которого вы получили письмо?*

Я подождал, пока он замолчал, уехал. Но когда все наладилось, не пошел уже к светящейся женщине, а вернулся в здание вокзала, к людям. И почти тут же со мной заговорил какой-то человек.

Вот тут, мсье, мне и пришел на ум паук. Едва я его увидел. Эдакий гадкий, ядовитый паучишка. Он держался, как шпион в кино,— скользил между людей, озираясь по сторонам. Я стоял, вцепившись в свой чемодан. Он подошел и спросил, не нужно ли мне чего, не ищу ли я работу, не может ли он мне помочь, по-братски.

Я сразу же понял, что это — земляк. И насторожился. Ответил, что ничего мне не нужно. Но он продолжал разглядывать меня, мой чемодан, как будто что-то прикидывал в уме. В конце концов он сказал, что нам нужно еще увидеться, я могу найти его в любой вечер около афиши с женщиной, которая лежит на песке у синего моря.

— *Вы, наверно, растерялись?*

Когда он скрылся, мне показалось, будто я в грязи вывалялся. Чтобы не попасться ему снова, я ушел с вокзала и некоторое время кружил поблизости, в толпе пассажиров. Они входили, выходили, им по крайней мере не было до меня дела. Около одной из дверей я увидел большой план метро, нарисованный разными красками. Этот прямоугольник, внутри которого пересекалось, цепляясь за края, множество линий, тоже напомнил мне паутину — вроде той, что была у нас у входа в погреб. Местами нити, точно в них попала крупная муха, сплетались в узел, в звезду. И отсюда каждая из них бежала дальше, к другой мухе.

— *Хватит, прошу вас. Дальше.*

Посредине шла толстая синяя линия, разрубленная на куски, она тянулась от одного зеленого угла к другому зеленому углу, точно змея, которая переползает от куста к кусту. По цвету я догадался, что это вода, река. Прочел название: Сена. Тогда я стал искать, где же я сам.

— *Вы все еще говорите о Лионском вокзале?*

Подошел какой-то парень, молодой, рыжий. Он тоже что-то искал, какое-то другое название. И хотя я его ни о

чем не спрашивал, он, увидев меня, ткнул в кружочек на карте и сказал: «Вы вот здесь!» Я не успел даже сказать ему спасибо. Но когда он ушел, я нажал пальцем на кружок. Как на кнопку. Точно мой палец мог остановить коловращение города.

Тут я узнал, что улица напротив вокзала, обсаженная деревьями, ведет к месту, которое называется Бастилия, и что настоящая река совсем рядом, у меня за спиной. Тогда, мсье, я отнял палец, обернулся к площади, к улицам, к городу, подумал, что, возможно и здесь, как в деревне, во всем есть свой смысл, свой порядок.

— Встречали ли вы впоследствии человека, которого называете пауком?

Его — нет. Но потом, в городе, я повидал немало похожих на него. Одни затаились в кабинетах, другие за окошечками, третьи за конторками портье в гостинице. Все они, мсье, глядели на меня, притаясь, ждали своего часа. Однако самый страшный паук — не они. Они только старались быть злыми. Самый страшный паук, мсье, это он — город.

— Будем придерживаться фактов. Итак, вы добрались, вы у цели, вы стали искать работу.

Я сел в метро, как велел мне товарищ в своем письме. В поезд, который шел к месту под названием Булонь. Это тоже было настоящее путешествие, только теперь за окном мелькали двери, решетки, лестницы, переходы. Я делал все, как было написано в письме. Тут пересаживаюсь, там не выхожу, отсюда отсчитываю пять остановок. Оттого, что я все время был под землей, я сам себе стал казаться каким-то червяком вроде тех, что ползают под стенами домов.

Я читал названия. Сейчас я проезжаю под площадью Итали, сейчас — Гласьер. Поезд останавливался, трогался, но на каждой станции, точно мы не сдвинулись с места, передо мной были одни и те же слова, одни и те же картинки: та же стиральная машина в той же кухне, тот же блестящий ботинок, та же женщина с той же улыбкой и с той же консервной банкой, та же толстопузая, словно на сносях, бутылка.

— Да-да, понятно, итак, в Булони вы нашли своего товарища. А потом?

Место-то я нашел, но вот товарища не было. Он ушел на работу, а мне оставил другое письмо, в котором объяс-

нял, куда ехать. Я снова взял чемодан, снова спустился в метро, сделал две пересадки, каждый раз отсчитывая по четырнадцать станций, но, когда добрался до места, мсье, на другой конец города, снова вышел на ту же улицу, с теми же деревцами, с теми же красно-бурыми кирпичными домиками, точно никуда и не ездил.

— *Париж, знаете ли, большой город. Вы могли в этом убедиться.*

В конце улицы, мсье, в конце второй улицы, я остановился. Опустил чемодан на землю. И там, ночью, под фонарем, в закоулке я попытался вспомнить, кто я да что я, потому что из-за всей этой езды взад-вперед, из-за хождения по коридорам, из-за спусков и подъемов я сам сделался вроде бы дорогой. Во мне только и остались что пересадки да маршруты, точно я сам превратился во все эти лестницы, освещенные станции, сверкающие рельсы, красные и зеленые огни. Во мне самом, мсье, что-то ехало, дрожало, грохотали и лязгали сцепления бегущих вагонов, хлопали дверные крюки, чернели тоннели. Только это во мне и осталось. И мне не за что было уцепиться, мсье, разве только за свой чемодан, который стоял у моих ног на тротуаре. И на нем бирка с моим именем.

— *В одном вы, во всяком случае, были уверены — что найдете работу. Здесь, действительно, значится, что в первые же дни по прибытии в Париж вы получили место на одном из заводов парижского пригорода. В Курбевуа.*

В конце этой второй улицы, в старом заводском здании, между деревом без листьев и двумя трубами, я нашел общежитие. Барак, окруженный высокими стенами, точно военная казарма. Я вошел. Показал письмо. Подождал под тусклой лестничной лампочкой, пока встал один из спавших, потом занял его место. Так все и пошло, и назавтра, и во все последующие дни. Вместе с другими, которые ждали, как и я, я больше никуда не двигался. Спрятавшись под лестницей, я ждал того, кто мне писал.

— *Вас взяли подсобным рабочим, не так ли?*

IV

Мне повезло, мсье. В конце недели пришел товарищ и дал мне адрес. Я обрадовался. Назавтра я, как мальчишка, который впервые идет в школу, поднялся спозаранку, когда все еще спали, чтобы успеть найти нужное мне место. Ус-

петь взглянуть на людей, осмотреться. Когда я вышел из метро — на восемнадцатой станции,— когда я поднялся по лестнице на другом конце города, у широкой реки, было еще совсем темно. Я и тут сделал все, как мне сказали. Перешел мост и зашагал прямо. На улице под деревьями светились только окна кафе.

— К какому времени относится эта ваша первая работа?

Они сверкали в темноте, как витрины магазина, запотевшие, покрытые мелкими капельками. В третьем по счету кафе я проглотил у стойки чашку кофе, торопливо сорвав обертку с сахара. За окнами становилось все более людно. Пройдя бензозаправочную станцию с освещенными колонками, я спросил у какого-то человека, где нужная мне улица. Он ответил совсем как в деревне: «Идите прямо. Свернете на вторую улицу направо. Она вам и нужна». При этих словах мне показалось, сам не знаю почему, что он тут, в городе, поставил какой-то знак — вбил что ли столбик, вешку,— и, дойдя до второй улицы направо, я свернул в нее. Дело было в начале октября, после сбора винограда. Дни стояли погожие. При свете едва забрезжившего утра я различил длинную кирпичную стену, большие ворота. Над ними, за облетевшими деревьями, три высоченные трубы. Я увидел завод, ради которого совершил все это путешествие. Подождал, когда откроются ворота, когда все начнется.

— Совершенно правильно, это было в начале октября. Затем на протяжении двух месяцев никаких замечаний нет. Вы были на хорошем счету.

Я зашел в небольшую контору, где нанимали на работу, там мне дали пропуск, номер цеха, и потом, в этот день и в последующие, была работа, машины, шум, приказы, столовка. Сирена в начале и в конце. А я все радовался. Вокруг меня под электрическими лампами работали, как и я, сотни людей, мои товарищи. Время от времени мы перекидывались несколькими словами — о футболе, о бегах, о работе: «Дай-ка мне восьмерной ключ, дай-ка шпонку», и я, мсье, передавал им нужное, как передают хлеб или лепешку, я учился. Они возвращали мне ключ, отвертку, я клал их в ящик, а в голове у меня сквозь шум стучало: скоро получка, кончаются две недели. Я подсчитывал, сколько получу за месяц, за два. Столько-то оставлю себе, столько-то — жене, туда. Столько-то сыну, на школу, на тетради.

И порой, мсье, подходя к ящику с инструментом, я думал, что, возможно, настанет день, когда я сам возьму ключ, отвертку, буду заворачивать болты, как мой товарищ, и буду отдавать распоряжения другому, подсобному рабочему.

— *Вы, следовательно, были довольны своим первым местом?*

Первые дни промелькнули так быстро, что я и сосчитать их не успел. Работа, метро, общежитие, у меня не было даже времени подумать. Я выходил, возвращался, ждал своей очереди на койку, восемь часов спал, потом начинал все сначала. Мне было хорошо. Я все чаще разговаривал то с одним, то с другим, с товарищами по цеху, по общежитию. Но меня вдруг неизвестно почему сняли с конвейера. Без всяких объяснений. Утром я пришел и мне сказали, что теперь мне дадут другую работу, не в цехе. На складе. На складе рядом с автострадой.

— *Ну и что из того, друг мой, что тут особенного?*

Поначалу я был доволен. Работа вроде спокойная. Но я сразу понял, что здесь, на этом огромном складе, набитом ящиками, ничему нельзя научиться. В углу за столом у телефона сидел мужчина. Альбер. Вся его работа сводилась к тому, что время от времени он посылал меня отнести какой-нибудь ящик в один из цехов. Я брал ящик, относил, возвращался. И так с утра до вечера. Я сидел на стуле и ждал телефонного звонка, а сам все думал о других. О тех, кто орудовал там, в цехе, ключами, заклепками, работал на фрезерных станках.

— *Вы сейчас упомянули про автостраду.*

Ждать мне приходилось так подолгу, что я невольно представлял себе дом, жену, сына. Как я у них на глазах управляюсь с вилами, с плугом, с лошадью; увидели бы они меня теперь, когда я сижу на стуле. И чтобы больше не думать обо всем этом, я отправлялся побродить по коридорчику в глубине склада. Там сбоку было застекленное окно, а за стеклами, прямо под заводской стеной, шла под большим мостом широченная дорога. Автострада, мсье.

— *Ну и что из того?*

Я приносил туда стул и не отрывался от окна, наблюдал, пока не зазвонит телефон. Все время, с утра до вечера. С утра до вечера я подглядывал за тем, что делает эта дорога, точно из-за кустов. Иногда несколько часов подряд. Каждый день, мсье, эта дорога стремительно заползала в город, в улицы. Каждый день проникала все глубже, все

быстрее, словно змея,— а меня здесь, над нею, охватывал страх, я уже тогда боялся ее, как будто знал наперед, что настанет день, когда она убьет меня.

— Если я вас правильно понял, вы имеете в виду несчастный случай, который произошел позднее с вашей подругой?

И вот вскоре я взял себе за привычку каждый вечер, после работы, глядеть на нее сверху, с большого моста. Она бежала во рву, с ревом, точно стадо, точно река, которая тащит бревна, стволы деревьев. Чуть поодаль, за спуском, она пряталась в тоннель под другим мостом. Исчезала.

— Скажите, вступили ли вы за это время в профсоюз? За то время, что жили в Париже?

Каждый вечер я облокачивался на бетонный парапет и глядел вниз. Как с балкона. Глядел на все эти машины, которые проносились подо мной на бешеной скорости в обе стороны, на те, что появлялись откуда-то издалека, и бежали прямо на меня, и на те, что, тяжело дыша, словно бы вырывались внезапно у меня из-под ног, и каждая стремилась обогнать шедшую впереди. Это похоже, думал я, на яму, куда бросают крыс и змей, чтобы они там передушили друг дружку,— я все смотрел сверху и не мог оторваться, потому что мне было страшно. Так страшно, мсье, что порой мною овладевало желание спрыгнуть туда, в гущу машин, чтобы ничего больше не видеть, обо всем забыть. Потом я, словно завороженный, ждал, когда они зажгут свои огоньки — желтые с одной стороны, красные с другой,— потому что в темноте, мсье, они, казалось, мчались еще яростней, еще безумней, еще стремительней. Мчались, точно стрелы, точно злобные, хищные рыбы.

— Я спросил вас, вступили ли вы в профсоюз. И если вступили, то в какой?

Бывали вечера, когда длинная многокилометровая гусеница желтых и красных огней замедляла движение, останавливалась во мраке. И тогда я с моего балкона, глядя на недвижные машины, воображал, что они заболели. А может, умерли. От выхлопных газов. И теперь никогда уже не сдвинутся с места. Эта мысль овладевала мной с такой силой, мсье, что, когда кто-нибудь открывал дверцу и вылезал из машины посмотреть, что делается впереди, я всякий раз удивлялся. Удивлялся, что этот человек стоит, не падает. Но вскоре все опять оживало, трогалось с места — гигантская змея, гигантская гусеница вновь ползла по ули-

цам, по всему городу. Будто стремилась его удушить, мсье, да, удушить.

— *У вас была постоянная работа, регулярный заработок, вы приобретали специальность — у вас были, следовательно, все основания приспособиться к новой жизни. Объясните же мне, почему два месяца спустя вы без всяких видимых причин вздумали бросить эту работу.*

Я как-то рассказал об этом Элиане. Она ответила, что, если бы человек упал туда, на автостраду, его раздавила бы не одна машина, а разом несколько. Да, несколько. Как пса на дороге. А я засмеялся.

— *Отвечайте на мой вопрос.*

V

Вы, мсье, здешний, ко всему тут привыкли, вам не понять, что порой, когда человек совсем один, ему невольно приходит в голову — а зачем он вообще-то нужен, этот город. Куда ни пойди — дверь. Куда ни глянь — стены, препятствия, поток машин, такое множество всяких преград, что, бывает, теряешь не только дорогу, как в темной пещере, но и представление о себе самом, о том, что ты — живое существо, и кажется, будто ты уже наполовину мертв. И такое чувство одиночества тебя охватывает, что начинаешь сомневаться, да есть ли у тебя вообще родной дом, семья, имя.

— *Это ничего не объясняет. Отвечайте, пожалуйста, по существу.*

Мной эти мысли овладевали каждое утро — в метро, на лестницах и переходах, когда я попадал в гущу многотысячной толпы. Мне представлялось, будто мы — я и все остальные — скот, который везут в грузовике на бойню: всех нас тряхнуло разом, когда он тронулся с места, все мы одновременно клонимся на поворотах, плотно прижатые друг к другу, и в то же время, мсье, ничто нас не связывает, мы разобщены, точно между нами пролегли десятки километров, высокие горы, мы стоим впритирку, но все мы чужие, равнодушные — что мужчины, что женщины,— пусть даже и касаемся друг друга, покачиваемся в такт при толчках, пусть руки наши переплетены так, что можно и впрямь подумать, будто мы на танцульке. Да, все вместе, рядом, но каждый сам по себе, в своей отдельной раковине,

погружен в свои заботы. Это я хорошо понял. Нередко мне доводилось видеть, как в грохоте тоннеля, при свете ярких ламп кто-нибудь из пассажиров, женщина или мужчина, забывшись, то начинал вдруг шевелить губами, будто разговаривал с кем-то, то вдруг отрицательно покачивал головой, точно ему было плохо и он старался отогнать страх, дурной сон, стыд. Но тотчас, вспомнив, что кругом люди, этот человек смущенно спохватывался и, чтобы отвлечь от себя внимание, вновь принимался за книгу, вязанье, газету или, задрав голову, делал вид, что разглядывает какую-то афишу. А я, мсье, когда со мной самим такое случилось во второй раз, задумался. Уж нет ли тут в городе какой заразы? Да, мсье, заразы. Вот тогда-то я и перестал ходить на завод, как будто мне нужно было время, чтобы додумать все это до конца. Я сидел под лестницей в своем общежитии и ждал, ждал ответа.

— *Если вы страдали от одиночества, как вы говорите, почему было не попытаться вызвать родных, семью. Вы же собирались это сделать?*

Альбер велел мне купить книжечку о городе, путеводитель в красном переплете. С этой книжечкой, считал он, я во всем разберусь. Я купил ее — и целые дни, на складе или под лестницей в общежитии, разглядывал обложку, перелистывал страницы, схемы округов. На каждой было две краски, словно город был составлен из кусочков,— посредине коричневая, как вспаханное поле, а вокруг — зелень, цвет травы, леса, но только все кругом было исписано названиями и цифрами. Водя спичкой, я нашел то место, где работал, завод, потом на других страницах почти весь свой каждодневный путь под землей. Тот конец пути, где я жил, мне показал Альбер на большой карте в конце книги. На большой карте, которую приходилось разворачивать, и на которой был весь город целиком, точно ядро в скорлупе пригородов.

— *Вы, значит, искали жилье?*

И тут, мсье, я опять подумал о пауке. О рыжем, как песок, пауке, который угнездился тут и высасывает свою жертву, поджидает ее, раскинув множество лап во все стороны — по пучкам травы, по клочкам желтой земли. И между двух его лап, неподалеку от приюта для престарелых, я нашел наконец улицу, где стоял наш барак, общежитие.

Я живу вот здесь, сказал я себе, вот здесь — под кончиком этой спички. И нарисовал обугленным ее концом

кружочек, малюсенький кружочек, сразу затерявшийся среди тысяч названий, среди тысяч улиц. Отсюда я вновь проделал весь путь до завода, протоптал тропку и решил, что, как бы ни было трудно, я свое найду. Найду где-нибудь в уголке между паучьими лапами комнатушку, кухню, что-то постоянное, где можно повесить полочку, поставить чемодан. Да, я искал, мсье.

— *На вашем месте я сделал бы это не откладывая, тотчас по приезде. Человеку, знаете ли, никогда не следует жить в одиночестве.*

Каждое утро при свете барачной лампы я читал газету, объявления, большие страницы, заполненные мелкими буквами, обломками слов. Водил пальцем сверху вниз по каждой колонке, искал номер, чтобы туда позвонить, адрес, чтобы кто-нибудь туда за меня написал, и, читая, мсье, я видел за этими словами то, что существовало где-то на самом деле: две комнатки, кухня, окно. Но всякий раз, мсье, мне отвечали отказом. Или квартира была уже занята, или ее сдавали только одинокому, или нужно было заплатить вперед за несколько месяцев — причина всегда находилась. И тогда, мсье, я стал ходить по адресам просто так, взглянуть, что я мог бы сделать, если бы жил там с женой и сыном.

— *Вы уже познакомились к этому времени с той, которую называете Элианой?*

Я садился на скамью под деревом, и мне представлялись жена и сын, вот они входят в бакалею, в мясную лавку, что-то покупают. Вот они выходят с покупками, довольные. А потом мы, уже втроем, с пакетами в руках, виделось мне, идем к двери, в свое жилье. Жилье на заднем дворе, тихом, покойном.

— *Вашу подругу, кажется, звали Элиана?*

Однажды вечером, когда я вернулся в барак, комендант общежития дал мне письмо. Первое письмо от сына. Он писал, что хорошо начал учебный год. Писал, что крыша прохудилась, навалило много снега и в доме холодно. Писал, что оба ждут от меня вестей.

И тогда я, лежа на своей койке в общежитии, подумал, что я вроде как раб. Такой, каких покупают. Я имел право ходить, работать, но в остальном — ничего, ни жены, ни сына. Это мне было запрещено. Заказано. Город меня отвергал, заставлял ждать на подступах, в пригороде, подвергал испытанию. Да, мсье, испытанию, будто я, чтобы по-

лучить на это право, должен был сперва заслужить прощение. Будто я за какой-то давний проступок должен теперь, как каторжник, таская свой чемодан, кандалы, кружить несколько лет по городу, вокруг домов. Город меня отвергал, мсье, да, отвергал.

— *Ну, ну, не будем преувеличивать. Вы ведь не один в таком положении. Ведь и я, когда приехал в Париж, только через несколько недель, несколько месяцев, нашел приличное жилье. Нужно искать — вот и все.*

Иври, Булонь, Сен-Дени, Курбевуа — я все переезжал с места на место. Все искал, мсье, искал дверь, которая передо мной откроется. И всякий раз точно переезжал из города в город — расстояния, пересадки, километры, и всякий раз — чемодан, ноша, но всякий раз, как бы ни был долог мой путь, я оказывался опять примерно в том же бараке, на той же улице, в том же кафе. Всякий раз — то же самое общежитие, та же общая комната, крохотная лампочка под лестницей, тот же умывальник, та же койка. Те же запахи, те же шумы, те же разговоры — и у каждого свой язык, свой выговор,— точно мы все еще едем в поезде или на пароходе. Барак, мсье, затерявшийся в ночи под дождем где-то в пригороде. Будто остров. Такой одинокий, такой дальний остров, что как-то вечером, раскладывая свои пожитки на полочке, я вдруг понял: я забыл свою прежнюю жизнь. Да, мсье, забыл. Точно ее затопили полые воды.

— *То есть как забыли? Не станете же вы утверждать, что совсем забыли о близких, о жене, сыне? Родных нельзя забыть за несколько недель — или у вас, дорогой мой, слишком короткая память.*

Когда человек превращается в машину, мсье, когда он ежедневно проделывает одну и ту же работу, один и тот же путь — восемь часов на заводе, восемь в бараке,— то в конце концов дни перемешиваются, исчезает представление о времени, исчезает и память, боль,— так, случается, засадишь под кожу занозу, и вскоре уже ничего не чувствуешь, только бугорок виден. Мне, мсье, даже когда я смотрел на фотографию сына, никак не удавалось его вспомнить, услышать, как он разговаривает, смеется, зовет меня,— ну никак. Я о нем думал, но передо мной вставал только какой-то поблекший, стертый образ, точно его заволокло туманом. Точно он там, дома, не произносил ни слова. И в точности так же с женой. Мне не удавалось вспо-

мнить ни как она говорит, ни как двигается, ни какой у нее рот, какие волосы, ноги. Ничего.

— *Ну, не выдумывайте. У нас есть доказательства, что вы ей регулярно писали. Доказательства, что вы регулярно, каждый месяц, переводили домой приличную сумму. Как же так? Как можно вам верить?*

На койке, в метро я искал их, я часто искал их. Пытался представить их себе то в одном месте, то в другом, во всех уголках нашей фермы. Но если мне и удавалось их увидеть, они всегда стояли бок о бок подле кухонного стола и пристально смотрели на меня. Молча. С укором. И, сидя в поезде метро, который грохотал в тоннеле, я мысленно выходил из дому, шел в конюшню, в сад. Пытался вспомнить камни низкой ограды, инструмент, развешанный в чулане, шум воды у запруды в саду, а сам, мсье, тем временем пересаживался с поезда на поезд, поднимался по лестницам, между решетками, шел вслед за ботинками, юбками, брюками.

Каждый коридор упирался в калитку, как у нас в саду. В зеленую калитку, которая закрывалась сама собой. И вместе с другими я стоял за ней, ждал, глядя на людей, сдавленных, как гроздья винограда, в вагоне, по ту сторону калитки. Ждал, когда она откроется, впустит нас. Потом, войдя в вагон, я долго еще смотрел на нее, пока она не захлопывалась снова и поезд не трогался. И всякий раз, мсье, сам не знаю почему, представлял себе, что я все еще там, за этой калиткой, жду и смотрю на себя самого, уезжающего в вагоне, освещенного лампами, прижатого к стеклу,— смотрю, как я сам исчезаю во тьме тоннеля.

— *Ничего удивительного, друг мой. Ничего удивительного. Человеку всегда нужно время, чтобы привыкнуть, приспособиться.*

Одно только не переставало удивлять меня: каждый день все кругом кричали, ругались, возмущались, но назавтра опять шли в метро, на работу, поднимались, спускались, проходили через контроль. Точно тут все до одного объелись дурмана и находят все это естественным, нормальным. И я тоже поступал, как другие. Привык. Я вернулся на завод и сказал, что болел.

Они со мной хорошо обошлись. Они взяли меня обратно.

VI

— Вы настаиваете на своих прежних показаниях?

Я не переставал думать обо всем этом. Но как-то, когда я вышел вечером из метро, мне показалось, что дверь передо мной наконец открылась. Наверху, у лестницы, я увидел во тьме человека,— похоже было, что он со своим чемоданом только сейчас приехал. Не разобравшись, с кем имеет дело, он спросил меня, как пройти на такую-то улицу. Я знал. Я показал пальцем и сказал: «Третья налево, вон там». И минуту спустя увидел, как они — человек и чемодан — стали удаляться под освещенными деревьями, исчезли. И тогда я подумал, мсье, что уходит тот, кем был я, уходит навсегда. А я, точно меня подменили, остановился около женщины, продававшей газеты.

— Вы показали раньше, что примерно в это время нашли комнату. Отдельную комнату в гостинице, в Курбевуа.

Под маленьким зеленым тентом, возле лампы, сидела женщина, уже старая, в платке. Подавая покупателю газету, она всякий раз словно предсказывала ему судьбу, Словно на картах гадала. И я тоже купил газету, будто она непременно должна была принести мне счастье, купил, как талисман, как пропуск, открывающий мне все двери. Женщина, точно подавая мне условный знак, сложила газету вдвое. Я поблагодарил и, отойдя в сторону, стал разглядывать при свете фонаря заголовки, картинку на первой полосе. На фотографии мужчина, которого вели в тюрьму, прикрывал лицо руками. А я, точно владея теперь пропуском, паролем, смело вошел в первое попавшееся кафе. Благодаря этой газете никто даже не посмотрел на меня. И тогда, мсье, мне вдруг показалось, что я — горожанин. Такой же, как все, как все остальные, и я заказал себе вина.

— Отдельная комната в ближнем пригороде. Вы сами видите, что в конце концов все устраивается.

Точно так же я поступал и в последующие дни. Покупал после работы газету и заходил в кафе. И с каждым разом чувствовал себя там все уютнее. Снаружи, за стеклами, бесшумно скользили огоньки машин. Поодаль, на столбе, зажигался поочередно красный, желтый, зеленый свет. В углу зала, за загородкой, под стенными часами, принимали ставки на лошадей, а я сидел среди других посетите-

лей в табачном дыму и потягивал под гул разговоров винцо из своего стакана. Мне было хорошо, покойно.

Иногда, в послеобеденные часы, даже играла музыка, мсье, не здешняя, такая, как у нас. Я слушал ее, сидя у занавешенного окна, поглядывая на улицу. Потому что здесь эта музыка была как-то не к месту, казалась странной. Никак не вязалась с тем, что я видел за окном: серые сумрачные дома, пешеходы в пальто, с зонтиками, и все куда-то спешат, все стараются поскорей перебежать улицу, пробираясь между радиаторами, крыльями, бамперами.

— *На что вы надеялись?*

Я ждал. Сам не знаю чего. А может, кого. Из-за этой музыки я ждал — вдруг с городом что-то произойдет, вдруг он станет другим, изменит свой цвет, небо очистится, выйдет солнце; и тут, за занавеской кафе, я снова принимался подсчитывать — столько-то на то, столько-то на это, на подарок домашним, на костюм, на ботинки.

— *Не понимаю. Раз у вас была комната, почему вы не вызвали родных, семью? При вашем заработке, мне кажется, вы вполне могли их содержать.*

Я ждал и наконец дождался дня, когда хозяин кафе нашел мне через одного приятеля комнату. Комнату с окном, со шкафом, с водопроводом. И платил я за нее немногим дороже, чем за койку в общежитии. Но только жить в ней разрешали одному, без семьи. Я было поверил, мсье, что на этот раз все действительно налаживается. Я тут же пошел в барак за чемоданом и перенес его в эту комнату. Купил газету, еду. Повесил свои вещи в шкаф, достал мыло. И все это время какая-то женщина пела на пластинке. За стеной. Как поют женщины в наших краях. Тоскливо.

— *Речь идет о гостинице «Помпея» в Курбевуа, не так ли?*

В магазине напротив был включен телевизор. Люди на экране точно гнались друг за другом, все так и мелькало. А я пытался привыкнуть к полочке, к шкафу, к умывальнику. У меня есть комната, твердил я себе, у меня есть комната. Потом, присев на кровать, я подкрепился, поел хлеба, мяса. У меня был нож. За стеной крутили все ту же пластинку. На следующий день я вернулся на завод и начал играть на бегах. Вместе с Альбером.

VII

Голос этой женщины, мсье, я слышал часто. Так часто, что мне стало мерещиться, будто она обращается ко мне, в чем-то упрекает. Она напоминала мне о жене и сыне, которые глядели на меня из угла кухни, и всякий раз, когда она пела, наша гостиница тоже казалась мне одинокой, затерянной в ночи, будто корабль, плот, и в каждой комнате люди видели сны, что-то вспоминали, возвращались в прошлое. А где-то под землей каждые пять минут шумело метро, далекое, как горная река. Странный шум, мсье, лежишь во тьме и думаешь, что город непрочен — не размоет ли его дождем, не рухнет ли он? Как оползень на горном скате.

— *Месяц спустя вы тем не менее повздорили с соседом. Если не считать этой ссоры, управляющий отзывается о вас положительно.*

Он снова завел эту пластинку, ужасно громко. Несколько раз подряд. Так громко, что мне почудилось, будто меня и впрямь кто-то окликает, совсем рядом. Жена, сын. А я больше не хотел их слышать. Я зашел к нему в комнату и отругал — и его, и жену. Я этого человека чуть не избил. Может, просто потому, что соседи имели право жить вместе.

— *Он заявил, что сожалеет о вашем отъезде, что вы были опрятны, общительны, приветливы...*

Он меня понял, и все уладилось. Он стал реже ставить эту пластинку, только по субботам, во второй половине дня, когда видел, что я надеваю пальто и выхожу из гостиницы, пересекаю улицу. Я останавливался напротив, около магазина, где продавали телевизоры. Стоя в кучке людей, я подолгу смотрел на экран за широкой витриной. Точно там, за стеклом, шла настоящая жизнь. Путешествия, море, корабль с большим парусом, снег на горах, футбольный матч. А на трибунах — люди, которые, видно, орали. Как мы. Часто показывали лошадей, они бежали в тумане, запряженные в маленькие двуколки, и одна шла впереди, в облачке пара, размашистой рысью, быстрей всех. И здесь, перед окном, мсье, тоже хотелось кричать, сам не знаю почему, чтобы она оказалась выносливее других. Чтобы пришла первой. Как настоящая королева.

— *Вы никуда не ходили с товарищами, с друзьями? Но ведь в таком большом городе, как Париж, сколько угодно*

развлечений? Не гуляли хотя бы просто по улицам? Это ведь ничего не стоит.

Иной раз, мсье, за стеклом были люди, совсем такие, как мы в будни, их были тысячи. Они выходили отовсюду — из магазинов, тоннелей, спускались по лестницам, а мы, стоя перед витриной, смотрели, как они движутся, снуют, толкая друг друга, стадом валят с вокзала, из жерла метро, шагают по улице, по тротуарам, переходят по сигналу на другую сторону, среди огней, среди машин. Когда я глядел на них, мсье, мне думалось, будто они знают дорогу, но не знают цели, причины. Они походили скорее на муравьев, которыми кто-то повелевает извне или изнутри. Но кто же, кто, мсье?

— *Вы, значит, никогда не ходили на танцы, в кино?*

Как-то я вернулся домой поздно ночью. Наглядевшись на экран, я уже перестал понимать, где я, что я. Я включил свет и осмотрелся. Стены, умывальник, полочка. Потом, словно я все еще не я, съел кусок хлеба, мяса и лег на кровать. Стал накрапывать дождик. Капли негромко застучали по незапертым ставням, по ветвям деревьев. Я, кажется, еще подумал, что этот дождь хорош для урожая. И в эту минуту, мсье, произошло что-то странное, необъяснимое. Поразительное, если хотите. Я лежал на кровати, уставясь на чемодан, который стоял на полке, и вдруг, впервые после приезда в Париж, я услышал сквозь шум дождя ее топот — она приближалась откуда-то издалека, из глубины ночи, из недр города, точно во сне. Все отчетливей постукивая копытами по асфальту, она приближалась размеренным шагом, неторопливо, одна-одинешенька среди всех этих улиц, одна-одинешенька в этом большом городе. Спокойная. Она, мсье. Она — лошадь.

— *Испытывать чувство одиночества в городе, в Париже? Вы меня удивляете.*

Я и сам был так удивлен, что даже не подумал встать, подойти к окну. Не поднимаясь с кровати, я слышал, как она медленно приближается к дому, к моему окну, точно собирается войти. И вдруг она два раза фыркнула. Очень громко. И тогда, мсье, я подумал, что это моя лошадь, я подумал, что она здесь, у самого моего уха, моя Сивка, ее теплая шкура, ее запах, ее большие глаза. И я поглаживаю белое пятно на лбу лошади. А потом она ушла, пропала, так и не показавшись мне. Мерно постукивая копы-

тами. Точно возвращалась после рабочего дня домой по проселочной дороге.

Мысленно я последовал за ней. Вместе с ней вернулся в горы, туда, где нет машин. Уложил мысленно чемодан, чтобы возвратиться в родные края. Сразу после получки Я не переставал думать об этом все следующие дни, сидя напротив Альбера. Всякий раз, когда он поручал мне отнести очередной ящик, я говорил себе: «Может, это — последний». Я уже снялся с якоря, пустился в путь. Я уже шел за плугом.

— *Все это так. Совпадает с тем, что вы уже говорили, и ваш товарищ Альбер подтверждает это в своих свидетельских показаниях. Но почему же вы в таком случае не выполнили своего намерения — почему вам было не уехать сразу? Ничего не было проще.*

В городе, мсье, ничего нельзя знать заранее. Перед получкой, почти тогда же, когда приходила лошадь, я нашел ту, которую, может, и ждал, высматривая из окна кафе, ту, которая должна была появиться, Элиану. Словно так было предназначено, мы встретились как-то вечером на большом мосту, посреди города, среди тысяч машин, среди тысяч домов.

Освещенная фарами машин, скрытая за капюшоном своего пальто, за очками, она шла быстро, ни на что не глядя. Но поравнявшись со мной, подняла глаза — я в этом уверен. Она с улыбкой взглянула на меня, и мне захотелось пойти за ней следом, заговорить. Но в эту минуту, мсье, я услышал неподалеку на улице громкий гудок — то ли шум насоса, то ли рев трубы,— словом, звук, похожий на вой пожарной сирены. И вместо того чтобы догнать ее, я бросился смотреть, что там такое. Пожара вроде не было, ни разбитой машины, ни аварии. Я шел на звук, как на гул реки. Чем ближе я подходил, тем больше это напоминало жалобный вопль. Наконец я понял. Звук вырывался из коробки, укрепленной на столбике. Я прочел, что это вызов полиции. За стеклом был телефон. Вокруг стояло несколько человек, они, как и я, смотрели и ждали, когда жалоба умолкнет.

— *Если бы и вы так поступили, вы сейчас были бы на свободе. Понимаете, на свободе.*

В эту минуту подошел полицейский и велел нам разойтись. Он открыл стеклянную дверцу, взял трубку, и звук умолк. И мы все вздохнули с облегчением, словно у постели больного, который пришел в себя. Все точно очнулись и разошлись кто куда, по своим делам. А я побежал к мосту. Хотел ее догнать. Я искал ее повсюду, на всех улицах, искал несколько дней сряду. Напрасно. В тот вечер, мсье, пойдя на этот звук, я ее потерял.

VIII

— Если я не ошибаюсь, в своих прежних показаниях вы утверждали, что познакомились с этой Элианой на предприятии, где работали. Так что же правда, что соответствует истине?

Когда ищешь, мсье, всегда приходится делать круг. Я в поисках Элианы сделал большой круг. Я искал ее повсюду, как потерянную иголку. Ждал ее. А нашел совсем рядом. Благодаря Альберу. Он, по своей привычке мной командовать, послал меня отнести документы в подвал. Велел постучаться в дверь с надписью «Архив» и сдать пакет той женщине, которая сидит за столом.

Я спустился туда как раз в обеденный перерыв. В конце коридора, под лестницей, постучал в дверь раз, другой. Потом вошел. Точно в пещеру — окна в комнате не было, стояла мертвая тишина. В глубине я увидел стол, на нем горела лампа. Я еще подумал: наверно, та, что работает в этом подвале, ушла в столовую. Я положил пакет на стол и стал бродить между доходившими до потолка полками, на которых стояли папки с завязками. Мне все казалось, я в пещере, в укрытии, сам не знаю почему. Торопиться было некуда, я сел, прислонясь к стене, и, наверно, уснул. Я даже не слышал, мсье, как отворилась дверь, как она вошла. Я только услышал крик и увидел где-то между полками ноги, юбку. Это была Элиана.

— Итак, чтобы облегчить задачу секретаря, будем считать установленным, что вы познакомились с ней на работе, и перейдем к дальнейшим событиям.

Потом, мсье, она рассказала мне, что в тот день, услышав шорох, чуть не убежала. Решила, это — крыса. Я ответил, что, может, я и есть крыса. Она рассмеялась и сказала: «Значит, молодой человек разглядывал девичьи ножки и молчал. Так ведь?» Должен еще сказать, что в тот день она была в своей яркой клетчатой юбке, в шотланд-

ской юбке, и что она мне ответила «порядок, порядок»,— это словечко она повторяла по любому поводу: когда подсчитывала, сколько денег в сумке, когда проверяла, хорошо ли начищены кастрюли, когда получала счет из магазина. В тот день она повторила этот свой «порядок» дважды, с серьезным лицом, словно девочка, играющая в какую-то игру. Потом вдруг рассказала, что это место на заводе принадлежит ей, только ей одной, и что обычно она никого сюда не пускает, разве что иногда свою подружку. «Эта девица рта открыть не смеет, всего боится, на все соглашается. А я учу ее бунтовать». Я спросил: против кого. Она ответила: *«Против Иерархии»*. Объясняя мне все это, она, словно что-то ее необыкновенно развеселило, порылась в шкафу и вытащила мешок с грецкими орехами.

— *Ее фамилия Дюшмен, не так ли?*

Я раскрывал скорлупки кончиком своего ножа, нащупывая щелочку, а она рассказывала мне, что ее мать и отец в войну погибли вместе в один день во время бомбежки. Не захотели спуститься в подвал. А она тогда жила у дяди в деревне. Она сказала, что в саду, посреди разрушенных домов, стояло раскидистое ореховое дерево и она весь день проводила на его ветвях, как белка.

— *Элиана Дюшмен, уроженка Сент-Мер-Эглиз.*

Я протянул ей орех, и она принялась выковыривать его из скорлупы неторопливо, точно швея, которая вытягивает иголку, объясняя мне все так же серьезно: «А я, знаете, орехи люблю, только когда они свежие». Я молчал. И тогда, бережно зажав орех в пальцах, она протянула мне, словно мы обменивались драгоценностями, ядро — половинку или четвертинку, и мне захотелось тут же рассказать ей про мост, подойти к ней поближе. Но в эту минуту, мсье, наверху завыла сирена, загрохотали машины, задрожали стены, и из-за всего этого шума, мы, несмотря на орех, вдруг почувствовали себя очень далекими, что-то вроде бы встало между нами. Мы были как два пассажира в двух разных поездах.

Этой минуты я, мсье, никогда не забуду. Мне часто потом снилось в камере, будто я стою у двери с надписью «Архив», держусь за ручку, а напротив меня Альбер, и я зову ее, зову: «Элиана, Элиана!» Но сколько я ни кричу,

она сидит там, склонив голову над столом, освещенная маленькой лампой, и не слышит, не отвечает — точно мертвая, точно ее убило молнией. Точно я снова потерял ее, во второй раз потерял. И тут я, мсье, просыпаюсь в своей камере и снова пытаюсь увидеть ее, позвать.

— *Кто-нибудь на заводе знал, что вы встречаетесь?*

Ежедневно, в полдень, мы встречались в подвале, под заводскими стенами, под всеми этими машинами. Мы были нужны друг другу. Чтобы поговорить, позавтракать вместе. Хлеб, яйцо, яблоко. Здесь, среди полок, освещенных маленькой лампой, мы были совсем одни, мсье, и нам было так хорошо, что нередко мы оба воображали, будто сидим на привале, в дальнем краю, как в фильмах,— ночь, повозки распряжены, горят костры. Нам было так хорошо, мсье, что порой, когда мы вспоминали о неотвратимом пробуждении машин, о городе над нами, нам мерещилось, будто и мы тоже ждем налета бомбардировщиков, конца света.

— *Полно, полно, успокойтесь. Я хочу знать одно — был ли кто-нибудь, ну, например, Альбер, в курсе дела. Ответьте мне.*

Очень скоро, не сговариваясь, мы стали встречаться после работы, на улице. У решетки метро. Я ждал ее, читая газету, в гуще людей, машин и время от времени оглядывал поверх газетного листа перекресток, уличные часы, мокрый тротуар. Я шептал про себя: «Элиана, Элиана», и почти всегда, точно услышав меня, она возникала из темноты, из дождя, выходила на свет фонарей. Перекинувшись несколькими приветливыми словами с продавщицей газет, она подходила ко мне. И тут, мсье, все преображалось, все кругом делалось милым. Она брала меня под руку, и мы шли куда глаза глядят, не выбирая улиц, брели, притрагиваясь к стволам деревьев, присматриваясь ко всему кругом, к каждому кафе, к каждому магазину, точно собирались все купить, все съесть. Время от времени мы переходили на другую сторону, лавируя среди машин, и они не причиняли нам зла. Мы стукались об их крылья, о теплые радиаторы, о зажженные подфарники. «Может, и у нас когда-нибудь будет машина»,— говорила Элиана.

— *Вы никуда не заходили перекусить?*

Мы шли. И дальше, на темных улицах, где почти не было фонарей, перед нами тоже были машины, они стояли

под деревьями сотнями. Через заднее стекло мы разглядывали внутри какой-нибудь талисман, куколку, перчатки, очки, книгу. Машины стояли под ветвями до того спокойно, мсье, до того спокойно, что мне порой чудилось, будто их составили под навес в большой сарай, как плуги или телеги.

— *Короче говоря, она стала вашей подружкой?*

Я отвел Элиану на мост, туда, где впервые ее увидел. Вода блестела во мраке. Мы глядели, как она струится, бежит, и тут все решилось — навсегда. Пока вода текла куда-то, я нашел руку Элианы. Там, где она пряталась. В теплом рукаве пальто. И в эту минуту, мсье, я ощутил, что город во мне стихает — он успокоился, исцелился. Мы разговаривали в темноте. Я рассказал, как ее искал. Повсюду. «Ты искал именно меня?» Я ответил да, тебя, твой капюшон, твои очки. Потом мы, кажется, глядели на город, на огни, на высокую железную Башню. Высоко в небе мерцал ее маяк, и она была похожа на огромного сторожа с лампой в руке. Элиана меня поцеловала, и мы снова стали смотреть на воду, ее течение, блики, звезды. Она неторопливо бежала куда-то под нами. Точно отправлялась в путешествие.

— *Вы по-прежнему собирались уехать домой?*

Я проводил ее пешком до дому. Путь был долгий. Она жила в восточной части города. Мы шли через перекрестки, переходили площади, тихие, как деревни, шагали по тротуарам между рядами машин и мусорных ящиков, по улицам, то сверкавшим огнями, то полутемным, где вдруг пробегала кошка. Где-то Элиана показала мне по схеме метро, сколько мы уже прошли, и ту улицу, куда мы направлялись. «Это — вот здесь, возле Порт-де-Лила»,— и я увидел ее руку, два пальца, вычислившие наперед все повороты, весь путь, который нам предстояло проделать вдвоем в этом мраке. Мы прошли мимо женской тюрьмы за высокой стеной, и сразу из-за той же стены выглянули верхушки деревьев большого кладбища.

— *Пер-Лашез?*

Это название меня рассмешило. Миновав кладбище, мы свернули направо и пошли вверх по первой же улице, под деревьями, кроны которых смыкались над головой, точно крыша; такие же деревья были за площадью, которая

носила имя Гамбетты. А мне все казалось, что два ее пальца по-прежнему указывают нам дорогу — туда, вверх, к Порт-де-Лила, к тому месту, где она жила — почти на самой вершине холма. Над винной лавкой. Напротив, за оградой, похожей на кладбищенскую стену, я заметил небольшой заводик. Его труба сразу напомнила мне другой завод, приспособленный под общежитие. И тут, мсье, она взяла меня за руку и сказала: «Пойдем!»

Мы осторожно прокрались по лестнице, стараясь, чтобы нас никто не услышал, точно все еще шла война, и вскоре оказались наедине в ее комнате с закрытыми окнами. Сквозь них проникал розовый свет, падавший от магазина. Когда свет погасили, мы остались в темноте. Наверху. И только иногда по улице проходила машина с зажженными фарами.

— *Прекрасно. Итак, вы у нее. Вы ее любовник.*

IX

Как по-вашему, мсье, можно все изменить, начать сызнова? Считаете ли вы, что человек может так поступить, имеет на это право? Я вот — с Элианой — поверил в это сразу, с той самой ночи. Я сразу забыл обо всем — о метро, о гостинице, о соседе. Сразу, мсье. Мне чудилось, будто с ней я перенесся в другой край, спокойный, как луг. Но уже назавтра, рано поутру, мне пришлось с ней расстаться, чтобы меня не заметили.

— *В деле значится, что квартира, которую она занимала по улице Сюрмелен, была действительно записана на имя ее дяди.*

Я расстался с ней, чтобы снова встретиться на заводе. Но когда я брел в темноте, мсье, мне было больно, что мы все еще идем туда как бы разными путями, как бы с противоположных сторон, как будто нас по-прежнему что-то разделяет. Добравшись до вершины холма, я стал ждать автобуса, на который она велела мне сесть, и разглядел в тумане автостраду с ее неподвижными огнями. Издалека, сам не знаю почему, она напомнила мне дорогу, которая идет вдоль тюрьмы. Но позже, увидев в конце улицы Элиану, подходившую к большим заводским воротам, увидев, как она вышагивает, быстро, точно солдатик, я вдруг ощутил такую радость, что у меня все вылетело из

головы и осталось лишь одно: «Она моя». И все. Я спрятался в толпе и твердил про себя эти слова, не отрывая глаз от ее юбки, от ее волос.

— *Не станете же вы утверждать, что уже полюбили ее.*

В глубине двора она повернула голову, улыбнулась мне из-под своего капюшона. А я через другую дверь пошел к Альберу, который, как обычно, сворачивал самокрутку, и здесь, возле ящиков, стал ждать полудня, подвала, яблока. Потом ждал конца рабочего дня, лестницы метро, газеты, а Альбер тем временем соображал, на какую лошадь лучше поставить. Как насчет Парижской Жизни? Согласен ли я? Я сказал ладно, давай. «А чего ты смеешься?» Я ответил: «Да так, просто не представляю свою лошадь с таким именем». Он удивленно посмотрел на меня: «У тебя что, есть лошадь?» Я ответил, да, там. Всего одна. В это время загудела сирена — конец работы. У метро, когда Элиана подошла ко мне, продавщица газет зажигала свою лампу, укрепленную на большой синей бутыли. Элиана тут же, на глазах у газетчицы, взяла меня за руку.

— *Вы жили по-прежнему в той же гостинице?*

Да, по-прежнему, еще неделю или побольше. Каждый вечер я, словно мне дали увольнительную, шел к ней и оставался на всю ночь, и каждый вечер мы с ней словно открывали новую страну. Она рассказывала мне о деревьях, о лугах, о бидонах с молоком, а я ей — о горах, о скалах. Но в конце следующей недели, в субботу, мне не удалось у нее остаться. Сосед написал дяде, который жил в деревне. Тот приехал и запретил ей со мной встречаться. На следующий день мы попытались было переночевать в моей гостинице. Но и тут, мсье, управляющий увидел нас через застекленную дверь и задержал на лестнице. «Принимать посетителей в комнатах запрещается»,— отрезал он нам по-солдатски. И мы, сконфуженные, спустились со своей четвертой ступеньки и ушли, точно его указующий палец гнал нас вон.

— *Таков порядок.*

Но Элиана не дала мне впасть в уныние. Сделав несколько шагов по улице, она вдруг остановилась около скамейки и расхохоталась. Я спросил, чего она смеется. Она ответила: «Ну и вид у тебя!» И мне тоже стало смешно. Я сказал ей, что, оказывается, даже тут, в городе, у каждого есть папаша, который за ним присматривает, и

мы пошли дальше, взявшись за руки, и долго гуляли, потому что погода была хорошая. Небо было синее, как бутыль продавщицы газет.

Потом я проводил ее до дому. Город опять словно встал между нами, и мне пришлось вернуться к себе на метро. Под дверью лежало письмо. Второе письмо от сына. Он писал, что получил синий автомобильчик, который я ему послал. Машина хорошо ездит, хорошо разворачивается, хорошо зажигает фары, она ему очень нравится. Читая письмо, я на мгновение увидел, как он пишет. Пишет в своей тетради за кухонным столом. Лицо у него было чуть грустное, казалось, он ищет что-то, какой-то нелегкий ответ. А потом вдруг все — тетрадь, стол, скрип пера по бумаге,— все исчезло, точно дымом заволокло. Внизу, у управляющего был включен телевизор, звуки музыки прерывались выкриками, разговором, о чем-то шел спор. Все время повторялось одно слово — Биржа, Парижская биржа. Кто-то, кажется, рассказывал, как там делаются дела. В заключение опять заиграла музыка, еще громче. Словно въехал король.

— В деле зафиксировано, что вы тем не менее продолжали регулярно переводить деньги семье, до самого конца. Как же так?

Я лег и попытался снова увидеть сына, его синий автомобильчик, жену, но не увидел ничего, кроме погасшего кухонного очага и краешка стола со знакомой зазубриной. Словно оба они умерли. Внизу передавали последние известия. Я вышел из дому, в сад. Направился к сараю. К тропке. И когда я обернулся, уже отойдя, жена и сын стояли перед домом, прощаясь со мной, освещенные солнцем, такие, какими я их видел уезжая. Последнее, что мне запомнилось. И я призвал на помощь Элиану.

— Вы завели подружку, и прекрасно. Дело житейское.

На следующей неделе она пришла с опозданием, не в духе, мне пришлось ждать ее у лестницы. И всю неделю была чем-то поглощена — писала, звонила. В один прекрасный день я увидел, что она в хорошем настроении. Еще издали она закричала мне: «Угадай, какая у меня есть новость!» Я попытался угадать. Она смеялась, томила меня ожиданием. «Все еще не сообразил?» Я ска-

зал, что нет. Тогда, мсье, она наконец решилась. Словно собираясь показать карточный фокус, она вытащила из сумки бумажку, сложенную вдвое, и принялась водить ею перед моим носом, точно я мог что-то понять по запаху. В конце концов она дала ее мне: «Ну-ка, посмотри!» Я посмотрел. Наполовину на машинке, наполовину от руки крупными буквами был записан адрес. Над ним цена. Я спросил, что это? Она ответила: квартира. Комната и кухня. Она уже заплатила за месяц вперед.

— Я вам говорю о переводах, а вы мне о квартирной плате. Ведь вы имеете в виду квитанцию об уплате за квартиру?

Да, мсье, квитанцию, которую мы рассматривали, вертели так и этак, читали и перечитывали, точно эта бумага должна была все изменить, точно это был счастливый билет на бегах. Наконец Элиана сложила ее и засунула обратно в сумку, в специальный кармашек. А в следующую субботу мы перетащили свои чемоданы. Пока она гремела на кухне кастрюлями, я вбил в комнате крюки, укрепил полку, повесил занавески — все еще не веря в собственное счастье. Как будто делал все это для кого-то другого. А потом мы уселись на кухне за стол, взяли карандаш и составили вместе список всего, что нужно купить. Каждый раз, когда я называл что-нибудь дельное, Элиана говорила «порядок» и записывала на бумажку, словно я отдавал распоряжения, словно я хозяин. «Две лампочки, порядок. Большой коробок спичек, порядок. Новую газовую горелку, порядок». Под конец она составила свой список для кухни, для комнаты. Тут я был лишен права голоса. «Это тебя не касается, друг мой». Постукивая карандашом по губам, она обошла квартиру, оглядела все кругом, записала, чего еще не хватает.

— Итак, вы оба переехали в пригород Сен-Дени. У нас имеется благоприятный отзыв домовладельца.

Из кухонного окна был виден двор, крыша, красная черепица, воробьи. В глубине двора — сарай. Элиана сказала, что посадит цветы перед этим окном. Тут в воротах сарая отворилась калиточка, на двор вышел мальчик и стал играть с песком и автомобильчиком. Я взглянул на него и ушел в комнату. Посмотрел на шкаф, на лампочку, на белые стены, на кровать. Под окнами проходило шоссе. Мчались на бешеной скорости разноцветные машины — красные, синие, желтые. Элиана проверила, крепко

ли держится полка, и мы снова принялись за свой список. Он занял по меньшей мере две страницы. Словно мы собирались поселиться здесь навсегда.

— *Подвергались ли вы в этот период, в течение этих трех месяцев, хоть раз полицейской проверке?*

В следующие дни мы гуляли по окрестным улицам. Мясник, булочник, кафе-табачная лавка. Как-то Элиана повела меня в большой магазин, похожий на ангар, и мы стали каждую неделю делать там покупки — она шла впереди со списком, я следом с сумкой на колесиках, и мы оба радовались, будто весь этот ярко освещенный магазин принадлежал нам. Играла музыка, Элиана то и дело останавливалась перед полками, уставленными коробками, брала одну, другую и, забыв обо мне, застыв на месте, пристально рассматривала каждую вещь, каждую этикетку, точно пыталась проникнуть сквозь упаковку в тайну пакетов. Я понимал, что это надолго. И отправлялся посмотреть на слесарный, садовый инструмент. Когда я возвращался, на прежнем месте ее уже не было. Она стояла уже у других коробок, далеко, словно птица, которая перелетает с ветки на ветку. И я с моей сумкой на колесиках должен был искать ее. «А я тебя потеряла»,— говорила она мне каждый раз. Наконец у выхода мы расплачивались в кассе, напоминавшей мне заводской конвейер, и шли домой со всеми нашими покупками. Поднимались по лестнице, открывали дверь. Я уже начал верить, что все это правда. Я начал привыкать, надеяться, что, быть может, и в самом деле задержусь, осяду здесь.

— *Скажите лучше, друг мой, что вас задержали — ведь вас задержала полиция. Это будет точнее, ближе к действительности.*

Однажды по дороге домой она подобрала на улице котенка. Принесла его в дом, и на кухне мы налили ему молока в блюдечко. Вечером он забрался на кровать, а мы стали подыскивать ему имя. Я подумал о ней и сказал: «Порядок». Так он и остался навсегда с этим именем, мсье. Он быстро научился все понимать, откликался на свое имя, бегал, звал из-за двери. И вот, мсье, мне скоро стало казаться, что в этой квартирке не меньше вещей, не меньше людей, чем во всем городе. Благодаря Элиане у всего здесь было свое место, свой ящик, свой футляр: у иголок и ножниц, у чашек, у вязанья, у карандаша. Поэтому, мсье, мне почудилось, будто и в городе сущест-

вует свой порядок, свой смысл. Теперь, когда я по вечерам, пока Элиана возилась на кухне, смотрел из окна на бульвары, на огни города, мне все впервые представлялось хорошим: и улицы, и машины, и дома. Я выздоровел, переменился. Точно и я тоже получил новое имя. И дни шли спокойно, словно я шагал за плугом. Я знал, что вечером увижу Элиану.

— *И так продолжалось три месяца.*

Когда она однажды уехала от меня в деревню к дяде — всего на пять дней, мне ее так не хватало, что я вроде как заболел и назавтра не смог встать. Едва я поднялся с постели, заныли колени, заломило в костях, точно при лихорадке, мне хотелось одного — поскорее снова лечь, потому что, лежа в темноте, за закрытыми ставнями и с закрытыми глазами, я мог думать о ней, видеть ее — видеть, как будто она была здесь, и тогда, словно я засыпал рядом с Элианой, боль в коленях становилась тихой, тихой, как никогда тихой.

— *И вас в течение этих трех месяцев ни разу не тревожила мысль, что ваши отношения совершенно противозаконны?*

Так я провел два дня, не двигаясь с места, не выходя на работу, не открывая ставен. Когда мне хотелось есть, я вставал и, прислушиваясь к шуму, долетавшему с улицы, шел на кухню, брал то, что она мне припасла: хлеб, картофельный салат, тарелку супа, апельсин. Или вдруг обнаруживал на полке пакет, на котором ее рукой было написано: ветчина, швейцарский сыр, голландский. Я нес все это в комнату, клал на маленький столик. За ставнями непрерывно мчались машины, а я потихоньку, не торопясь, ел, держа на коленях котенка, светила лампа, я думал то о мосте над рекой, то о подвале завода, то еще о чем-нибудь, но ни на минуту не забывал, мсье, что это она чистила овощи, заправляла их маслом, что она выбрала в магазине это яблоко, этот апельсин. Потом, поев, я шел вместе с котенком на кухню, относил то, что осталось, и у меня опять начинало ломить колени, я снова залезал под одеяло, снова закрывал глаза.

— *Эти отношения имеют свое название.*

Как-то поздно ночью пошел дождь. Я проснулся. Сотни капель барабанили в ставни, в стены. Мне было хорошо, и сначала я ни о чем не думал. Снаружи точно ручеек журчал. И вдруг, мсье, то ли дождь, то ли мысли об Элиане

напомнили мне о лошади. О той, что как-то вечером прошла по улице мимо моей прежней гостиницы, одна-одинешенька. Я вспомнил пятно у нее на лбу, спокойные уши торчком, полуприкрытые глаза. «Теперь и она нашла себе кого-нибудь»,— подумал я.

X

Пять дней спустя я ждал ее на вокзале, под часами, около табло со всеми этими цифрами прибытий и отправлений. Вокруг меня сновали люди, выходили, входили, толкались, у каждого был свой путь, свой чемодан, свои заботы. Из-за поворота вдалеке, под высоким мостом, показался освещенный солнечными лучами поезд. Скользя между маленькими грузоподвозчиками и тележками носильщиков, он неторопливо, почти бесшумно, будто на экране телевизора, въехал под своды вокзала. Но едва он затормозил, остановился, из него вдруг посыпались, точно муравьи из мешка, люди и побежали врассыпную, как когда полицейские разгоняют демонстрацию,— бросились к дверям, к переходам, к лестнице метро, они так спешили, что вслед за муравьями мне пришли на ум кролики — выпустишь их в поле, и они тотчас кидаются со всех ног на поиски убежища, норы. Я глядел, как каждый старается протиснуться первым через проход, а сам думал, что теперь, когда у меня есть Элиана, у меня есть и свое место. Свое место в городе.

У другой платформы, где было потише, стоял готовый к отправке поезд, через стекло вагона-ресторана виднелись столики. Я прочел названия станций назначения — Лизье, Руан, Довиль — и подумал, что, может, когда-нибудь и я поеду в ту сторону. Там, рассказывала мне Элиана, море, ветер, песок. Я вернулся на платформу, куда прибывал ее поезд, под часы. В глубине, там, где кончались своды, по-прежнему падал на мост свет огромного, но невидимого отсюда солнца, огромного алого неба. Я и подумать не мог, мсье, что мне самому придется вскоре удирать по такому вот мосту.

— Не перескакивайте, пожалуйста. Будем придерживаться последовательности событий, зафиксированных в протоколе. Итак, ваша подруга возвращалась из Сент-Мер-Эглиз?

Да, из Сент-Мер, она очень любила это название и часто его повторяла. Мы собирались туда поехать вместе. Я сразу узнал ее, потому что она еще издали, из окна вагона показала мне мешок с орехами. Минуту спустя она уже была в толпе, рядом со мной — ее голос, ее запах. Она говорила так быстро, что я не сразу разобрал. После этих пяти дней, не знаю уж почему, я как-то не мог ее узнать, ни ее, ни ее глаз, ни ее губ. Мне казалось, что я не видел ее целый год, что она изменилась, что она только что рассталась с кем-то, с другим.

В метро она показала мне красный крестик, которым отметила в своей записной книжечке день, когда исполнится три месяца, и спросила, как я хотел бы его отпраздновать. А я все еще с удивлением смотрел в ее глаза, на ее губы, которые говорили, шевелились. Она сказала, что для такой важной даты одних орехов мало, нужно придумать что-нибудь еще, получше. Потом стала рассказывать о пяти днях в деревне, о бидонах с молоком, о лесе, и глаза у нее блестели. «Ты представить себе не можешь, как хорошо вдохнуть аромат деревьев»,— говорила она.

Когда мы вышли из метро, она спросила, как я тут со всем справлялся в одиночку. Я что-то пробормотал. А она теснее прижалась ко мне, как бы говоря: ну теперь все это позади. Она вернулась.

— Перейдем все же к главному — к несчастному случаю, жертвой которого стала ваша подруга. Когда это произошло?

Мы добрались с чемоданом до дому, поднялись по лестнице. Я взял ключ, открыл дверь. На кровати лежал котенок. Увидев нас, он встал, выгнул спинку. Мне казалось, что я сам вернулся из долгого путешествия. Она сняла пальто, и я, чтобы наконец почувствовать, что она со мной, потянулся к ней.

Но она, мсье, непременно хотела прежде все прибрать. Вещи, посуду. Аккуратно повесить пальто. Накормить котенка. Проверить, все ли на своем месте. Как мастер в цехе. Чтобы во всем был порядок. Я с любопытством ходил за ней следом, не отставая ни на шаг, потому что утром, перед уходом, сам все убрал, помыл, навел чистоту. И тут только я понял, что, когда она дома, все приобретает особый смысл, даже мелочи, и что именно эти мело-

чи все преображают — и полку в комнате, и ящик, где лежат вилки, и окно. Все становится на свое место, каждая вещь начинает светиться словно под лампой. И пока она возилась в кухне, я думал о тысячах других женщин, делавших то же, что и она, делавших молча, несмотря на усталость,— о всех тех женщинах, которые наводили порядок в домах, превращая мало-помалу этот город в подобие громадного, хорошо прибранного шкафа. «Только они и могут его исцелить,— думал я,— только они», потому что я вспомнил о бараке, об этом доме, который не жилье и где ты — не человек. Мне стало так страшно, что я окликнул ее. Я сказал ей: «Посмотри на меня!»

Она подошла. Поцеловала меня. Я положил руку ей на плечо, на ее платье — я был так счастлив, что не находил слов. Она легонько шлепнула меня по носу указательным пальцем. «Попозже,— сказала она,— попозже».

— *Итак, друг мой, этот несчастный случай?*

В таком настроении, мсье, мы накрыли вместе на стол, поставили тарелки, вынули стаканы, ножи. Разложили все, что я купил к ее возвращению. И от нашей близости, мсье, все кругом вновь приобрело смысл — хлеб, вода, журчание струи из крана, свет лампы, красный цвет тарелок. Каждый взгляд, каждый жест. И даже сейчас, в камере, я все еще словно живу тем вечером, после пяти дней ее отсутствия, ощущаю ту же слабость в коленях, ту же ломоту. Запертый в четырех стенах, я опять вынимаю из кармана ключ, открываю дверь нашей квартиры — жду. Жду конца обеда, апельсина. Жду, пока она приведет все в порядок. Смотрю на нее. Она ходит по кухне. Быстро. От стола к окну, от раковины к шкафчику. Потом слышу, как она вытирает стол. Дважды. Желтой губкой. Задвигает стулья. Гасит свет. Потом камеру заполняет мрак комнаты, слабый, розовый свет еле пробивается сквозь ставни,— точно мы, мсье, все еще лежим с ней под одним одеялом, под одной крышей.

Несчастный случай произошел два дня спустя. Накануне нашей даты. Была суббота. Мы вернулись вместе из большого магазина. С пакетами. Рис, мясо, стиральные порошки. Только мы пришли, она опять вздумала выйти — увидела в окно торговца каштанами. Взяла сумку и спустилась. Внизу проходило шоссе Сен-Дени, как широкая

траншея. Напротив, на другом тротуаре, дымила жаровня торговца, его самого за дымом не было видно. Мимо стремительно проносились машины.

— *Уточните, пожалуйста, все обстоятельства.*

Она не успела еще выйти из дому, а я уже представлял себе, как она возвращается и машет мне издали фунтиком с каштанами. Я увидел, что она на миг задержалась на краю тротуара. Склонив голову, она в последний раз шарила в сумке в поисках мелочи, серебра, точно должна была уплатить за переход. И вдруг побежала через улицу. Как солдат в атаку. Думала, должно быть, о каштанах, которые принесет.

Машину, мсье, я разглядеть не успел. Я видел только ее, ее одну, Элиану. Как солдат, сраженный пулей, она вдруг покачнулась там, в траншее, где мчались автомобили, покачнулась, как-то согнувшись, повернулась раз, другой и попыталась, словно выполняла приказ, вопреки всему добраться до торговца каштанами,— на противоположный тротуар, туда, где дымилась жаровня.

Никогда я не любил ее сильней, мсье, чем в эту минуту,— за ее отвагу. За мужество, которое она сохранила даже после ранения. Всякий раз, вспоминая об этом, я вижу, как она идет вперед, прижимая к себе сумку, делает еще три или четыре шага, вижу, как она медленно приближается к другому тротуару, к запаху каштанов, и всякий раз, мсье, мне мерещится, что я с ней рядом в эту трудную минуту, что я ее утешаю, нежно, нежно, а у нее все катятся слезы из глаз. Твержу, чтобы ее подбодрить: «Мужайся, яблочко мое, мужайся». И всякий раз она с улыбкой делает еще один шаг к каштанам. Последний.

— *Вы, следовательно, были очевидцем несчастья?*

В это мгновение показалась вторая машина. С другой стороны. И уж эту, мсье, я разглядел, хорошо разглядел. Синяя машина, злая. С поднятыми стеклами. Она не пожелала сбавить скорость. Я услышал звук удара, Элиана выпустила из рук сумку и рухнула на шоссе. Раздавленная. Рука у нее была откинута в сторону, точно она искала что-то на асфальте — кольцо, браслет, мелочь, приготовленную для торговца. Я почувствовал, как город затвердел во мне, точно ядрышко ореха.

XI

Потом кто-то прикрыл ее одеялом, полицейские велели нам разойтись и оцепили место происшествия. Они рисовали мелом какие-то линии, что-то измеряли. Все так же стремительно мчались во мраке встречные потоки машин. В глубине квартала завыла сирена, и я подумал о самолете, который летит на большой высоте. Чтобы сбросить бомбы.

— *Как объяснить, что я не нахожу в деле ваших свидетельских показаний?*

Они ничего не хотели понять, ничего. Когда прибыла санитарная машина, они положили Элиану на носилки, одеяло соскользнуло. Казалось, она спокойно спит, думает о птицах. Я хотел поехать вместе с ней. Они сказали — нет. Сказали, что позднее меня поставят в известность, чтобы я мог сделать заявление, дать показания. Шофер захлопнул дверцу, и они собрались уехать.

Я подошел к машине вместе с соседкой, державшей в руке кошелку. Элиана лежала на носилках, за стеклом, меж занавесок, словно одетая статуя, вроде тех, что покоятся в церкви в стеклянном гробу. А рядом, как талисман, лежала ее сумка.

— *О вас, следовательно, забыли?*

Она была так близко от меня, мсье, и лежала так спокойно, что хотелось тихонько постучать по стеклу указательным пальцем, как делала сама Элиана, чтобы она обернулась, сказала мне что-нибудь. Но тут заработал мотор, и санитарная машина умчалась, вся белая, точно свадебная, вдалеке прогудел ее рожок, замигал синий свет на крыше. Я видел, как она исчезает в глубине бульвара, удаляется, пропадает вместе со своим огоньком среди легковых машин и грузовиков. И мне, мсье, вдруг почудилось, что Элиану увозят в город на какое-то празднество. Торопятся, пока еще не совсем смерклось. Ее везут туда, где стоят стеной дома, везут на заклание, чтобы совершить некий обряд. И, глядя издали на город, сверкающий тысячами огней, я даже подумал, что он там, наверно, теперь доволен, доволен,— и мне захотелось ему отомстить, чтобы утешиться. Свести с ним счеты.

— *Вот, значит, почему вы три дня спустя...*

Солнце почти совсем зашло, вновь слетелись на тротуар голуби, опять стал нахваливать свой товар продавец каш-

танов, все разошлись. Соседка спросила, не нужно ли мне чего-нибудь. Я отдал ей ключи. И тут, мсье, я понял, что навсегда потерял Элиану, ее поглотили улицы, и вместе с ней исчезло все — шкаф, цветы, котенок, апельсин. А мне остается только бродить, как в первые месяцы, бродить среди стен, заводов, контор, по площадям, бульварам. Мало-помалу мной овладевала мысль, что я возвращаюсь к поджидающему меня пауку, к тому, которого встретил в самом начале. К тому, который подстерегает в городе каждого.

— *Итак, констатирую, что между смертью от несчастного случая вашей подруги и тем, что произошло впоследствии, прошло три дня. Три дня, на протяжении которых вас не видели нигде — ни на заводе, ни где-либо еще. Что же вы делали все это время?*

Без Элианы, мсье, все утратило смысл. Без нее все рухнуло, как в сломанном шкафу, не осталось ничего, кроме обломков. Мне некуда было идти. Я было уже решил, что теперь вернусь домой, к жене, без всякой машины. Я бесцельно брел по улице, где еще горел свет в конторах, и вдруг снова увидел их обоих: они стояли позади стола, ждали меня. И вот я открывал дверь, входил. И жена сразу понимала, что я вернулся с пустыми руками, даже без чемодана. Она сразу понимала, что теперь уж ничего не изменится, никогда. А на столе стояла одна-единственная машина, все наше богатство — синий игрушечный автомобильчик сынишки.

— *Почему же вы не вернулись домой? Самое было время, вполне подходящий момент.*

По одной только причине. Я не хотел покидать город, пока не похоронят Элиану. У нас в деревне, в горах, сидят над гробом, бодрствуют всю ночь, чтобы усопшему было спокойно. Я считал, что должен бодрствовать эту ночь, чтобы Элиане было спокойно. И бодрствовать именно там, где я ее встретил. В городе, который ее убил.

— *И что же, осуществили вы свое намерение?*

Я блуждал между решеток, фонарей, я шел куда глаза глядят, но, где бы я ни был, повсюду думал о ней, искал ее среди деревьев, среди выстроившихся рядами машин. И я говорил себе, что где-то стоит большая постель, и там спит мое яблочко на большой подушке. И вот, мсье, весь город стал мне казаться большой комнатой, где горит одна лампа.

— *К чему же это вас привело?*

Так, блуждая, я добрался до заставы. Прочел: «Клиньянкур». Побрел дальше, к площади, на которую выходило несколько улиц. Пошел по той, где метро выбегало на мост, и вскоре увидел справа, среди домов, на горе высокую белую церковь, мне ее как-то показывала Элиана. Из-за мыслей, в которые я был погружен в тот вечер, мне показалось, что она горит, как свеча, горит для кого-то. Церковь была на горе, и я пошел к ней по широкой лестнице, этой лестнице не было конца, сотни едва освещенных ступеней. Ступеней было так много, мсье, что это было похоже на паломничество, исполнение обета, и я подумал, что там, наверху, меня ждет слово, истина, утешение.

— *Вы имеете в виду церковь Сакре-Кер, не так ли?*

Но когда я добрался доверху и, обернувшись, глянул на город, меня точно громом поразило. Он был такой огромный — огромней всего на свете. Огромней, чем церковь. Тысячи улиц, тысячи окон, тысячи башен, тысячи памятников, светящиеся реки, улицы, брызжущие огнем, как при сварке, тысячи домов, а в центре — Башня, окутанная облаками, исполинский столб; так много тут было всего, что мне на миг почудилось, будто я стою над градом, возвещенным пророками, над землей обетованной, и я забыл, что где-то там, в глубине этой огромной западни, есть общежитие, барак.

— *Один вопрос, друг мой. Веруете ли вы в бога?*

В деревне, мсье, верил. Как в лошадь. Там у него был дом. Всего один. Но здесь этих домов такое множество, такое множество церквей, что я — как-то я даже сказал об этом Элиане — уже не знал толком, один ли бог или их много, не понимал, где же он обитает. «Он там, где его ищут»,— ответила тогда Элиана. Но я, мсье, опять вспомнил об этой лошади, заблудившейся под дождем, об этой одинокой старой лошади, у которой не осталось ничего, кроме топота собственных копыт, и которая бродила по городу, хотя ее никто не видел.

— *Следовательно, вы перестали веровать, утратили бога. Пойдем дальше.*

Но больше всего я думал там, на горе, о путешествии, которое совершал ежедневно по этому светящемуся городу, туда-обратно, пешком, на метро, по улице, в тоннеле, с одного края города на другой, теперь всей этой езде при-

шел конец. Больше мне некуда ехать. Все пошло прахом. Теперь Элиана была где-то в этой огромной яме, далеко от деревьев, далеко от бидонов с молоком. И мне захотелось тоже туда, захотелось найти ее там, где она сейчас.

— *Все это не имеет ровно никакого отношения к делу, которое мы расследуем.*

Я спустился по улице, петлявшей, как горная дорога. Прошел мимо мельницы, перешел мост. Под ним была не река, а кладбище, камни, кресты, и тут же, рядом — кино, большая площадь, разноцветные лампочки, которые то гасли, то вспыхивали, и отсветы этих огней, точно молнии, озаряли огромные часы, мужчин в плавках, бутылки, из которых что-то лилось, женщин, вышагивавших в рубашках, в лифчиках. Все это звало, кричало, и я, спустившись с горы, почувствовал себя здесь, на тротуаре, совсем малюсеньким, ничтожным, жалким мотыльком. И всякий раз, когда наверху зажигалось какое-нибудь слово, мне хотелось повторить его вслух, да, повторить, точно от этого я мог стать богаче, выше. Точно все это было мое, все это и машина вдобавок.

— *Какая площадь? Пигаль, Клиши? Ведь эти места приметны — в тот час, когда вы там находились, их нетрудно узнать.*

Я названья не видел — только огни, гигантские светящиеся круги, бьющие в глаза краски. Чуть подальше место называлось Рим, и там тоже был мост, перекинутый над железнодорожными путями. Десятки рельсов тянулись из пустого вокзала, а на платформах, рядом с темными вагонами, стояли маленькие автопогрузчики, багажные тележки. Под мостом рельсы перекрещивались и терялись где-то с другой стороны, у других запертых вагонов, зажатых среди решеток, во мраке и тумане, и только красный глаз на башне мигал время от времени,— это место, мсье, наводило на мысль о часовом, ружье, пулемете.

— *Так что же вы, в конце концов, искали?*

Под деревьями, между крыльями и радиаторами машин, я нашел скамью. Тихое место вроде канавы, скрытой тростником. Здесь мне было хорошо, никто меня не видел, и мне захотелось, чтобы она была тут, со мной. Среди всех этих фар и бамперов я попытался вспомнить ее глаза, ее волосы, ткань ее пальто. Ее голос, который говорил, повторял: «Порядок, порядок». Я ощутил ее запах и произнес вслух: «Элиана, Элиана»,— и потом продолжал

звать ее, но уже про себя, ласково, нежно. Точно она теперь стала моим ребенком.

— *Война, война, что вы все твердите о войне. Да знаете ли вы, что это такое?*

Между неподвижными колесами промелькнул свет фар. Какая-то машина возвращалась домой. Мне грезилось, что мы все еще вместе, в нашей комнате, что это светится щель под дверью. «Мы забыли погасить свет»,— сказала Элиана. Наверно, я уснул, но уснул вместе с ней, где-то далеко отсюда, как будто тут, среди этих машин, вблизи от этого Рима, струилась река, подымалась, спадала вода в шлюзе, у затвора.

— *Война — это совсем другое. Это куда страшнее. Война — это опасности, страх, боязнь, что тебя внезапно разбудят, каждодневный ужас.*

XII

Разбудил меня в ту ночь грузовик. Совсем рядом, за машинами, раздался вдруг громкий скрежет тормозов, громкий гудок. Мне на моей скамейке почудилось, будто я слышу мычание быка, стон быка, которого убивают кувалдой. А потом он засипел, стал выпускать воздух. Я поднялся. Он стоял за цепочкой машин, точно уставившись на меня своими подфарниками, угрожая мне своим мощным радиатором, пыхтением своего мотора, и оба мы — он посреди улицы, я под деревьями — словно сошлись для решающей схватки.

Я не двигался с места. Внезапно, как на войне, вспыхнул свет в кабине, и я увидел за стеклом такого же, как я, человека. Человека, который держал то ли книгу, то ли карту — и, казалось, что-то разыскивал. Потом он опустил стекло, будто хотел вдохнуть воздух города, оглядеться, и, не заметив меня, что-то пробормотал, закурил. Огонек спички осветил его голову, как если бы она была отрублена. Когда шум грузовика затих, где-то на второй или третьей улице, я пошел назад, к этому Риму.

— *Вы меня не слушаете. Я спросил вас, зачем вы слонялись с места на место, зачем бродили по городу? Была у вас при этом какая-то цель?*

Спустившись по Риму, я вышел к вокзалу Сен-Лазар. Во мраке я глядел на его темные окна, решетки, пустые

залы. Между колоннами сверкали полоски света, белые как луна, как молоко в бидонах — все словно замерло. Даже часы на башенке. И тут, мсье, мне удалось ненадолго вернуть себе Элиану — она окликала меня из окна вагона.

— Достаточно, прекратите. Не станете же вы меня убеждать, не станете же всерьез настаивать, что всего за три месяца так привязались к этой женщине. Несколько недель, согласитесь, срок слишком малый.

В городе, мсье, все быстрее — и люди, и машины, и огни. В городе порой кажется, что все еще можно вернуть, что все можно начать сызнова. Вот я и продолжал свои поиски, упорные поиски. Я пересек очень широкую, прямую как стрела улицу, где на деревьях висели лампочки. Элианы тут не было. Чуть дальше сквозь ворота виднелся сад, освещенный одним фонарем, ярко-зеленая трава, но и здесь — никого. Тогда мне захотелось вернуться туда, где она жила, в восточную часть города.

— За такое короткое время, согласитесь, трудно по-настоящему разобраться в своих чувствах. Вот я, например, только через несколько лет, даже через много лет, осознал, как дорога мне жена. Это случилось во время путешествия. За границу. В Грецию.

Город стал темнее, таинственней. Наконец я добрался до плохо освещенной безлюдной улицы — улицы с узкими тротуарами, мусорными баками, рядами машин. И вот тут, мсье, мне наконец удалось ее вернуть. Она шла рядом, говорила, рассказывала, а я слушал. Счастливый. Точно мы шли домой. Я притрагивался к дверям, к стенам, к порванным афишам, к деревьям, как будто ко мне должно было вернуться все, все, что я знал,— дерево, камень, платье Элианы, иголка, которая, как всегда, потерялась,— все наши три месяца.

— И не станете же вы убеждать меня, что в течение этих трех дней, отделяющих несчастный случай от того, что произошло затем, вы только и делали, что бродили по городу. Заходили же вы куда-нибудь, с кем-нибудь разговаривали?

На следующий день, в ожидании пока город уснет, я зашел в кафе, выпил, перекусил, пристально глядя в окно, как раньше, как в самом начале, точно она в своем паль-

то с капюшоном вот-вот должна была появиться и перейти улицу среди машин и зонтов. Потом прямо из кафе я направился в сад, хотел уснуть, забыться в дневном городском шуме. Когда я проснулся, я увидел ветви над своей головой. Листва напомнила мне Элиану, ее рассказ про орехи, про белку, и на какой-то миг я поверил, что она и в самом деле рядом. Моя рука искала ее на скамейке. Но тотчас, почти в ту же минуту, я увидел себя на ферме — будто я уже вернулся, будто никогда и не уезжал. И почувствовал себя несчастным.

— *Вот я слушаю вас, мой друг, и не перестаю удивляться. Вы, кажется, не отдаете себе отчета в том, как вам повезло. Работа, регулярный заработок, социальное страхование — у вас было все необходимое, даже жилье. Не кажется ли вам, что многие на вашем месте были бы счастливы это иметь?*

Позднее, ночью, машины стали реже, погасли витрины. Я очутился у здания банка. Его окна были забраны металлическими прутьями, лампы, невидимые отсюда, освещали зал — кресла, объявления на стенах, барьер с решеткой. Прямо как в церкви. Я долго все разглядывал, точно это был аквариум с рыбами, дивясь, зачем это там оставили свет, как будто круглые сутки идет служба. На другой стороне улицы находился огромный многоэтажный магазин с множеством витрин. Я прочел название: «Прентан». Во всех окнах, в полутьме, виднелись женщины — женщины сидели, женщины стояли, кто с сумкой, кто с зонтиком, женщины протягивали руку к шкафу, одна к стиральной машине, другая к холодильнику. Женщины были в передниках, в платьях, в пальто или почти безо всего. А дальше в одной из витрин, неподалеку от кучи строительного мусора, сваленного на тротуаре, расположилось на пляже, за столом, накрытым белоснежной скатертью, целое семейство — отец, мать, двое ребят. Казалось, они о чем-то мирно беседовали в тени зонта, держа в руках стаканы, чему-то смеялись.

— *У вас были такие преимущества, и вы тем не менее стремились уехать. Нет, этого я просто не понимаю.*

Глядя на них, я почувствовал, что сыт всем этим по горло, что мне хочется выхватить из кучи строительного мусора какую-нибудь железяку и швырнуть ее в это окно, в это стекло, в эти платья, в это семейство, в этот песок и картон. Швырнуть с размаху, чтобы все разлетелось вдре-

безги. Швырнуть просто так, от злости. Как швыряют мальчишки. Я поднял кусок железа, размахнулся, но, подойдя к витрине, ко всем этим женщинам, которые старались держать в порядке дома, шкафы, не смог, рука не поднялась. И я кинулся бежать, как будто кто-то указывал на меня пальцем. Я бежал по улице, на которой был банк. Быстро, никуда не сворачивая. В конце улицы я увидел дом, такой же большой, как вокзал, только у него была круглая, точно яблоко, крыша, широкие лестницы, множество каменных статуй, колонны, балконы. И перед ним — площадь, почти квадратная.

— *Вы имеете в виду Оперу?*

Я ощутил на кончиках пальцев землю, следы, оставленные куском железа, и тут, как будто нарочно, чтобы осветить эту Оперу, на небе справа забрезжил розовый свет, заря. Заря, которая тихонько приближалась в своем светлом уборе, словно невеста. И тогда, мсье, мне как-то сама собой вспомнилась ферма, горы, все то, что ежедневно открывалось взору с моего порога, за деревьями, за ближней долиной. Вспомнилось все, что приходило ко мне там поутру, с первым вдохом после пробуждения — блеяние козы, пофыркивание лошади,— и тут я окончательно понял, что Элианы нет, что она умерла и никогда не вернется. И как только появились на улице первые машины, я спустился в метро.

— *И вот чего еще я никак не могу понять — откуда у вас это странное стремление видеть вещи не такими, каковы они есть.*

Мне хотелось одного — затеряться, исчезнуть, как она. Только и всего. Раз и навсегда забыть о городе, о машинах. Вот я и ездил целый день в тоннелях метро, сам не знаю куда, пересаживался с поезда на поезд, из вагона в вагон, кружа под городом, точно крот, и меня все время мучила мысль, зачем здесь, внизу, столько народу. Словно я сам был уже не здесь, словно смотрел со стороны на все эти коридоры, длинные, как улицы, на лестницы, переплетавшиеся, как ветви. Иногда передо мной мелькало что-то вроде перекрестков с магазинами, огнями, статуями. Иногда — эскалаторы, ковры-самолеты, на которых каждый мог уехать, унестись без малейшего усилия, точно во сне. И все это время я старался припомнить, что было с нами наверху, в той, другой жизни. Гамбетта, Бастий, Репюблик, Пер-Лашез, Лила. Каждое название о чем-ни-

будь мне напоминало — Барбес, Шапель, Фурш, Баньоле, Итали,— красный крестик в ее записной книжечке. Биржа. Рим.

— А ведь Париж — прекрасный город, столица, одна из самых красивых столиц на свете.

Поезд десятки раз нырял под реку, над нами была тина, рыбы. А однажды мы даже проезжали, если верить путеводителю, под кладбищем. Под кладбищем Монпарнас. Под могилами. И я сразу после станции Распай припомнил тишину, камни, влажную землю. Я подумал, что, будь я там, наверху, вместе с Элианой, нам обоим было бы спокойно. И поэтому, когда чуть дальше, в том месте, которое называется Пастер, вагон внезапно вырывался из тоннеля на большой мост, переброшенный над улицей, над машинами, мне померещилось, будто я вернулся откуда-то издалека. Тут, наверху, мне померещилось, будто я мертвец, выходец с того света, который глядит вниз, на другой мир, на другую землю, на ребятишек, выходящих из школы, на фонари, на трехцветные огни на перекрестках, на поток машин, на освещенные витрины, на красные сигары в окнах кафе, на людей, бегущих во все стороны, торопливо, точно они обезумели, точно где-то рядом разорвалась бомба, стреляют из пулемета.

— Столица, которую посещает немало иностранцев.

Оттуда, сверху, мне чудилось, что все они только и думают, как бы поскорей пересечь улицу, пересечь где угодно, преодолеть барьер машин и спастись, да, именно спастись; а по обе стороны от моста, в комнатах и кухнях, из-за скорости вагона люди, наоборот, казались неподвижными, окаменевшими, застывшими, точно восковые манекены в витрине — мужчина, сидящий в кресле с газетой, мальчик, пишущий что-то в тетради за маленьким столиком, женщина у полки с протянутой вперед рукой, семья, уставившаяся на разливательную ложку в кастрюле с супом. Ну в точности как в витрине, тысячекратно повторенной. И все они, мсье, были похожи на мертвецов, будто они жили давным-давно, но город засыпало пеплом и все они задохлись от газа, не успели убежать. И тогда, мсье, мне там, наверху, на мосту, снова подумалось, что, хоть в городе и полно огней и машин, он, возможно, просто песок. Песок и картон. И больше ничего. И Элиана показалась мне еще более далекой, утерянной безвозвратно.

— Столица свободного и процветающего государства — не забывайте об этом.

Под конец поезд прошел над рекой. Она поблескивала внизу. Повсюду мерцали огоньки. Совсем далеко, среди освещенных церквей я различил тот мост, где впервые встретил Элиану. Сверкая белизной, он висел в небе, словно кусочек луны. Словно убегал вдаль, превращался в корабль. Но тут поезд нырнул в тоннель. Через четыре или пять станций я вышел из вагона на платформу, прямо передо мной большие руки женщины мыли посуду. В чем-то синем. Я немного вздремнул под этой синевой. Потом меня разбудил звонок, как в кино,— все закрывалось. Я поднялся наверх по узкой лестнице. Вышел из-под земли. Как шахтер.

— И затем?

XIII

Наверху, мсье, я даже замер от удивления. Уже наступила ночь. Посреди круглой площади ярко светился высокий портал, высокий белый камень, от которого расходилось несколько улиц, сверкавших огнями, разноцветными огнями, точно в праздник. Я был так ошеломлен, мсье, что с минуту глядел издалека, не смея приблизиться. Эти ворота, одиноко высящиеся на своих четырех ногах, этот свет до самого неба, до туч — казалось, тут водрузили исполинскую лампу, чтобы она повелевала городом, освещала его. Время от времени откуда-то издалека появлялась машина и объезжала вокруг ворот.

— Триумфальная арка, площадь Этуаль — странная прогулка.

Точно патрулируя, машина делала круг, и ее огоньки быстро исчезали за деревьями. И почти так же быстро шум машины тонул в другом шуме, более громком, в каком-то непрерывном и ровном гуле, напоминавшем мне пыхтенье мотора в глубоком колодце, пыхтенье мощного насоса.

— Ну и что? Какое все это имеет отношение к тому, что вы сделали на следующий день?

Я приблизился. Между четырех опор я увидел что-то вроде могилы. Язык пламени, цветы, знамя, которое плескалось по ветру. Это было так красиво, мсье, что на миг мне почудилось, будто большие ворота сейчас поплывут, словно плот, так красиво, что, глядя на все это — на прос-

пекты, на освещенные деревья, на большие дома,— я даже поверил на миг, что город, быть может, принадлежит всем, как море, всем на свете.

— *Что за чушь? Разумеется, город принадлежит всем, друг мой,— вам, мне. Всякий волен гулять по нему, где вздумается. Здесь каждый совершенно свободен.*

Дело не в том, мсье, чтобы знать, можно или нет тут прогуливаться. Дело в том, только в том, чтобы знать, кому он принадлежит этот город,— знать, кто здесь командует? Когда мы были с Элианой, мне случалось думать, что он принадлежит всем. Я в это верил. Но если приглядеться, мсье, а ночью многое становится видно, то в действительности город принадлежит не всем, нет, не всем. В действительности, мсье, если приглядеться, видишь, что в городе есть две расы, все равно как белые и черные, две породы. Та, которая командует, и другая. Которая ждет.

— *Вы заговариваетесь. Хватит.*

Во всяком случае, я думал именно так, когда спускался с холма, от этой арки, от огня. Вдалеке, на самой большой, самой освещенной улице, я увидел желтую фару полицейской машины, которая то приближалась, то останавливалась, то снова двигалась, поворачивала направо, налево, точно искала куропатку в зарослях, и, сам не знаю почему, почувствовал себя человеком, забредшим без спросу на соседское поле. Я свернул и пошел по первой улице, по улице Клебер, под деревьями, мимо красивых больших домов, я был тут совсем один и чувствовал себя таким маленьким, мсье, что каждый дом, казалось, бросал мне со своей высоты вызов, и во всех них было что-то жесткое, замкнутое, неодолимое.

— *Еще раз прошу вас прекратить.*

По сравнению с бараком тут была такая чистота, такой порядок, что я показался сам себе жалкой тенью на тротуаре, клочком бумажки, брошенной кожуркой. В каждом подъезде — освещенный коридор, ковер, лестница, рядом — зарешеченный спуск в гараж, а на тротуарах, под деревьями — сотни машин, крылья и бамперы. Машины стояли вплотную, поперек тротуара, словно для того, чтобы помешать проходу, создать ограду, барьер. На следующей улице, поднимавшейся вверх,— опять машины, новые сотни машин. Здесь они стояли по обе стороны, одна за другой. В ночной тьме их крыши казались ступе-

нями огромной двойной лестницы, которая все тянется вверх. Тянется в пустоту. Куда-то, подумал я, в неведомое, в недоступное уму.

— Я скажу вам, куда мы идем. Мы движемся все сообща к новому обществу, да, к новому обществу, дорогой мой. К новому обществу, где будет место каждому. Даже вам.

Я дотронулся до одного дерева, до другого и невольно вспомнил завод, Альбера, его ящики, лошадей, на которых он ставил, отвертку — и тут, мсье, я понял, что та красивая арка и огонь на могиле обманывают, что мы с Альбером мало что значим в этом городе, почти ничего. Не больше, чем поденщик, который переходит летом с фермы на ферму, с одного виноградника на другой. У нас было только право работать, и больше ничего. Больше у нас ничего не было, что говорить. И тогда, мсье, мне вдруг захотелось расколотить эти машины. Пинать их ногами. Ломать. Разбить их, сжечь, потому что они украли у меня все: жену, сына, Элиану, мое представление о себе самом, мое представление о деревьях, о камнях. Все, мсье. Даже лошадь.

— Вот куда мы идем все сообща. И идем большими шагами.

Удержало меня только то, что в эту минуту я опять вспомнил об Альбере — об Альбере и миллионах других, которые, как и я, ждали. О всех тех, что по вечерам выходят с завода гурьбой, точно ребятишки из школы. И я невольно обернулся на те большие ворота, на памятник. И на этот раз, сам не знаю почему, издалека, между двумя рядами зданий, он показался мне похожим на паучье гнездо в глубине коридора. На гнездо паука, который питается мертвечиной.

— Хватит. Вернемся, прошу вас, к сути дела, к вещам серьезным. Для меня серьезные вещи — это факты, понимаете? Только факты.

Я проделал путь до конца. В конце — в конце улицы Клебер — была опять круглая площадь. Только посредине был не такой памятник, как там, а сквер, где стоял человек на коне. Казалось, он движется вперед, к чему-то, что видит перед собой. Я тоже посмотрел туда. Напротив, между двумя громадами, виднелась Башня со своей исполинской лампой. К ней вели две лестницы. Поколебавшись, я выбрал правую. Спустившись и обойдя бассейн, где попу-

сту: лилась вода, я вышел на мост, охраняемый четырьмя конями. Внизу, под ним, текла река.

— *Факты таковы, я сейчас вам их напомню.*

Здесь, во тьме, Башня выглядела такой высокой, что, казалось, она вот-вот раздавит меня, растопчет. Чтобы увидеть ее верхушку, ее острие, мне пришлось задрать голову, точно я искал звезду на небе. Я затерялся между ног Башни, и мне хотелось вытянуться вверх, стать огромным, как она, поднять руки, обе руки к небу. Но тут, мсье, я увидел в кустах, освещенных огромными фарами, лестницу, перегороженную решеткой. Эта лестница напомнила мне метро, переходы, тоннели, все эти пустоты, прорытые под улицами, домами, деревьями, и при этой мысли, мсье, город, как и Башня надо мной, показался мне хрупким, готовым вот-вот рухнуть, развалиться, точно барак. Я вернулся на мост. Вот тут-то, мсье, глядя на черную воду, на то, что она несла, я все понял, все решил. Именно тут, подле коня, в тот миг, когда где-то вдали провыла полицейская сирена.

— *Вот факты, как они зафиксированы в деле. На следующий день, во вторник, третьего, примерно в шесть вечера, вы находились неподалеку от Северного вокзала. Вы зашли в здание вокзала без какой бы то ни было определенной цели. Несколько минут спустя — первый акт насилия. На этот раз, к счастью, не имевший серьезных последствий. Вам удается скрыться. Вы спускаетесь к Рынку по улице Риволи. Мне бы хотелось знать, что произошло в течение этого часа — и прежде всего, зачем вы вошли в здание вокзала, каковы были ваши намерения.*

Я долго шел и наконец наткнулся на него. Он стоял в глубине улочки и был похож на все другие вокзалы, которые я видел раньше,— на тот, куда я прибыл, на тот, где встречал Элиану. Я приблизился, у меня не было определенных намерений, точной цели. Накрапывал дождь, и в голове у меня стояли названия всех тех станций, где ветер, песок, дюны. Вокруг во все двери входили и выходили люди, а я неотрывно думал о том, что решил на реке — теперь уж город скоро меня оставит, как оставила Элиана. Теперь уж недолго ждать. И вдруг на тротуаре я увидел какого-то человека — человека с чемоданом. Он как будто высматривал что-то под дождем, озирался

по сторонам, разглядывал других пассажиров, автобусы, огни, женщину с афиши, ту, которая лежала на пляже. Я сразу догадался, что сейчас он подойдет ко мне и спросит дорогу. И тогда я убежал. Да, убежал.

— *Почему?*

Сам не знаю. Может, потому, что теперь я стал горожанином. Злым. Я убежал в здание вокзала, затесался в самую гущу людей, в стадо, в многотысячную толпу. Я хотел спрятаться. Я шел, как и все, прокладывал себе путь локтями, толкаясь и пихаясь — чтобы причинить боль, чтобы добраться первым: ведь это город, мсье. И люди здесь всегда бегут, точно удирают от пожара, спасаются — в метро, на автобусах, на машинах. Бегут через все двери. А назавтра, как муравьи, возвращаются обратно. Каждый в свою ячейку. Каждый в свою дыру. А я больше не хотел.

— *Чего вы больше не хотели?*

Не хотел больше быть злым. Я хотел уйти с вокзала, уехать — я искал дверь. Но все мне мешали. Точно в отместку за то, что я хотел от них уйти, они все надвинулись на меня, встали стеной, преградили мне путь, принялись толкать меня из стороны в сторону. Тогда я в остервенении отпихнул одного из них и убежал. В другую сторону. В глубь вокзала.

В темноте разбегались во все стороны, скрещивались пути, стояли вереницы пустых вагонов, какие-то решетки, мигали красные и зеленые огни. Но на этот раз я очутился внутри всего этого, как пленник. В конце концов уже далеко, за красным глазом, я набрел на большой железный мост. По нему мне удалось выбраться из рва, за ограду. Добравшись до улицы, я даже не обернулся назад, я действовал, как человек, который удрал из тюрьмы и пробирается домой. Я смешался с толпой, с машинами, свернул вправо, влево. И вскоре очутился на людной улице с множеством машин, на улице с узкими тротуарами.

— *На улице Сен-Дени?*

И тут тоже, чтобы пройти, приходилось толкаться, протискиваться, причинять боль людям. В толпе — у дверей, перед кафе,— стояли женщины, стояли тесными рядами, как на рынке. Они мне улыбались, когда я проходил мимо, предлагали зайти, подняться к ним, а рядом с тротуаром, точно желая прикоснуться к этим женщинам, змеей ползли машины, десятки машин. Поблескивая фарами, воняя

бензином, они лениво двигались вперед, останавливались, точно выбирали, какую женщину раздавить — ту или эту, в красном платье или в черном?

— *Прошу вас, не отвлекайтесь от сути дела. Итак, вы спустились по улице Сен-Дени. Что было потом?*

Случайно я задел одну из них, я дотронулся до радиатора. Он был горячий. Как кошка. Я и сам, мсье, не подозревал, что у меня на уме. Я сжимал в кармане нож. Он напоминал мне Элиану, орехи, дощечку, которую нужно обтесать. Ферму. Хоть с виду это и не было заметно, но я все еще удирал.

— *Допустим. Вы, следовательно, добрались с вашим ножом до площади Шатле?*

С одной стороны, справа, было что-то вроде кино, колонны, ступени, на афишах, висевших по обе стороны лестницы, я увидел большую белую лошадь с повернутой головой. Вокруг нее — горы. Эта лошадь была похожа на мою, и я глядел на нее, словно все еще стоял там на мосту ночью, когда решил уехать. Потом мне захотелось вернуться к Центральному рынку. Там пахнет овощами, этот запах притягивал меня, как какая-то защита. Я попытался перейти улицу. И вот тут, мсье, все и случилось, как раз когда у меня на уме были только мост, река.

— *Вы выхватили нож.*

Я услышал вдруг оглушительный гудок и ощутил удар. Она стукнула меня крылом. Я, должно быть, отскочил, попятился. Но машина, мсье, огромная блестящая машина, вместо того чтобы обождать, снова яростно загудела. И в тот же миг повернула на меня, нарочно, будто хотела задавить и меня, как Элиану. И тогда я, не помня себя, выхватил нож. Чтобы защититься, мсье, только для этого. Но она все равно перла на меня, она хотела меня ранить, как разъяренное животное, как бык. И тут я бросился на нее с ножом. Я колотил куда попало. В крыло, в фару, в радиатор. Бил, бил.

— *С какой целью вы это делали?*

Бил, бил. Но я сразу понял, что она сильнее меня, злее. Она зажгла свои фары, еще громче загудела мотором, оттолкнула меня в сторону, к краю, точно я был ничто, дрянь, мусор. А потом, сверкнув красными огнями, уехала. Удрала.

Когда я обернулся, рядом уже была другая машина — такси. Шофер в своей коробке, не отнимая руки от клак-

сона, кричал мне что-то в окно. И так как рука с ножом уже была занесена, я снова ударил, не глядя. Всего раз. И, только увидев его широко раскрытые глаза, я понял, что город и у меня отнял рассудок. Я удрал, кинув нож,— мой нож для яблок, для орехов.

— *Свидетели показывают, что, когда вас нагнали и сбили с ног, у вас был такой вид, словно вы что-то искали. Обезумевший вид. Что вы искали? Нож?*

Когда меня сбили с ног и я ударился головой о тротуар, мне показалось, что город наконец уходит из меня, как кровь,— город, метро, завод, барак. Все растекалось вокруг, как лужа, как грязь. И в ту же минуту я увидел среди туфель и ботинок свою руку, которая шевелилась на асфальте, тянулась к лавке зеленщика. Рвалась туда, к чему-то маленькому — к крохотной, раздавленной вещи. К дольке апельсина, кажется.

«Убейте меня,— закричал я,— убейте!»

— *Таковы, значит, ваши мотивы?*

Потом, все еще лежа на каменных плитах, я услыхал, как приближается полицейская сирена. Она завывала где-то там, вдали, и я тотчас вспомнил другую сирену, ту, что слышал прошлой ночью у реки и Башни, когда принял решение. Я лежал тут, на плитах, среди ботинок, люди кругом кричали, и, пока сирена прокладывала себе путь ко мне, передо мной прошли снова — белая церковь на холме, большие освещенные ворота, лестницы машин, Башня, кони на мосту. Я снова был, мсье, на том мосту, над черной водой, я был один, без Элианы, и слышал, как приближается сирена.

— *Никаких других мотивов у вас не было? Вы на этом настаиваете?*

Хотя Башня была совсем рядом, звук сирены доносился откуда-то очень издалека — с окраины, из пригорода, из всех этих лачуг, общежитий, бараков, расставленных там, как часовые на страже величия города, из всех этих мест, мсье, похожих на лагеря, где нет никакого порядка, нет никакого уважения — ни к человеку, ни к самой земле,— где трава растет между ржавыми листами кровельного железа, дети — среди металлического лома, среди гвоздей, где все вперемешку, как будто город и машины, мсье, не могут обойтись без этих свалок, без этой заразы.

— *Все это, впрочем, ничего не объясняет. Ровным счетом ничего.*

Сирена, казалось, бежала вдоль реки, люди вокруг меня все еще кричали, и вдруг я увидел, как вся эта мертвечина, вся эта чернота надвигается на город: бесшумно прут, подчиняясь вою сирены, доски, листы кровельного железа, картона, они наступают по большим проспектам, по площадям, вдоль красивых домов, просачиваются все так же бесшумно между банками, магазинами, гаражами, взвихряя вкруг себя мусор, стукаясь о деревья, о столбы, время от времени подхватывая и унося вместе с бидонами и поломанными дверьми новенькую машину, сверкающую, как алмаз.

— *Как бы там ни было, дело, на мой взгляд, вполне ясное.*

Все это, мсье, растекалось по улицам, как грязь, как речка, переполненная заводскими отходами, и только местами, точно в паводок, выныривала, качаясь на волнах, какая-нибудь кровать, сломанный шкаф или мелькала рука с большим пустым чемоданом, поднятая над головой, и вдруг все разом хлынуло к большой реке — по улицам, по тротуарам, по лестницам мостов неслись в беспорядке вещи, сталкивались, подпрыгивая, как в водопаде, и лишь иногда вздымались над волнами ворота. Гигантские ворота, похожие на памятник, и створки их минуту спустя захлопывались над черной водой.

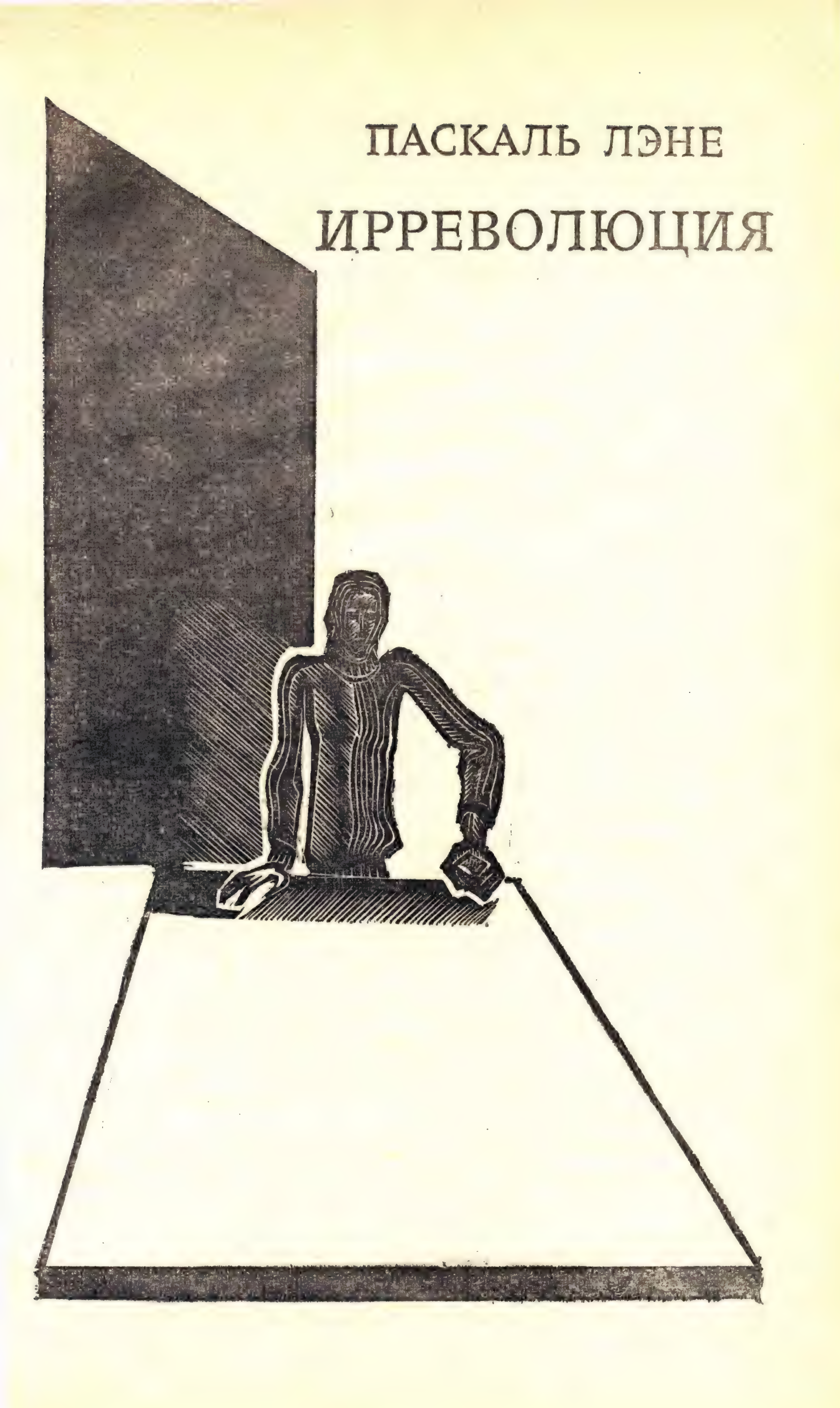
— *Дело, в общем, достаточно заурядное.*

Сирена затихла подле меня, река все быстрее несла во тьме доски, кровли, обломки шкафа, новые машины, труп большой лошади. Потом все в одно мгновение затерялось где-то под мостами, исчезло среди развалин домов, среди башен, памятников, но из мрака накатывали новые волны, мужчины и женщины, забравшиеся на крыши бараков, уцепившиеся за бидоны, дети, уснувшие на полочках, тысячи людей, которые били ногами, чтобы не утонуть в потоке, гроздьями висли на камнях набережной, хватались за кольца — точно им нужно было во что бы то ни стало зацепиться здесь. Точно расстаться с городом значило для них умереть.

А я стоял наверху, у парапета, и смотрел. Смотрел, как на что-то заурядное. Так глядят с моста на пену из канализационных стоков, на отбросы с бойни, которые уносит стремительная черная вода.

«Убейте ее,— повторял я,— убейте».

— *Можете увести обвиняемого.*


ПАСКАЛЬ ЛЭНЕ
ИРРЕВОЛЮЦИЯ

ПЕРЕВОД Л. ЗОНИНОЙ

РЕДАКТОР Е. БАБУН

Автор заверяет, что события, изложенные в повести, место действия и персонажи, здесь описанные,— вымышлены, всякое сходство с реальными фактами, а также с реально существующими или существовавшими людьми, начиная с самого автора, является случайным совпадением.

Я попросил их оставить за мной этот номер на следующий приезд, и на все дальнейшие приезды. Не то чтобы комната блистала красотой, да и места в ней маловато,— чемодан пришлось водрузить на биде. Если бы я осмелился, я пододвинул бы стол ближе к окну, к свету, так я и сделаю, разумеется; работать я смогу, сидя в изножье кровати и подсунув под себя подушку, чтобы было повыше. А на освободившийся стул поставлю чемодан, тогда в биде можно будет уложить книги.

Конечно, окна я уже открыть не смогу, но это и не важно; там, на улице, все равно слишком шумно. Поэтому-то, наверно, в окна и вставлены двойные рамы. Между стеклами лежат засушенные веточки герани, и их мертвые листья то и дело подрагивают.

Сегодня утром я сел в поезд на Северном вокзале. Поездка не лишена приятности. Сначала долго тянутся бурые пригороды, мешанина домишек из кирпича и песчаника и среди них вдруг, как пощечина,— белое здание вокзальчика; серым размазанным штрихом мелькнут два-три пассажира на платформе, за стеклом купе, по которому уже ползет капелька, следом за ней другая, и вот все оно исполосовано причудливыми зигзагами. А дальше врываются поля, разбросанные, зажатые между селениями, быстро сменяющими друг друга. Бегут клочки садов, из-за скорости их перспектива словно кривится. Поезда ходят слишком быстро. Скорость пожирает пейзажи скопом; в особенности дробные: сады, газоны, курятники, дорожки, посыпанные гравием, приятно, наверно, было бы послушать, как он скрипит под ногами.

В этой комнате мне неплохо.

На кровати пышная перина, я растянулся на ней, слился с этим огромным пуховым животным, с этим дремотным теплым лоном и наслаждаюсь собственной невесомостью. На стене, против кровати, блондинка с фиолетовыми гу-

бами и салатной зеленью глаз выставляет напоказ желтоватую грудь, оттененную темно-розовым: это плохо раскрашенная фотография, напоминающая старые почтовые открытки, где солдат в голубой шинели делает вид, что целует толстую рыжую девицу, которая изображает Эльзас-Лотарингию: «Твой томный поцелуй дарит мне пламя, я к подвигу готов на поле брани!»

Мне было, вероятно, лет восемь (в тот год я полюбил до гроба девочку и до сих пор храню ее белокурые шелковистые локоны, как нежные клятвы, иссушенные прикосновением моих пальцев), когда я обнаружил в одном из бесчисленных стенных шкафов, этих домашних темниц, коробку из-под обуви, заключавшую в себе древнейшие следы моего племени: там были письма, выведенные каллиграфическим почерком, лиловыми чернилами, карманные часы, которые можно было заводить без конца, так много лет предстояло им нагнать, овальные фото, где лица проступали точно сквозь запотевшее стекло, голубоватый эмалевый медальон с изображением девы Марии и такие вот почтовые открытки, датированные 1916 годом. В течение нескольких месяцев я мечтал стать солдатом и пытался представить себя в мундире двоюродного деда, прорвав туман времени и пожелтевшего забвения. И прижимал к щеке волосы своей прелестной подружки, которую уже не встречал после каникул.

Я попросил их оставить за мной этот номер на следующий приезд; и на все дальнейшие приезды. Не то чтобы комната блистала красотой; чемодан пришлось водрузить на безрадостную наготу биде. Если бы я осмелился, я снял бы одну из этих тяжелых плюшевых гардин цвета охры (в самом ли деле этот плюш так тяжел, или они отяжелели из-за накопленной пыли и грязи?), чтобы прикрыть ею это зияние в ногах моей кровати, этот бледный сосуд забвения, где завершаются в мыльной пене мимолетные дорожные экстазы, здесь, за грязными гардинами, в ста пятидесяти километрах от Парижа. В ста пятидесяти... Поистине на краю света!

Нет, комната не блещет красотой; но, если я в ней останусь, мои ноздри и кожа, может, перестанут в конце концов ощущать этот холод, плесень, пятнами, кругами расползшуюся по обоям, противно висящую в воздухе. Лучше уж не знакомиться с иными следами сырости, которые, должно быть, змеятся в соседних комнатах: если

мне сразу предложили именно эту, значит, есть на то причины.

Я, сколько помню себя, всегда страдал от холода; может, потому, что мои родители были уже почти стариками, когда зачали меня: в эти седые головы, которые я, к счастью для себя, долго считал бессмертными, взбрела идея иметь ребенка, чтобы завещать ему свое состояние, сделавшееся для них чересчур большим, точно одежда, которая стесняет движения, болтаясь на теле, усохшем под воздействием лет, комфорта и скуки. Денег у них было много, но тепла уже не хватало; им недоставало жизни, которую они могли бы мне передать. Я это ощущаю физически.

Сегодня утром я сел в поезд на Северном вокзале. Поездка была не лишена приятности. Час или два в поезде, поверьте, неплохая подготовка к слиянию с пейзажем, с унылым речитативом жилых массивов, с широкими, слишком широкими улицами, каменистыми, как русла высохших рек, где застряли машины. Поезд отчасти защищает от этой ужасной неподвижности. Но потом, мало-помалу он сам замедляет ход, и вот ты уже один среди пустыни, на перроне вокзала, где ты бросил якорь своего чемодана.

Рамы в окнах двойные, потому что комната на втором этаже, а под ней шоссе. В этом месте шоссе именуется улицей Восьмого Октября. Грузовики поддают газ и со скрежетом переключают скорость, выжидая при красном свете, как раз под окнами гостиницы, пока пешеходы перейдут улицу; но никто не переходит. Мои двойные стекла дрожат в рамах, как расшатанные зубы.

На кровати пышная пуховая перина, и я вяло разжижаюсь в ней. Я соберу себя, когда подойдет час ужина. Какое же нужно мужество, чтобы жить! Спуститься по лестнице, сесть. Да, сесть и жевать. Но в данный момент мне, чтобы существовать, нужно только раствориться в анестезирующей толще перины, и я поджимаю под себя ступни, чтобы не ощущать грохота улицы, который передается большим пальцам через дерево кровати.

На стене, против кровати, висит натюрморт. Это скверное цветное фото, кроваво-красное и салатно-зеленое. Я попросил их сохранить за мной комнату на следующие

приезды, несмотря на этот овощной прилавок, от которого меня мутит; если бы я осмелился, я перевернул бы его лицом к стене.

Впрочем, не вижу, почему бы мне так не поступить. Разумеется, потом каждую пятницу, перед тем как вернуться в Париж, придется наводить порядок. Или платить полностью за всю неделю. Тогда у меня будет в Сотанвиле свое жилье. Но это слишком дорого.

Разве что я и взаправду осяду в Сотанвиле. Я мог бы взять номер с ванной комнатой и прочими удобствами. Это было бы логично, коль скоро я работаю в городском техникуме. Со временем я сниму квартиру, обставлю ее, буду по вечерам приглашать друзей. Пока еще не знаю кого. В общем, у меня будет своя нора.

Своя нора — жуткое выражение! Но точное. Завести свою нору, например, под одним из этих огромных могильных камней стандартной застройки при выезде из города. Пожалуй, я предпочитаю все же гостиницу; не желаю пускать слишком глубокие корни.

У меня давно выработалась привычка как-то скользить по поверхности и вещей и мест; с тех самых пор как я покинул квартиру со стенными шкафами-темницами, в которой родился. С тех пор тянется исход. Для меня было бы лучше, если бы я покинул ее раньше; в тот день, когда нам пришлось с ней расстаться второпях, поскольку после смерти отца мы оказались без денег, я оставил там больше, чем детство,— я оставил там корни; как растение, выдранное из земли слишком поспешно или чересчур поздно, когда оно уже выросло—в руках оказался только стебель. Еще и сейчас случается, что, проснувшись, я не сразу прихожу в себя после ночи, проведенной там, и ищу свет — свет лампы или окна — в той стороне, откуда он шел там, откуда должен был бы идти.

После этого великого отрыва вместе со мной утратило подлинность и все остальное. Прежде ничто никогда не менялось; каждая скатерка, каждый стол или кресло обладали всей полнотой бытия, потому что не двигались с места. И я тоже. Но теперь я знаю, то есть знаю по-настоящему, на собственном опыте, что вещи и люди меняют места; и это ужасно, потому что именно так они умирают. С той самой минуты, когда я расстался со своей квартирой, я знаю, что скоро умру.

Сотанвиль распластался на обширной площади. Это большой дряблый город. Не город, а беспорядочное сплетение улочек, расколотое, раздробленное стекло.

Когда впервые проникаешь в это расплывшееся бескостное тело, в это неопределенное пространство, усеянное жалкими домишками, ищешь с невольной тоской, где же сам город. «Центр» — это площадь Ратуши, здесь магазины, кафе; а также Лилльская улица, спускающаяся к улице Восьмого Октября, то есть к шоссе, к пригородам, где красные домики постепенно разбредаются, отходят все дальше один от другого, прячутся мало-помалу в садиках, а вскоре и вовсе только всплывают кое-где, словно островки, затерянные среди возделанной равнины.

Фасад, витрина Сотанвиля — главная площадь с театром и рестораном «Глобус». Именно туда вас единодушно отсылают стрелки с надписью: «Центр города». А дальше начинается скука; она просачивается между плохо пригнанными домами и сквозь щели брусчатки, прорастает, как сорная трава, на утрамбованной земле тротуаров; выстраивается на крышах вереницей то прямых, то скособочившихся антенн. Скука — это недавний дождь, застывший лужами в выбоинах шоссе; это заляпанные грязью стены. Это белье на балконах, секомое ветром. Скука — это взгляд, который приподымает тяжелые веки гардин и тотчас прячется во мрак, едва случайно столкнется с моим взглядом.

Вечером, после семи, городом в любое время года овладевает зима. День прячется за тучами; закрываются магазины, лязгают запоры. Пора возвращаться домой, так как по улицам бродит ночь; жирная, властная ночь, которая обрушивается на спину запоздалого прохожего, вонзает свой хищный клюв ему в затылок.

В Сотанвиле слишком широки даже переулки. В них болтаешься, как ступня в незашнурованном ботинке. В вечер моего приезда на набережной, вдоль канала, раскинула свои балаганы ярмарка; в тот первый вечер я укрылся в успокоительно теплый хаос, в оглушительный шум у стендов, выкрики, ружейную пальбу, в тарахтение электрических автоматов, в запах жареной картошки и керосина.

Я боюсь одиночества: от него сводит нутро; я точно отравлен своей собственной субстанцией, своей немотой; мне необходимо, чтобы вокруг были люди, все равно какие, но люди, которые шумят, толкают меня, возвращают к жизни.

Я стрелял из карабина в тире: целиться нужно было в кнопку аппарата, при попадании он тебя фотографировал; я сделал две-три попытки, но безуспешно. Парень из тира орал над ухом, обещая, что следующий выстрел обязательно будет удачным, это мешало мне сосредоточиться. Рядом со мной стояла девушка, она смеялась, глядя на мои старания.

Я потом заговорил с ней, так как видел, что ей самой хочется со мной поговорить: не сделай я этого, я после упрекал бы себя, что упустил случай нарушить молчание. Пусть она и была уродлива и раздражала меня своим смехом; впрочем, тогда еще не раздражала. Раздражаться я начинаю позже и обнаруживаю оспины на лице, желтизну кожи, слишком длинный или слишком толстый нос, жалкую улыбку, похожую на гримасу; обнаруживаю подчас, что ласкаю ноги со вздутыми венами, огромные костлявые колени; и грызу себя за собственное отвращение, за то, что чувствую себя униженным.

Итак, я заговорил с девушкой, я еще мог себе это позволить, поскольку никто меня здесь не знал; я понимал, что позднее, несколько дней спустя, уже не осмелился бы на это; но пока я был еще не преподаватель философии в техникуме, а просто проезжий; я был и взаправду проезжий, и не только для себя самого. И поскольку я был проезжий и нестерпимо боялся одинокого ужина и одинокой постели; поскольку я, как всегда, боялся; больше, чем всегда; и поскольку рядом был канал, а коричневая, мертвая вода каналов вовлекает меня в медлительный ток своего одиночества, усугубляя мое собственное, мне более, чем когда-либо, хотелось, чтобы девушка осталась со мной, чтобы она уделила мне капельку своей жизни, своего тепла, своего дыхания на то время, которое отделяет меня от завтрашнего дня.

На севере города высятся бетонные башни нового района. Тут господствует вертикаль. Бурая краснота кирпича уступает место серости стандартных блоков, но и здесь

тот же беспорядок и небрежность. Дома вырастают где попало, каждый со своим холмиком строительного мусора.

Здания техникума, напротив, стоят, выстроившись по ранжиру на площадке, усыпанной голубоватым щебнем. Входишь в ворота решетчатой ограды, шагаешь метров пятьдесят по широкой аллее, окаймленной газонами, добираешься до крытого перехода, который соединяет собственно техникум, слева, и административный корпус, справа. За переходом — широкий двор, тоже окаймленный ухоженными газонами, он отделяет учебный корпус от гимнастического зала, мастерских и большой аудитории. Во всем чистота, подтянутость.

Нижний холл Факультета, лестницы, коридоры напоминали заброшенный огород. Пол был усеян бумажками, точно очистками. Хватало, впрочем, и очисток. Снаружи, перед входом, на квадратной лужайке валялись парни и девушки. Казалось, они пришли сюда позагорать или просто погреться на солнце; но солнца не было, хотя май был на исходе. Я разыскивал свою «генеральную ассамблею», спрашивая направо и налево у ребят, которые спорили и жужжали в коридоре, скучившись небольшими группами.

Вид у всех был необычайно деловой, даже у тех, кто одиноко торчал посреди холла или на лестнице; а я блуждал. Может, и другие тоже блуждали; может, они не двигались, потому что не знали, куда идти. Но я не был в этом уверен. Зато про себя я знал точно: я блуждаю.

К тому же я сильно опаздывал. А я опаздывать не люблю; приходится подталкивать и распихивать минуты, охваченные паникой, чтобы расчистить в этой давке проход к нужному часу. Но в данном случае нужный час был уже позади; и я блуждал в толпе людей и мгновений, шатавшихся взад-вперед, не замечая меня. Я был уже лишним. Если бы на меня обратили внимание, сразу стало бы ясно, что я лишний. А мне показалось, что на меня начинают обращать внимание, и теперь я думал, как бы смыться. Только незаметно; что подумают обо мне, если увидят, что я ухожу, вот так, даже не поговорив ни с кем, после того как я обошел все коридоры, рассматривая всех и каждого, точно соглядатай, точно какой-то шпик? Последние несколько дней как раз не было конца разгово-

рам о провокаторах и шпиках, просочившихся, как полагали, повсюду. Все выходы из здания были перекрыты, кроме одного, где стояло несколько парней в касках мотоциклистов, которые следили за входящими и выходящими. Было очень жарко, или, вернее, мне было очень жарко и ужасно хотелось уйти. Но я не мог, потому что боялся пройти мимо этих типов у входа, хотя у меня и был студенческий билет.

Потом я увидел товарищей, тех, кого искал,— они выходили из аудитории. Я спрятался, чтобы не встретиться с ними.

Техникум казался пустым; все, должно быть, собрались в большой аудитории. Тогда я еще не знал, что это и есть огромный слепой корпус в глубине двора, справа. И я искал, блуждая по коридорам техникума; я опаздывал, и чем больше я торопился, тем быстрее бежало время, казалось опережая меня; это было немного похоже на те сны, в которых из кожи вон лезешь, задыхаешься и никак не можешь преодолеть чего-то, в чем увязаешь.

Через несколько минут я вернулся обратно во двор; и тут увидел людей, выходивших из большой двери слепого корпуса. Я подождал в сторонке, пока они пройдут, потом вошел в подъезд. У нижних скамей амфитеатра человек пятнадцать обступили какого-то мужчину, очевидно директора. Мужчина говорил; время от времени он замолкал, оценивая, по-видимому, степень внимания окружающих. Остальные слушали.

Я встал позади него, выжидая, пока он кончит, чтобы представиться. Два или три раза мне казалось, что он вот-вот кончит, потому что в его тоне звучала непререкаемость, сообщавшая почти каждой фразе оборот и весомость заключительного вывода; но заключения из него так и перли; стоило мне набрать воздуха, чтобы заговорить, заговаривал опять он: есть такие люди, которые всегда говорят вместо тебя; терпеть не могу. За душой у них не больше твоего, и говорят они, думаю, только чтобы заткнуть рот другому, то ли в силу своего характера, то ли в силу своего положения, то ли того и другого вместе. Директор меня еще не видел, он даже не знал, что я стою тут, за его спиной, и тем не менее он уже дал мне понять, что я человек маленький, подчиненный, обязанный

ждать, пока мне не будет дано разрешение заговорить — может, это и значит быть начальником, руководителем?

Наконец я сказал: «Я новый преподаватель философии». Он обернулся, поглядел на меня; остальные тоже уставились на меня. Он ничего не сказал.

Но поскольку он некоторое время не отрывал от меня глаз, все еще не произнеся ни слова, и поскольку остальные тоже внимательно меня разглядывали, я подумал, что, вероятно, как-то не так построил фразу, неловко выразился, что, должно быть, существует некая установленная формула, как, скажем, для заявления о приеме на работу, которой я не знаю; это было тем досаднее, что он наверняка заметил мое опоздание. Наконец он проговорил: «Отлично! Расписание получите в моем секретариате».

Он ушел, и тут отношение ко мне стало непринужденнее. Кто-то пожал мне руку, назвав свое имя, которого я не запомнил, потому что никогда не запоминаю имен с первого раза. Я приободрился. Тут же на длинном столе, накрытом впритык двумя скатертями, белой и клетчатой, стояли бутылки и бокалы. Высокий парень в сером рабочем халате протянул мне бокал со словами: «Игристое, и недурное!» На миг у меня мелькнула мысль, что бутылки и бокалы здесь, быть может, по случаю нового преподавателя, то есть меня, а я явился с запозданием. Но я без труда убедил себя, что такое предположение неразумно. Поэтому я спросил, указывая на стол: «У вас так каждый год?» «Нет,— ответил мне парень в сером рабочем халате,— дважды в год».

Избыток новых предметов и людей всегда повергает меня в неописуемое смятение. И тогда, чтобы не поддаться панике, не броситься наутек от имен, лиц, мест, я отворачиваюсь, говорю себе, что разберусь во всем позднее, и концентрирую внимание на стене или потолке, на собственных ногах или ногтях; или на сигарете, принимаясь яростно затягиваться,— таков предел спокойствия, доступный мне.

Когда я попадал в новое положение, в новое место, мне всегда требовалось по меньшей мере несколько дней, чтобы умиротворить свое восприятие, сориентироваться, начать узнавать людей; отличить важных от неважных, хороших от дурных. Впервые такого рода паника овладела

мной, когда я на двенадцатом году попал в адскую топографическую головоломку своего первого лицея с его лабиринтами коридоров и лестниц, разбегавшихся во все стороны; особенно мучили меня кабинеты естественных наук и рисования, куда приходилось добираться по несуразным винтовым лестницам. Товарищи, разумеется, надо мной насмехались.

С тех пор я научился стискивать челюсти и ценой огромного внутреннего напряжения прятаться за некой маской отрешенности. Я стараюсь выдать свое паническое оцепенение за безразличие; лучше уж выглядеть несколько рассеянным, скучающим, пусть даже высокомерным, только не показать, что растерян. Это позволяет быть невнимательным и скользить по лицам пустым взглядом, точно стоишь на балконе, облокотясь на балюстраду, и созерцаешь далекий горизонт.

Теперь надо мной больше не смеются; как раз напротив: мое деланное невнимание смущает окружающих. Они из кожи вон лезут, чтобы я признал их, как сейчас этот парень в сером рабочем халате.

Он представился; говорил мне всякие любезности, а я меж тем глядел поверх его правого плеча, поверх левого, за его спину, в никуда. Когда мне случалось встретиться с кем-нибудь глазами, я тотчас отводил взгляд, устремляя его в глубь зала. Наконец, поскольку тип в сером рабочем халате не переставал делать мне авансы, я удостоил его ответа. Скупого. И раз уж он был в разговорчивом настроении и хотел, чтобы я непременно его слушал, я попросил рассказать мне о директоре. Интересно было узнать хоть приблизительно, что такое этот человечек, раздражавший меня своим непререкаемым тоном и упраздняющей всех вокруг физиономией.

— Наш директор знает, чего хочет, он человек энергичный. Посмотрели бы вы, как он управляется с промышленниками. Иногда на административном совете ему приходится вступать с ними в спор. У нас, знаете ли, промышленники входят в административный совет. Ведь это они оплачивают все станки в мастерских. Из фондов обложения на подготовку квалифицированных рабочих. Поэтому они и чувствуют себя в своем праве. Они ведь могли бы выплачивать эти деньги непосредственно государству, и уж государство использовало бы полученные средства по своему усмотрению, а это не в наших интересах, но им

разрешается вручать эти деньги прямо техникуму. Обычно они так и поступают, что, естественно, дает им известные права. Сами понимаете, промышленники тоже люди и ищут своей выгоды. Деньги ли они дают, станки ли. Нужна им прибыль, доход: за каждый станок — столько-то квалифицированных рабочих. Вот они и входят в административный совет или, скажем, кое в какие экзаменационные комиссии. Наши ученики — это, в сущности, их рабочие руки. Ну они и хотят знать, что у нас делается; сколько мы выпускаем ежегодно токарей, фрезеровщиков, котельщиков. Нехватка рабочих какой-нибудь из специальностей им не по вкусу; впрочем, избыток тоже. Поэтому на экзаменах они режут направо и налево; добиваются отсева. Это их право!

Ну а что касается директора, так это крепкий орешек. Он нас защищает: потому что, сами понимаете, чем меньше учеников, тем меньше преподавателей. Дело в том, что здесь, в особенности в мастерских, почти все работают по договорам, а договор каждый год возобновляется или не возобновляется, так что закрывать классы не в наших интересах. А промышленникам вечно кажется, что у нас слишком много классов, слишком много учащихся, слишком большие расходы на станки. Так что кто-то должен отстаивать наши интересы.

И по линии административной ему тоже приходится воевать, нашему директору. Возьмите хоть такой пример: в мае разразились эти самые «события». Разумеется, у нас, в Сотанвиле, ничего особенно ужасного, слава богу, не было. Учащиеся в большинстве благовоспитанные молодые люди. А преподаватели носа из дому не высовывали. Сидели у своих телевизоров. А мы с одним приятелем из котельной мастерили себе прицеп на отпуск. Расположились прямо по-королевски: одни в целой мастерской. Ну и вкалывали же: хоть мы и бастовали, но никогда так много не работали. Модель мы выбрали по журналу, совсем как моя жена, когда шьет себе платье; и за сорок дней все провернули: прицеп что надо — новенький, ладный, небесно-голубого цвета. Потом покатили мы в Испанию, два месяца путешествовали почти даром. Вы Испанию знаете? Классная страна; там никто никогда не спит; а море, море... Одно плохо — язык. Но мы захватили этого самого приятеля, иначе и нельзя было: он ведь мне помогал, и потом, понимаете, он испанского происхождения;

так что он уж язык знает, да и страну, всякие там красивые местечки.

Но я отвлекся от директора. Он в мае не сидел сложа руки. Воспользовался случаем, чтобы стукнуть кулаком по столу в административном совете, добился кредитов; по крайней мере части кредитов — половины того, что требовал. И то неплохо.

Ну так вот! Получили мы автомат с горячими напитками — кофе, чай, шоколад. Но загвоздка в том, что дали нам всего один автомат вместо двух положенных, и встал вопрос, кто должен им пользоваться: если отдать его преподавателям, учащиеся станут жаловаться. А в нынешние времена к требованиям молодежи надо прислушиваться, избегать недовольства! В мае все увидели, к чему оно приводит, из-за таких вот глупостей и начинаются революции.

Теперь так, оставить автомат учащимся — это ведь перевернуть мир с ног на голову, согласны? Нет, тоже нельзя.

Решили поэтому установить автомат в коридоре, у входа в преподавательскую, а учащимся позволили заходить в эту часть коридора. Директора такое решение вполне устраивало. Но многие преподаватели протестовали: заявляли, что будут этот автомат «бойкотировать».

Я-то молчу; я политикой не занимаюсь. Всяк сверчок знай свой шесток, верно ведь — всякому свое место. Но директор знает, что делает: надо уметь пойти на уступки в нужный момент.

В конце концов, есть вещи поважнее, чем этот автомат с горячими напитками. Дисциплина, чистота в помещении, длина волос,— заключил этот тип в сером рабочем халате. И пошел проверить, не осталось ли чего в бутылках с игристым.

Самые важные в моей жизни решения всегда принимались как-то помимо меня. Иначе я не оказался бы в Сотанвиле сентябрьским днем 1968 года. Мне тут нечего было делать; я сюда ехать не хотел. Впрочем, я вообще редко чего-нибудь хочу.

Я начинаю понимать, чего хотел, только потом, когда все уже произошло; или, наоборот, не произошло.

Чаще всего я, поскольку меня страшат любые конфликты, а в особенности конфликты с самим собой, всяче-

ски стараюсь убедить себя, что хотел именно того, что произошло. Но это не всегда удается. Трудно ведь строить планы, так сказать, задним числом. В конечном итоге прошлое гораздо хуже поддается обработке, чем будущее: было бы куда лучше, если бы я, как все на свете, строил планы, заглядывая вперед. Это просто вопрос внимания, бдительности: не позволять событиям слишком тебя опережать. Но я невнимателен, во всяком случае недостаточно внимателен. И вот в один прекрасный день, в результате того, что я все откладываю и ни на что не могу решиться, как-то само собой оказывается, что я прошел конкурс, я «дипломированный преподаватель философии в высшей школе». Мать не может на меня наглядеться и взывает, ликуя, к семейным тотемам, которые стоят в рамках на камине.

Я тоже уверяю себя, что доволен. Очень доволен. Чтобы доставить удовольствие матери; чтобы доставить удовольствие себе самому. Мне доставляет удовольствие доставлять удовольствие матери; вот я и доволен.

Нет! Не доволен. Конкурсная комиссия, генеральный инспектор, распределяющий места, отсылают меня за сто пятьдесят километров от дома, от матери, а я еще должен быть доволен! Нет, я не доволен. И я ведь торговался: генеральный инспектор хотел направить меня еще дальше, куда-то на юго-запад, за пятьсот или шестьсот километров; по его словам, туда многие стремятся. Что до меня, то я даже не уверен, что там вообще есть суша. Ладно! Он неплохой малый, этот инспектор. Битый час я твердил ему, что не хочу уезжать из Парижа; я никогда не жил нигде, кроме Парижа, не считая, конечно, каникул; но на каникулах ведь не живешь, не о том идет речь, напротив, на каникулах освобождаешься, отдыхаешь от жизни. Так что я никогда не жил нигде, кроме Парижа, и для меня улицы-колодцы, где кишат, словно черви, автобусы, машины, люди,— естественная среда произрастания. Мне трудно существовать вне этой удушающей атмосферы. Мне нужны стены со всех сторон, раскаленное, вибрирующее железо, толчки чужих плеч, коленей, спин, животов, запах толпы, вонючее дыхание машин, не то я распадусь на составные части. Это моя естественная стихия, во всяком случае, я ощущаю ее как естественную. Ну так вот, этот генеральный инспектор, похоже, не понимал меня или делал вид, что не понимает; казалось, он сейчас скажет:

«Ладно, я вас не слышал, для вас же будет лучше, если это останется между нами». А я, между прочим, не сказал ничего дурного; но я чувствовал, что раздражаю его; мне хотелось бы этого не чувствовать; но он самой своей вежливостью, манерой обходить острые углы давал мне это почувствовать, будь я даже круглым идиотом. Я подумал, что лучше бы мне вообще рта не раскрывать. В конце концов все обошлось не так уж худо; он неплохой малый, этот генеральный инспектор. Он предложил мне Сотанвиль; это было, вероятно, его последнее слово, поскольку оно было единственным. Ну тут уж я, разумеется, согласился! Пока он не заслал меня куда-нибудь в Гваделупу или на острова Реюньон. Но ехать в Сотанвиль мне все равно не хотелось. «Правда, это техникум,— сказал он,— зато всего в полутора часах езды от Парижа. Сможете возвращаться домой каждую неделю». Но мне не хотелось ехать в Сотанвиль; мне вообще не хотелось быть преподавателем.

Я изучал философию, но не для того, чтобы ее преподавать. Собственно, я даже не изучил философию, а просто прочел несколько книжек и сдал экзамен. Философия для меня, во мне, вовсе не была наукой; и уж во всяком случае, не тем, чему я могу учить других. Она была, скорее, своего рода ощущением внутренней неловкости, не покидавшим меня, думаю, с самого детства. Каким-то неотступным вопросом, навязчивой мыслью; даже не вполне мыслью; чем-то подступившим к самому сознанию, точно зуд, который пока под кожей, но вот-вот проявится вовне; но только вот-вот; чем-то раздражающим, до чего никак не добраться. Философия во мне, это что-то вроде соседа в верхней квартире, который ходит взад-вперед по комнате, стуча по паркету подкованными каблуками, и топчет твои мысли. Вот именно: некий посторонний шум вне комнаты, но и в комнате, во мне, даже в моем сне, нечто вроде бесконечно затухающего эха. Нечто чуждое, невыносимо чуждое, но неотторжимое от моего самого глубинного «я»: чуждость моего бытия, чуждость моего облика, отражаемого зеркалом, всеми зеркалами — настоящими и метафорическими,— до странности мне подобного. И потом чуждость мира, с его тревожной повседневностью, невыразимой обыденностью вещей; обыденностью, на каждом шагу открываемой заново,— просто невероятно! Я не научился философии: я попытался разучиться,

но тщетно; я только чуть точнее формулирую все те же вопросы; и еще чуть постояннее. И меня по-прежнему преследует страх; чудовищный страх обыденности во всех ее проявлениях, и страх того, что обыденней обыденного,— страх смерти!

Философия для меня не профессия, тем более не призвание. Нет, она проявляется во мне только как склонность. Неодолимая. Как же этому учить? Не могу я учить философии.

К тому же я всю жизнь именно из этой склонности не переставал философствовать, сожалея, что не умею, не хочу заниматься чем-нибудь другим. Скажем, географией. Скажем, математикой. Мне хотелось бы чего-то точного, положительного. Но мои вопросы так и остаются вопросами в силу извращения, что ли, ужесточения самой этой потребности; мои колебания гипертрофируются, разрастаются во мне, как раковая опухоль. Философия делает мне пленительные намеки, завлекает меня, кружит мне голову, и я всегда ей уступаю, и всегда наперекор самому себе, потому что не нахожу в этом никакого удовольствия.

Раз уж у человека непременно должна быть профессия, я мог бы стать врачом, архитектором, воздействовать на вещи, на людей. Но нет! Нужно же было, чтобы я так неосторожно поддался своей природной склонности к психологическому маразму, к меланхолии, скатываясь с каждым годом все глубже. Раньше я мог бы еще бороться. Приобрел бы закалку. И, закалившись, стал бы инженером, у которого мысли как шестеренки, не то что эти змеи, переплетающиеся в темных и унылых уголках моего сознания.

Теперь уже поздно. Я уже преподаватель философии; потому что философствовать — это значило также сдавать экзамены по философии и получить диплом преподавателя. И в итоге предстать перед генеральным инспектором, дабы он назначил меня на определенный пост.

А мне бы хотелось вернуться домой, и пусть меня оставят в покое. Что тут плохого? Если я оказался перед комиссией в день конкурса, тому виной случайность, или повестка, которую я получил, или страх, что мать станет ругать меня за то, что я не пошел по вызову. Но я ведь ничего не просил. Почему меня не оставят в покое? Почему я должен тащиться за полтораста километров от дома, чтобы говорить о трех, пяти или тридцати шести доказатель-

ствах существования бога, в которого не верю, но вопрос о котором, как мне кажется, слишком серьезен, чтобы можно было отделаться шуточками? А как скажешь об этом?

Май! Как он уже далек, прекрасный месяц май, и его черно-белые ночи, и его волшебный фонарь! Впервые я обрел веру. Нечто вроде благодати осенило меня на углу бульвара Сен-Мишель и улицы Суффло. Вдруг! Испытывая упоительный страх, я растворился, слился с приливом и отливом этой чуждой мне толпы. Толпа впервые не была обыденной — черно-белая, как будто нарисованная китайской тушью, углем, провидческим, фантастическим пером и кистью восстания. Эта чуждость оберегала меня от той, другой, привычной чуждости — повседневной, смертоносной, вкрадчиво смертоносной.

Нас обозвали «подонками», я это помню. И однако, никогда и ничто не казалось мне чище этой толпы, заполонившей улицы,— она не кишела, как прежде, она катилась широкими волнами, которые разбивались об утесы, о высокий мыс тонувшего во мраке континента полицейской ночи, щитов и дубинок.

И я вообразил, что улица, оплодотворенная этой странной толпой, ирреальностью, мечтой — мечтой, которую я вынашивал давным-давно и о которой сейчас кричали другие, те, в ком я обнаружил себе подобных,— я вообразил, что эта улица, быть может, произведет на свет нового человека. Он еще никому не ведом, этот человек, но он спасет нас всех, спасет меня от сходства с самим собой.

И вот теперь — Сотанвиль, я, похожий на самого себя, комната в гостинице. Комната, где воздух слишком плотен и давит мне грудь бременем осадка, угрызений; эта комната, это удушье — теперь и есть моя жизнь. Жизнь, навязанная мне, как казенный адвокат на суде, где разбирается мое майское преступление, на процессе, который у меня нет мужества и нет даже желания выиграть.

Обои, на которых бесконечно повторяется одна и та же гирлянда цветов, несколько уже увядших, потемнели от

сырости, рыжих подтеков, в особенности около раковины, откуда разит, как изо рта, полного гнилых зубов; сходство усугубляется коричневатыми трещинами эмали, пораженной кариесом. Чтобы увидеть себя в зеркале, повешенном чересчур низко, нужно наклониться над раковиной, помня, что опираться на нее не следует; амальгама подточена болезнью, и лицо в зеркале кажется побитым оспой. В кране долго что-то клокочет, прежде чем он судорожно выплюнет воду; она вырывается с шумом, брызгами, вызывая в одной из трещин эмали неожиданное бешеное движение, словно какой-то нелепый паук в панике сотрясает длинные, жестко натянутые нити паутины.

Вид у учащихся техникума подтянутый и пристойный; коллега в сером рабочем халате мне уже говорил об этом, но я ему не очень поверил. Как бы то ни было, факт налицо: именно я в моих брюках штопором и свитере, свалявшемся на локтях, ближе всего к тому облику моих будущих учеников, который рисовало мне воображение; потому, без сомнения, что единственной доступной ему моделью юных пролетариев в области одежды был я сам; или потому, что я всячески старался приспособиться к этой модели, надо полагать, почерпнутой в одной из моих азбук с картинками, в сочинениях Прудона, Ленина, даже самого Маркса; да, там полно картинок, в этих книгах, если не умеешь с ними обращаться.

Единственная личность, чей отпетый вид соответствует моему представлению об этом заведении,— каменный Прометей, который мрачно кривится под дождем у входа в корпус. Что до преподавателей общих дисциплин, в костюмах и при галстуках, или преподавателей производственно-технических предметов, в серых или синих рабочих халатах, то все они бросают, как мне кажется, весьма неодобрительные взгляды на мой свитер. Ладно! Надену галстук.

Это всего лишь первое впечатление, но достаточно неприятное,— мне никогда не удастся ни войти в свою роль, ни, что, в сущности, то же самое, стать похожим на других преподавателей или местных жителей. Дело тут в ничтожных деталях, не спорю; в галстуке или завернутом воротнике свитера, в манере курить, носить портфель; и тем не менее это важно; здесь это важно; люди судят о

тебе именно по этим деталям. И они правы; во всяком случае, я замечаю, что и сам сужу о них по таким вот мелочам; они иные, чем я, ничего не попишешь. Нас разделяют социальные идиомы, а они сплошь и рядом обладают такой стойкостью, что ничто, никакие усилия воли над ними не властны: казалось бы, ерунда, а никуда не денешься.

К тому же сотанвильцы умеют окинуть таким взглядом, который мгновенно превращает тебя в какого-то марсианина из научно-фантастического романа, где опасный «чужак», «захватчик», «нечто» прогуливается в толпе, настолько иной, что никто этого даже не замечает до той самой минуты, когда герой,— я хочу сказать герой-землянин, американец, тридцати или тридцати пяти лет, непревзойденный специалист в области трансцендентной математики, обладающий острым чутьем на любые аномалии,— не разоблачит марсианина, к примеру, по его тревожно расширенным зрачкам.

Ну чего он так смотрит мне в глаза, директор? Ладно! Он догадался, что я марсианин; он снимает телефонную трубку. «Простите»,— говорит он мне. Может, мне лучше убежать, пока не явились вызванные им люди? Но он загораживает дверь. Придется сбить его с ног. А может, через окно? Здесь не так уж высоко, я смогу выскочить.

Но я не выскакиваю. Была минута, когда я чуть не выскочил. Но мне, чтобы быть по-настоящему сумасшедшим, не хватает воображения, самую капельку: я еще по сю сторону безумия! Правда, впритык, но все еще по сю: оно издевательски подмигивает мне с той стороны, из окна; директор глядит на меня, глядящего в окно, и ничего, разумеется, не понимает. Директор не знает, чего он только что избежал: это человек небольшого роста, но по его волосам бобриком и нейлоновой с блеском рубашке, по его злющему лицу я почти безошибочно определяю, что он с самого детства лелеет мечту скрутить в один прекрасный день злоумышленника, безумца, марсианина, какого-нибудь субъекта вроде меня; он — скручиватель.

Входит инспектор техникума. Под мышкой у инспектора большая тетрадь: это расписание. «Мы передвинули вашу лекцию с вечера пятницы,— говорит мне директор,— таким образом вы поспеваете на шестичасовой поезд».

В Сотанвиле марсиан не уничтожают; их отправляют домой на субботу и воскресенье. Но директор еще не кон-

чил: я симпатичный марсианин, говорит он мне. Я проявил прекрасную инициативу, пойдя работать в техникум, имея диплом преподавателя высшей школы. Пример, достойный подражания. Вот я и стал предтечей благодаря тому, что ужасно боялся переезда.

В благородном порыве, не обращая внимания на мои зрачки, все более расширяющиеся от напряженного внимания, директор предлагает мне стать гражданином Сотанвиля: «Подайте заявление о предоставлении вам квартиры в Городское строительное управление, я поддержу вашу кандидатуру. Лично. Ваша просьба будет удовлетворена вне очереди; самое позднее через два года».

Через два года! Я забыл! Я забыл, что Сотанвиль — это не шутка; что это на несколько лет. Сколько мгновений в году? Сколько мгновений, чтобы удержаться и не выпрыгнуть в окно? Я опять гляжу в окно, и что-то там, по ту сторону, все больше и больше потешается надо мной. Два года: кем я стану через два года? Разве мне одолеть два года! Там, за окном, что-то поджидает меня, и гораздо раньше, чем минут два года; эта мысль приносит мне облегчение.

Учащиеся техникума очень аккуратны, очень вежливы и очень пристойны. Они встают, когда я вхожу в класс; обращаясь ко мне, они говорят «мсье». Это естественно, как же им иначе ко мне обращаться? Я их преподаватель, к этому нужно привыкнуть; нужно научиться не смотреть на этих восемнадцатилетних девушек, как на восемнадцатилетних девушек.

Ну, это-то не так уж трудно: не смотреть на девушек или смотреть на них сверху вниз; но этого еще недостаточно, чтобы выглядеть «пристойно». Нужно еще многое другое, чего у меня нет. Дома, в Париже, у меня вид вполне пристойный, так я считаю; но не здесь, не в этом классе; я вижу это по глазам учеников, в особенности девушек: их забавляет преподаватель, который раскачивается на стуле, потом вдруг спохватывается, а потом снова начинает раскачиваться.

Они слишком пристойны, мои ученики; слишком, слишком, я чувствую себя перед ними мальчишкой; я вынимаю руки из карманов, прячу за спину, полагая, что это придает мне профессорский вид и что держать руки в карма-

нах неприлично. Они видят, что я не знаю, куда деваться, но даже не смеются: они взрослы не по годам; а может, этот возраст — ну, скажем, восемнадцать — привилегия избранных; детям пролетариев она не дана. Мне тоже было восемнадцать лет; мне и сейчас всего двадцать шесть: я принадлежу, как говорится, к «молодежи»; это дает своего рода право на привилегии или на поблажки, многое сходит с рук; отсюда и идет, наверное, мой «непристойный» вид. Но молодость — вопрос не только возраста, скорее уж это вопрос воспитания, социального положения; своего рода роскошь, доступная лишь некоторым, далеко не всем. Не моим ученикам: они старше своего возраста; у них нет возраста; у них есть социальное положение, положение людей, хорошо воспитанных обществом.

Я, разумеется, отдаю себе отчет в том, что мое положение мешает мне уловить до конца все эти тонкости, хотя бы потому, что я-то принадлежу как раз к «молодежи».

Я к ней принадлежу, но уже не вполне; я к ней принадлежал до самого последнего времени. И вот теперь — бац! — я взрослый; или почти взрослый. Хлопнулся задницей на землю.

Когда я был маленьким, у меня были репетиторы, учитель музыки. Позднее пришлось посещать лицей, старшие классы. Но лет до пятнадцати я, чтобы сделать пипи, возвращался домой.

Рабочих мне приходилось видеть только в киножурнале, когда они, например, «бастовали». Дома говорили, что это «красные»; на экране в кино я видел их, скорее, серыми, грязными; но я знал, что все они «коммунисты», что они хотят зарезать моего отца, изнасиловать мать и обобществить электрическую железную дорогу, подаренную мне в 1950 году ко дню рождения, мне тогда исполнилось восемь. Там было два локомотива, не меньше дюжины вагончиков, вокзал, картонный круг с прилепленными к нему свинцовыми барашками; трое путешественников в здании вокзала, и два других — на перроне, деревья из вонючей резиновой губки, несколько шлагбаумов и стрелка с приклеенным возле нее стрелочником. Это был прекрасный электропоезд. Но я с тех пор очень изменился; когда мне исполнилось тринадцать, я подарил свою железную дорогу сыну нашей прислуги.

Может, поэтому мне так отвратительна мелочная буржуазность этих господ, моих коллег, я и пальцем не по-

шевелю, чтобы походить на них. Пусть я сам ненавистней себе, чем эти мещане, которых я высмеиваю, но я ненавистней иначе, по-своему. Даже мои смешные слабости им недоступны: разве они подарили бы свою железную дорогу? Не похоже.

И к тому же я очень изменился. Почему, в конце концов, умалчивать об этом? Разве так не бывает? Я ненавижу буржуазию, всяческую буржуазию, вплоть до себя самого; я себя не щажу; даже если мелкая буржуазия раздражает меня чуть больше, чем другая, все равно ненавижу я больше всего, постояннее всего именно ту, другую, мою собственную, или ее пережитки во мне.

Инспектор техникума сделал мне замечание по поводу моего свитера. Этот человек существует, чтобы делать замечания, они написаны у него на лице; он сам сплошное замечание, даже голова у него в форме замечания. Ну так вот, я все равно буду носить свитер, нравится ему это или нет!

Не знаю точно, ненавижу ли я себя через буржуазию или буржуазию через себя; ну, то, что именую буржуазией я. Боком мне вышло это детство, когда меня так разбаловали; я его ненавижу и грущу по нем. Из меня сделали существо драгоценное и нелепое: я приобрел хорошие манеры, но на свой лад. Например, не следует ничего желать слишком сильно, поскольку считается, что можешь иметь все; вот я ничего и не желаю. Не следует сожалеть о том, чего не смог получить, исходя из того же принципа; вот я и сожалею лишь о том, что у меня есть: малодушие — таково мое отличие.

Мир для меня слишком шершав, меня не обучили прибавочной стойкости страданий. Я ныл, грустил, скучал, хотел, чтобы со мной возились еще больше: вызывали доктора, он являлся и, делая вид, что выслушивает, рассказывал мне всякие байки. Отец пожимал плечами: он отдал меня матери, гувернантке; мною владели женщины.

Бегать мне не разрешали, так как доктор сказал, что мое сердце бьется слишком часто. И я вообразил, что хрупкость, хилость, боязнь лошадей, ужас перед холодной водой — атрибуты сущности высшего порядка. Старательно, любовно меня превратили в калеку. Ненавижу свое детство; и, однако, я не помню, я не могу себе предста-

вить никакого иного счастья. Когда отец умер и оставил нас — мою мать и ее маленького принца — без гроша, было уже слишком поздно. Я как раз достиг возраста, когда доступны сожаления, но упущена возможность обучиться новой, суровой жизни. Мать унаследовала только бесконечные долги отца, и я тоже — я унаследовал тайный долг всей той нежности, которой я бы не ждал от жизни, если бы мои отец и мать умели держать в порядке свои счета. Все свои счета.

Мы были чересчур бедны, чтобы расстаться с огромной квартирой, где я вырос, переезд был бы слишком дорог, да и как перевезти мебель? Мебель служила квартирной платой; в день взноса исчезала очередная вещь. Квартира становилась все более и более огромной, гулкой. Когда пришла зима, мы заперли обе гостиные, столовую и перебрались в комнаты, которые было легче отопить. Мне минуло шестнадцать лет. Мать, как-то сразу постаревшая и высохшая от горя, теперь, казалось, ставила мне в вину все те слабости, которые сама же привила. В промежутках между инвективами в адрес покойного мужа она бранила меня: я легкомысленный, ленивый, «безответственный», совсем как он. Мне следовало бы приобрести специальность, работать в поте лица, побыстрее окупить свое воспитание. А меня ни к чему не тянуло, ведь именно это мне предписывали прежде. Читать, играть на пианино, естественно и простодушно презирать весь остальной мир — вот все, на что я был способен. Но надо было приобрести специальность. Я как раз заканчивал класс философии, и, поскольку философия, наряду с другими пленительными качествами, многие из которых были пагубными (я подозревал это и наслаждался, вызывая в своем воображении пугающие бездны, разверстые в моем сознании Кювилье), казалась мне чем-то достаточно бесполезным, чтобы, занимаясь ею, не ощущать унижения, я стал готовиться к экзамену на лиценциата. Нужно же мне было, повторяю, чем-то заняться. И к тому же, пока я буду изучать философию, что-нибудь да произойдет. Я не знал, что именно. Но что-нибудь непременно произойдет. В противном случае наш жребий был бы слишком уж несправедлив. Ничего не произошло.

Я стал преподавателем. Потому что, пока ничего не происходило, я становился преподавателем. Мать была удовлетворена: вот, думала она, нечто мудрое и посред-

ственное; как раз по мерке нам, нашему теперешнему месту, в тени. Я сделаюсь преподавателем. Не буду играть на бирже. Мне не по карману будет транжирить деньги с любовницами, как транжирил мой отец. Да-да, как мой отец! Потому что, старея вместе с матерью, память об отце порождала из уныния, из толщи пыли и сумрака, в которых мы жили, нечто невыразимо отвратительное. У отца были любовницы; за ним наверняка водились и иные грешки, как же иначе объяснить поразившее нас проклятие? Главное, чтобы я не был похож на него.

Я и не хотел быть на него похожим. Я тоже проникся ненавистью к нему. Вернее, я ненавидел то, что́ он представлял, то, что было, полагал я, источником всех наших горестей: нашу былую буржуазность, «его» буржуазность.

Работая в техникуме, я познакомлюсь с миром труда, с детьми пролетариев. Эта мысль меня привлекала. Куда больше, чем преподавание детям буржуазии вроде меня. Я думал, что мне представляется случай вырваться из своей среды, вернее, из привычной колеи, потому что после смерти отца никакой среды у меня, собственно, не было.

Были только привычки; грустные привычки избалованного, но бедного ребенка. А потом пришел месяц май. Я получил представление о другой жизни, не похожей на жизнь царька в изгнании, которую вел до тех пор. После мая я уже не так мучился и за свое былое монаршее величие, неизменно сопровождавшееся угрызениями, и за то, что я его утратил,— чувства, возможно, противоречивые, но крепко сплавленные в моем сознании какой-то болезненной химией.

Я принимал участие в демонстрациях; брусчатку мостовой, правда, не выворачивал, это не в моей натуре; мне не по вкусу разрушения, стычки, не по вкусу случайные затрещины, беспорядок, во всяком случае в мире материальном. И все же я принимал участие в демонстрациях. Я много говорил, много кричал. Я убеждал себя, что могу не стыдиться своего положения бедняка, или почти бедняка, или потрепанного буржуа, как стыдится моя мать. Я могу стать чем-то иным, не этой последней, протертой до блеска, до дыр тряпкой буржуазии.

Некоторые мои товарищи поговаривали в мае о том, чтобы пойти работать на завод. Мне, возможно, тоже хо-

телось этого. Но я не пошел, да и они тоже. И правильно сделали. Не стали рядиться рабочими. Но все же у нас у всех возникла одна и та же — новая — идея о нашей возможной социальной роли. Я не хотел преподавать в высшей школе и был в этом не одинок. Но только я один не хотел ничего. Нет, чего-то я все же хотел, был близок к тому, чтобы хотеть,— я хотел бы, например, учить рабочих на заводах, чтобы положить, хоть отчасти, конец великому унижению всех тех, кто трудится и молчит. Разумеется, существуют профсоюзы, забастовки, демонстрации; но это все еще очень далеко от подлинного словоизъявления личности, свободного и непосредственного, такого, которое дано, к примеру, мне. Рабочие, разумеется, говорят, но говорят коллективно, через своего представителя; это можно обнаружить, даже оставаясь буржуа, потому что именно такое «застывшее», отяжелевшее, получившее право гражданства слово выступает в качестве свидетеля и защитника существования рабочего перед буржуазией: это голос не какого-то одного рабочего, даже не каких-то нескольких рабочих, но рабочих «вообще». Кто из нас, буржуа, согласился бы на подобного рода «самовыражение»? Но именно к этому сведены те, в противном лагере, слава тебе господи! Давайте же помолимся, чтобы наши добрые пролетарии с каскеткой в руке оставались всегда столь же «вежливыми» и брали на себя труд выйти на улицу со своими лозунгами и плакатами, как глотают слюну, прежде чем взять слово.

До чего бы мы докатились, если бы им вдруг взбрела в голову фантазия, как в мае 1968 года, говорить, где вздумается — в цехах, на куче заводского мусора, если бы каждый заговорил от своего собственного имени, только по «призыву» стихийного возмущения своего собственного сознания, «несчастного сознания», как принято выражаться? До чего бы мы докатились, если бы кто-нибудь научил их этому? Если бы кто-нибудь научил их тому, что каждый имеет на это право? Мне хотелось научить их этому в меру моих сил.

А техникум, думалось мне,— это почти завод или его преддверие. Через техникум я получу доступ на завод, к тем, кого хочу видеть, к тем, кого хочу учить. По этой-то причине, а не только из малодушия, я и не отказался от работы сразу же после конкурса, как собирался было сделать. В техникуме, думалось мне, я найду молодых бун-

тарей; они должны быть бунтарями; у них для этого куда больше оснований, чем у нас, студентов-буржуа, которые были бунтарями; больше того, разве не они, не наше представление о них лежало в основе нашего бунта? Я воображал, что эти парни и девушки ждут кого-то вроде меня, чтобы он научил их искусству и технике восстания.

Да, я все еще недалеко ушел от киножурналов моего детства; я и не подозревал, что мои юные пролетарии окажутся такими «воспитанными», как выразился мой коллега, опустошитель бутылок игристого.

Девушки скорее хорошенькие; по крайней мере мне они кажутся хорошенькими на фоне цементной стены; я гляжу на них и взглядом молю их быть хорошенькими. Во всяком случае, они стремятся быть такими; они кокетливы; их кокетство чуть слишком старательно, как ученический почерк. На них белые рабочие халаты, которые они не застегивают, небрежно приоткрывая короткую юбочку из шотландки, заколотую большой позолоченной английской булавкой. Инспектор рыщет, высматривает, вынюхивает, проверяет, обходя коридоры, и предлагает им застегнуть халаты, прикрыть юбочку, булавку, коленки; прямо маньяк какой-то!

Мальчиков в моих классах меньшинство; они сидят в задних рядах и наблюдают за мной.

В первый день я сказал: «Сейчас мы познакомимся», внутренне надеясь, что они хотят со мной познакомиться, в особенности мальчики. По отношению к девочкам я чувствовал себя уверенней, достаточно было кинуть взгляд на все эти халатики в раздевалке.

Я заглядывал в список и вызывал по алфавиту: каждый названный вставал, как автомат; у парней был вежливо-скучающий вид, девушки посматривали на меня вызывающе. Ладно! Было одиннадцать часов, так что их, вот уже третий урок, вызывали по алфавиту. Я извинился, что в свою очередь вынужден повторить эту процедуру. Заявил, что это необходимо, «если я хочу познакомиться с каждым из вас в отдельности». Но я знал, что это у меня получится не раньше чем через несколько месяцев, если вообще получится. Они, должно быть, тоже это знали: я не похож на человека, который интересуется каждым «в отдельности».

Но вот ритуал был завершен; оставалось еще полчаса. Входя в класс, я старался убедить себя, что мне необходимо многое им сказать — например, что я прибыл в Сотанвиль специально ради них, что я помогу им по-настоящему понять себя и т. д. Однако уже полчаса как у меня душа не лежала к такому вранью. И у них, должно быть, тоже. И для них тоже я был выходцем из другого мира, для них в особенности; я был марсианин. И потом они читали в моих глазах слишком откровенное любопытство, чтобы проникнуться ко мне симпатией.

Мне понадобилось несколько дней, чтобы освоиться с топографией заведения. Несколько дней не так уж много, если вспомнить о моих былых трудностях в лицее, где я учился. Надо сказать, что здесь все четко, упорядочено, расчленено: чисто и логично.

На город глядит фасадом длинное здание из стекла и стали: в первом этаже — преподавательская и библиотека, где собраны главным образом издания типа «Антреприз» или «Экспансьон», полная подборка в нескольких экземплярах: здесь центр, культурное ядро заведения. Преподаватели и учащиеся, которые с недавних пор получили право заниматься совместно за одним большим столом, как и пользоваться одним автоматом с горячими напитками, листают книги и периодические издания довольно мрачного, на мой взгляд, вида, все это иллюстрировано кривыми, графиками, схемами машин, изредка, наверно, для оживления, даже фотографиями, но и на фотографиях все те же машины.

Поднявшись на второй этаж, где слышится стук пишущих машинок, на которых упражняются учащиеся, переносишься в своего рода контору крупной торговой фирмы или административного учреждения. Но так ли уж велика на самом деле дистанция от библиотеки с ее полками, уставленными «Антреприз», до кабинетов машинописи?

На третьем этаже наконец добираешься до школы, где в двух десятках классных комнат идет обучение общеобразовательным предметам. Тут-то я и работаю, тут мне предстоит философствовать. Поскольку в техникуме на эти двадцать — двадцать пять классов 1800 учащихся, совершенно очевидно, что они никогда не бывают здесь все одновременно: большую часть времени они проводят на втором

этаже, в классах так называемого «коммерческого» отделения, или в мастерских отделения промышленного: огромном бетонном блоке без окон, размалеванном желтой и зеленой краской. Здесь чувствуешь, что попал на завод. Механическая мастерская, котельная; штамповальные станки, фрезерные; от всего этого исходит густой, тяжелый, плотный грохот; массивный звуковой монолит, пронзаемый время от времени скрежетом разрезаемого металла. Мастера выкрикивают распоряжения; на стенах и на металлических опорах, поддерживающих балки потолка, огромные плакаты: «Следите, чтобы руки не попали в станок», «Берегитесь отлетающих осколков», «Высокое напряжение, опасно для жизни» — тут, в мастерских, не до шуток. Учащиеся выполняют задания, каждый за своим верстаком, за своим станком. Все в комбинезонах. Мастера переходят от одного ученика к другому, проверяют работу, дают советы, объясняют, делают замечания; ученики слушают, утвердительно кивая головой в знак того, что поняли, или делают вид, что поняли, но ни один при этом не отрывает глаз от обрабатываемой детали: точно слепые, которые слушают и говорят,— головы недвижны, лица удивительно бесстрастны, тела словно живут своей совершенно независимой жизнью.

Мне здесь не место. Лучше я вернусь в корпус, глядящий фасадом на улицу. Впрочем, учащиеся промышленного отделения философию вообще не изучают, за исключением привилегированных из секции «Е», которые изучают общеобразовательные дисциплины по полной программе, такой же, как в любом лицее, меж тем как остальные, по правде говоря, оканчивают своего рода профессионально-техническое училище; их философия не касается; вещи такого рода предназначены будущим «белым воротничкам», тем, кто готовится к секретарской и бухгалтерской карьере.

Я выхожу из мастерских с пустой, гудящей головой; по сравнению с этим грохотом стрекот пишущих машинок почти бесшумен. Опустошитель бутылок игристого, который решительно проникся ко мне симпатией и теперь показывал мне «свои» владения, провожает меня к выходу. Ладно, с этим покончено! И слава богу. Пускай это глупо, думаю я, но прогуливаться, засунув руки в карманы и покуривая сигарету, просто невыносимо, точно ты турист, разглядывающий этих пятнадцати- или шестнадцатилет-

них ребят, прикованных к своим станкам. Просто невыносимо. Я ощущал себя соглядатаем, человеком, который сует нос не в свое дело. И, возможно, мне было стыдно. Стыдно не того, что я это делаю, но того, что я имею на это право. Под предлогом, что я преподаватель и осматриваю «свой» техникум.

Нет, это не мой техникум, мой — в том здании, которое глядит на улицу, где на девушках свитера из шерсти или лакрила, неплохо имитирующего мохер, а у парней длинные волосы. Здесь, во внутреннем корпусе, девушек нет. Их счастье! Нет и длинных волос; насчет этого опустошитель бутылок строг: «Поймите, мои ученики не то что ваши; они из другой среды: их нужно держать в ежовых рукавицах, иначе из них выйдут хулиганы. Вам везет, у вас — сливки. В особенности девушки. Семьи, которые посылают дочерей в техникум,— уже достигли определенного уровня. А у нас здесь кого только нет! Правда! Даже иностранцы; люди, которые понаехали отовсюду и ютятся в лачугах на окраине, где сразу после войны построили времянки для тех, кто лишился крова в городе. А теперь там эти... Просто кишмя кишат, сидят на голове друг у друга вместе со своими пискливыми ребятишками. Чем хуже у этих людей условия, тем больше детей, вы заметили?»

Существуют разные уровни бедности; у пролетариата свой табель о рангах. Даже здесь, с поправкой на масштабы, разумеется, есть привилегированная верхушка и прочие. Есть мои девочки с коммерческого отделения: «сливки», как выражается коллега; смазливые, хорошо одетые, свеженькие, болтливые, задорные, забавные. И есть ученики-котельщики, загнанные в мастерские, за полуметровую толщу бетона, занятые по горло и немногословные.

Явная, бросающаяся в глаза разница между теми и другими как раз и состоит в том, что мои девушки, мои ученики с коммерческого отделения все же говорят; лучше или хуже, охотно или неохотно; они никогда не говорят, как мы, буржуа, с нашим апломбом, с нашей «естественностью»; но все же говорят; а те, другие, не говорят. Именно те, кто мог бы больше всего сказать, или, вернее, высказать своего, не говорят ничего. Почему? Мой коллега, предполагаю, объяснил бы это не задумываясь; объяснил же он мне: существуют, с одной стороны, порядочные

люди, с другой — всякий сброд, даже иностранцы. Да, «иностранцы», пусть у них даже есть удостоверение о французском гражданстве: поляки, югославы, португальцы, испанцы, арабы, негры. Это все не французы. Доказательство? Они говорят не как все. Они до такой степени не французы, что даже французы настоящие, с нормальными именами, а не этими — язык сломаешь — с нормальной, не слишком смуглой кожей, превращаются в иностранцев от одного лишь соприкосновения с ними; впадают в состояние варварства и говорят — в тех редких случаях, когда вообще говорят,— столь же немыслимо коверкая язык, как и эти пришлые.

Так что не будем смешивать этих эмигрантов — из дальних стран или из нашей собственной — с истинными детьми Сотанвиля. Каждому свое место, даже среди пролетариев, даже в техникуме, особенно в техникуме.

Об этом заботится комиссия по профессиональной ориентации: перед окончанием неполной средней школы, в последний год обучения, тестологи, классные советы и администрация техникума берут на себя труд отделить зерно от плевел. Зерно — в прекрасное здание из стекла и стали, с библиотекой и классными комнатами; это будущие «белые воротнички», ученики коммерческого отделения. Остальных — на промышленное отделение, то есть в мастерские, в бетон, в грохот, в лязг металла, под начальнические окрики мастеров. Но подлинная дискриминация еще не в этом или, вернее, к этому не сводится. С нею сталкиваешься, точнее, на нее вновь натыкаешься внутри каждого отделения, как коммерческого, так и промышленного, разделенных на секции.

Тому, кто не вполне освоился с нравами и обычаями техникума, не так-то легко во всем этом разобраться. К примеру, у меня в классическом лицее была в старших классах возможность выбора: изучать или не изучать латынь, изучать или не изучать греческий, изучать математику в большем или меньшем объеме, один или два иностранных языка. В зависимости от моих склонностей или способностей я мог стать «гуманитарием» или «математиком», латинистом, эллинистом или естественником. У меня был выбор между разветвлениями культуры. В техникуме дело обстоит совсем иначе. Разумеется, существует основная альтернатива — коммерческое или промышленное отделение, то есть два различных типа обучения; здесь еще

можно говорить не столько о дискриминации, сколько о выборе, предпочтении, хотя «технари» заведомо поставлены в худшее положение, чем «коммерсанты», во всем, что касается общеобразовательных предметов, то есть образования в собственном смысле слова.

Дальше все запутывается еще больше. Техникум, с одной стороны, дает образование, с другой — обучает ремеслу; упор либо на первое, либо на второе. Так на промышленном — больше ремесла; на коммерческом — больше образования.

Но каждое из отделений делится на секции. К примеру, на коммерческом есть секции «В» и «Г». Разница? Здесь она уже не в ориентации на общее образование или обучение ремеслу. Как одни, так и другие приобщаются к праву, экономике. Значит, разницы никакой? Нет, разница есть! Да еще какая! Она в относительной пропорции общего образования и обучения ремеслу. Так, если ученики «В» занимаются со мной философией пять часов в неделю, то ученики «Г», имеющие право только на два часа моей проповеди, стучат три оставшихся на машинке или изучают стенографию. И если первые сдают по окончании техникума экзамен на бакалавра, открывающий им без всяких ограничений доступ в университет, то вторым дается только право поступления в «технологические институты», эту своего рода высшую школу обучения ремеслу, где они продолжают главным образом стучать на машинке. Их потолок — контора.

Чем же оправдывается подобная дискриминация? Может, воспитанники секции «В» способнее своих товарищей из «Г»? Возможно; занимаются они и правда лучше; воспитанники из «В» сдают мне сочинения, которые значительно превосходят по качеству письменные работы «Г». Но ведь учащимся «В» фора дается перед началом игры, и наряду с другими преимуществами они получают свои пять часов философии в неделю, в то время как «Г» имеют право всего на два часа этой дисциплины, соответственно и всех остальных. Следовательно, разницу в успехах не так уж трудно объяснить. Однако при прочих равных условиях «В» все равно успевали бы лучше, чем «Г»; они ученики куда более блестящие: говорят они свободнее, легче.

Ну а эта разница откуда берется? Ответ в карточках, которые я заполнил на каждого, указывая фамилию, имя,

возраст и главное профессию отца. Все яснее ясного! У «В» отцы учителя, мелкие служащие, городские торговцы; среди них есть даже дочка врача. У «Г» — рабочие, крестьяне, железнодорожники, полицейский... Но это не предел: если перейти затем к промышленному отделению и проглядеть картотеку учащихся секций «Д» и «Е», считающихся самыми низкими по уровню, обнаружится, что спуск по социальной лестнице продолжается вплоть до жителей вшивой и не отличающейся красотами окраины Сотанвиля.

Иначе говоря, различные категории самых скромных слоев сотанвильского населения сначала были просто-напросто распределены: одни — на коммерческое, другие — на промышленное отделение, затем, более тщательно,— по секциям каждого из отделений, чем закрепляются по меньшей мере еще два различных уровня; и из массы пролетариата, и без того неоднородной, выделяется некая переходная группа: трудовая мелкая буржуазия, еще достаточно близкая, еще не вполне оторвавшаяся от народных корней, но в то же время уже осознавшая свое относительно привилегированное положение и заботящаяся о том, чтобы его упрочить всеми возможными для нее средствами. Эти люди, а также и их дети, учащиеся техникума, своего рода аристократия, которая тем ревнивее охраняет свои привилегии, чем они незначительнее на самом деле. Они не допустят, чтобы их смешивали со «всяким сбродом».

Так, мои ученики из секции «В» почти поголовно намерены учиться дальше после получения диплома бакалавра; чтобы стать кем? Этого они пока точно не знают — жизнь, о которой они мечтают, пока им неведома и предстает в форме мифа: стать «служащими» — вот к чему сводится едва ли не магическая формула их мечтаний. Какого рода «служащими»? Неважно! Они домогаются определенного общественного положения, определенного «жизненного уровня», по их собственному выражению; речь идет не о той или иной профессии; профессия в данном случае не цель, а средство, если даже не символ; вожделенный символ удачной карьеры, успеха, социального продвижения.

Ученики секции «Г», как правило, куда скромнее в своих желаниях; если, конечно, не грезят, отрываясь, подобно детям, увлеченным игрой, от реальной действитель-

ности, и не мечтают, к примеру, стать пилотами «Эр Франс» или ассистентами профессора Барнарда! Честолюбивые помыслы большинства не идут дальше секретарской должности, по возможности «в дирекции». И в их расчетах, в их планах основным элементом является уровень заработной платы, они берут курс на тысячу франков в месяц; их цель — не вырваться из своего социального слоя, а достигнуть внутри него потолка оплаты, потолка комфорта.

В секции «В» ученики честолюбивы: это уже — или по крайней мере в ближайшем будущем — буржуа. У «Г» требования только материальные; они еще пролетарии.

Так что за распределением по секциям стоит не просто школьная успеваемость; та же история на промышленном отделении с его секциями «Д», «Е», «И».

Конечно, успеваемость тут играет роль; но важно другое, важно то, что успеваемость, о которой идет речь, отражает социальное происхождение ученика, и оно закрепляется благодаря разделению на секции. И если техникум действительно является орудием продвижения по социальной лестнице, то это продвижение осуществляется в полном соответствии с точными, жесткими нормами, внутри строго очерченных границ.

Эти границы здесь никто, кажется, не собирается ставить под сомнение. Здесь каждый, даже тот, кто поставлен в наименее «благоприятные» условия, дорожит своим положением, пусть оно даже и ниже других; потому хотя бы, что это — его положение; или потому, что и оно, в конце концов, лучше, чем ничего. Можно ведь было остаться и без этого; и как раз ученики, стоящие на низшей ступени иерархической лестницы техникума, сознают это особенно ясно: ведь, не попади они в техникум, пришлось бы стать чернорабочим, как брат или двоюродный брат, чернорабочим, как отец. Если привилегированные из «В» охотно заглядывают вверх, понимая, что в нашем мире есть положения куда более блестящие, чем то, которого им когда-либо удастся достичь, и что в этом, возможно, есть какая-то несправедливость, то ученики «Г» и все те, кто занимается на промышленном отделении, оглядываются только вниз: первые хотят взобраться повыше, вторые думают лишь о том, чтобы выкарабкаться оттуда, откуда они пришли,— разница огромная.

Да, техникум — орудие совершенное. В руках буржуазии. Здесь внушают любовь к порядку, к молчаливому труду; здесь выводят рабочую элиту, воспитывают ее, дрессируют, прививают с помощь ничтожных подачек привычку к послушанию; учат не заглядывать ни слишком далеко, ни слишком высоко. Техникум — это приторная кормилица для примерных детей пролетариата.

А я? Что сулю им я, «протестант»? Что сулю им я за тот бунт, которого от них требую? Я говорю им, что экзамены — не цель, что надо заглядывать дальше, выше вожделенной тысячи франков в месяц; а на кой черт им это? Им предлагают конкретные цели, конкретные препятствия на пути к этим целям; реальные блага, привычную, спокойную обстановку; в машинописных бюро или в мастерских они приноравливаются к своему грядущему существованию — зачем им воображать что-нибудь другое? У них перед глазами ничего другого нет. На что еще могут они рассчитывать? У них нет ничего другого под руками.

А я, мои речи, мои призывы, мои доказательства, что они несчастны, что их водят за нос, что их «угнетают»,— как во все это поверить? Это только слова; а слова не стоят диплома, обещанного за послушание. Так как же не быть послушным?

И когда я говорю о буржуазии, пригвождая ее к позорному столбу, на меня глядят с удивлением: разве я сам не один из тех буржуа, которых столь яростно обличаю? У меня повадки, речь буржуа. И главное — я выступаю в роли буржуа, хочу я того или нет: я преподаватель, начальник. Вот на меня и смотрят, меня слушают, точно я разыгрываю фарс. Несусветный фарс. И ждут, когда я кончу, когда наконец приступлю к лекции, которую можно будет записывать, тщательно, до запятой, лихорадочно, потому что нужно знать курс, программу, нужно сдать экзамены и получить свое вознаграждение.

Что может быть естественней? Ладно, читаю лекцию. В соответствии с программой. Прежде всего — «философия, ее предмет, ее задача». После заголовка — план: первое, второе и т. д. Но нет! Не могу. Не могу я читать этот курс философии. Я говорю им об этом; говорю, что это несерьезно. Как так несерьезно? Да, несерьезно.

Я стану им говорить в соответствии с программой о свободе по Спинозе, о бытии бога по святому Ансельму и Декарту, о «религиозном чувстве» Савойского викария,

а им предстоит в течение сорока лет утомлять глаза над колонками цифр, «дебитом», «поступлениями», «обеспечением», «котировкой», а им предстоит утомлять душу в беспощадном грохоте станков; да разве это серьезно? Нет! Не стану я принимать участия в этом мошенничестве: в этом мнимом приобщении к культуре, в этом подложном алиби, золотящем пилюлю обучения ремеслу. И я говорю им об этом.

Но они меня не понимают; они не могут одобрить моей щепетильности. Может, я просто считаю, что они недостаточно хороши для моей философии? Вот в чем секрет: я их презираю, смеюсь над ними, я отказываю им в том, что обязан дать,— отказываюсь их учить. И они в обиде на меня; эксплуататор, мошенник — это как раз я; я эксплуатирую, мне хотелось бы эксплуатировать их доверчивость. Они дети рабочих, они это знают и говорят мне, что я не должен только поэтому над ними насмехаться.

Они ничего не поняли; или это я ничего не понял. И я сдаюсь; сдаюсь на время, там будет видно, когда они проникнутся ко мне доверием, если они когда-нибудь проникнутся ко мне доверием. Я снова приступаю к лекции по философии, ничего не попишешь! Но я им говорю: философия не в тех записях, которые вы сейчас сделаете, философия не в программе. Философия — это состояние ума; учить тут нечего, нужно только соответствующим образом настроиться.

Как нечего учить? Они снова обескуражены, встревожены. Или я опять их разыгрываю? Им нужно нечто положительное: «первое», «второе». Раз я преподаватель, я должен владеть абсолютным знанием и должен передать им его формулу; если я этого не делаю, значит, я приберегаю эту формулу для себя; насмехаюсь над ними.

Да нет, ничуть я не насмехаюсь; но философия — это не механика, не бухгалтерский учет; это, скорее, своего рода противоядие, если вы только дадите мне говорить о ней по-своему, если не будете так страстно ждать от меня механики и бухгалтерского учета.

Лучше задумайтесь о себе самих. Что вы собой представляете как люди, как члены общества. Думайте о себе, не об экзаменах. Думайте, скажем, о счастье. Есть у вас представление о счастье?

Разумеется, представление у них есть. К несчастью! Один хотел бы иметь машину; другой — дом в районе

Фремикура, в шикарной части Сотанвиля; третий хотел бы занять ответственный пост; еще один — быть биржевым маклером.

— Биржевым маклером? А что это такое?

— Это хорошее положение.

— Допустим, но точнее?

— Принадлежишь самому себе, ворочаешь делами.

— Зарабатываешь деньги?

— Да, зарабатываешь деньги.

— А что вы будете с ними делать?

Мой вопрос вызывает бурю смеха. Ну и глупость я отмочил! Будто любому не известно, что делать с деньгами, когда они есть. Решительно, я человек несерьезный. Тот, кому не известно, что делать с деньгами, которые имеешь,— человек несерьезный. Значит, это и есть философия? Какое разочарование! Они ждали чего-то разумного, а не подобных бредней.

Порядок господствует в Сотанвиле, как туман. Порядок и сырость проникают под одежду, добираются до костей. Сотанвильский порядок ощущаешь спиной. Сотанвиль степенен и натянут.

Я ощущаю эту натянутость вокруг себя. Люди здесь «корректны» — через два «р» — и полны неистощимой доброй воли. У них накрахмаленная элегантность восковых манекенов, которые красуются в витринах; они веселы, как полицейский протокол. Дождь угрюмо стекает в водосточный желоб; неизменный дождь.

Я окончил работу; чтобы не возвращаться сразу домой, пью шоколад в ресторане «Благовест». Какой еще благовест? Скучно до смерти; вокруг одни уроды; даже не уроды — это хуже, чем уродство. Хочется помочиться в свою чашку, чтобы их лица исказились, стали в самом деле уродливыми; и чтобы им было на что посмотреть, потому что они упорно меня разглядывают; ну чего они на меня уставились?

Я не мочусь в чашку: я, как всегда, сдаюсь первым и ухожу. Ухожу, чтобы вернуться к себе, больше мне здесь делать нечего. Идет дождь; женщины ускоряют шаг, стараясь не зашлепаться. У них серые плащи и черные зонтики. Продавщицы «Призюник» высыпают из темной дыры «подъезда для грузов» и группками по двое, по

трое, держась под руки, спускаются по Лилльской улице, к каналу. Гляди-ка, они — живые! И от этого они выглядят еще печальней. Бегают, должно быть, по воскресеньям на танцульку, собрав волосы в шиньон, нарумянив щеки, и танцуют шерочка с машерочкой.

Сегодня я говорил шесть часов подряд. Сегодня — это каждый день. На переменах я выпил два или три стакана шоколада, надоив его из автоматического соска, поскольку, когда говоришь не умолкая, сохнет во рту. Каждый имеет право на положенный «курс», раз им этого так хочется. Я, ясное дело, пытаюсь жульничать; не ради удовольствия, а потому, что говорить шесть часов подряд утомительно; вот я и устраиваю время от времени «минуты размышления», как я их называю; на учеников это действует впечатляюще — «минуты размышления»; они думают, что я совершаю спелеологические изыскания в безднах человеческого духа; а я на миг выключаюсь, не думаю ни о чем; я отдыхаю, остываю. Но рано или поздно приходится возвращаться, подниматься на поверхность, называйте это как угодно. И что же я приношу из своих экспедиций? Всего лишь каплю слюны; но попробуйте-ка, пофилософствуйте без слюны. Вот я и погружаюсь в «размышления», или пью шоколад — результат, в сущности, одинаков. Чай я не пью; чай меня слишком возбуждает; кофе тоже; к тому же здесь он очень плохой; пью шоколад. Но шоколад я не люблю.

В общем-то, я начинаю нравиться своим ученикам. Но, думаю, они не понимают того, о чем я говорю. Они даже не делают вида, что понимают.

Они не делают вида, что понимают, так как в техникуме не принято, чтобы учащиеся понимали все, о чем им говорят; и даже, по мнению некоторых преподавателей, приличие требует, чтобы не понимали; непонимание — это своего рода свидетельство почтения; почтения к тому, чем являются преподаватели и чем не являются ученики.

Будь мои ученики детьми буржуа — другое дело.

Дети буржуа понимают все. Самая их суть предполагает ум. Если ты буржуа и не умен, ты, значит, дурак; а к детям пролетариев это, само собой, не подходит. Их никто не упрекнет в том, что они чего-то не понимают. Напротив, обнаружить невежество и непонимание именно там, где хочешь их обнаружить, даже как-то приятно. В противном случае мир не был бы тем, что он есть.

Порядок господствует в Сотанвиле, как круглое белое солнце. Некая легкость, веселье одушевляют багровые телеса, которые стекаются к шикарному водопою «Парижанина» — ресторана-кабаре деловых людей. Здесь утоляют жажду пивом всевозможных сортов: светлым, черным, даже рыжим, если угодно, только плати денежки, однако говорить об этом вслух не принято. Каждый вечер, после десяти, какая-нибудь «всемирно известная звезда» увеселяет посетителей куплетами или смачными шуточками, нет, здесь не соскучишься! Это, можно сказать, самое веселое место в Сотанвиле; но нужно располагать возможностями, то есть бумажником и задницей, достаточно объемистыми, чтобы удостоиться места на красной коже банкеток. У входа, перед вертящейся дверью, высокий парень в каскетке и ливрее отказывает всем, кто недостаточно обрюзг.

Я ощущаю вокруг себя эту дряблость. Люди вызывающе довольны своим жиром. У них в артериях не кровь, а топленое сало; они именуют это холестерином; в Сотанвиле холестерин — неотъемлемый атрибут богатства.

Жены всех этих типов, посасывающих пиво, стоят у аптечного прилавка, терпеливо выжидая, пока подойдет их очередь, болтают, держа друг друга за руки, хвосты или хоботы, нашаривая в сумочке из змеиной кожи рецепт клиники, дарующий им привилегию растворять в стакане воды прибавочную стоимость супружеской коммерции: ведь должно же, согласитесь сами, давать им какие-то права то, что некогда они решились лечь под этих грузных самцов.

Что бы сталось с ними, с этими буржуазными дамами, не будь аптекаря, этого исповедника, которому удается совладать с их запорами? Деньги, как известно, причиняют уйму хлопот и подрывают здоровье; нужны лекарства; уйма всевозможных лекарств; по лекарству на каждый орган этих дряблых механизмов, которые усложняются с каждым лишним миллионом; разве вы, бедняки, можете знать, сколько метров кишок помещается в этом необъятном брюхе?

Коэффициент плотности ювелирных магазинов столь же поразителен, как и количество аптек. Сотанвиль таит богатство за кирпичом своих стен. По вечерам главная площадь и Лилльская улица принаряжаются сверканием витрин.

У ювелира очереди нет; обстановка не располагает к кудахтанью, в ней есть нечто торжественное. Входят, усаживаются. Их усаживают. Молчаливо ждут, пока им продемонстрируют крохотный тотем, золотой или бриллиантовый. Указательным пальцем направляют руку представителя ювелирного искусства под стеклом витрины к объекту, к источнику наслаждения.

Ибо эти коровы услаждают себя. Пока мужья сидят в «Парижанине», расстегнув нижние пуговицы на жилете, эти роскошные вдовы предаются ювелирным оргазмам.

Платьев или пальто они не покупают; это вещи легкомысленные; легкомысленные, ибо изнашиваются и протираются, а христианская мораль учит нас не дорожить преходящим. Только ювелир и аптекарь могут предложить удовлетворение под стать этой морали. Аптекарь — поскольку субстанции, покупаемые у него, поглощаешь, как поглощаешь благодать и отпущение грехов; поскольку его пилюли и микстуры, хоть и растворяются, но растворяются в твоем теле, в твоем существе. Ювелир — поскольку субстанции, покупаемые у него, нетленны, подобны — почти подобны — небесным светилам; они передаются из поколения в поколение и будут, даст бог, передаваться, пока существуют на небесах звезды и буржуа.

Последние дни я болтал с учениками. Мы теперь лучше понимаем друг друга; они уже не обижаются на меня за то, что я не Заратустра; более того — они меня чуточку жалеют: они многое усвоили, поняли, например, что и преподаватель философии с дипломом имеет право быть жалким типом; в определенном смысле, как всякий другой, как они. Вот-вот, теперь я уже не так отличаюсь от них.

Я с ними болтаю: отныне таков мой метод работы. Мысль до них лучше доходит, когда они получают ее по недосмотру, и дружеский тон им больше по вкусу, чем наставительный; я хорошо сделал, не попав в расставленную мне ловушку, отказавшись разыгрывать пророка, ясновидца, оракула, изрекающего темные истины. Вначале они этого требовали, но только потому, что слегка меня побаивались; и поскольку директор под предлогом, что я, мол, с дипломом и к тому же симпатичный марсианин, априорно даровал мне папскую непогрешимость. Скотина!

Теперь дело пошло на лад; хоть я и не читаю курса так, как положено, хоть я и выделяюсь по-прежнему оригинальничанием в одежде и еще чем-то, сам не знаю чем, я тем не менее стал одним из преподавателей, почти таким же, как и все прочие. Воспитанники меня приняли.

Другие преподаватели называют их по имени и на «ты»: но это не для меня. Я для этого недостаточно прост; мне кажется, что в тыканьи с моей стороны было бы что-то оскорбительное. Как бы я ни старался, между ними и мной остается какой-то заслон, иногда более, иногда менее прозрачный; и чем больше я силюсь его уничтожить, тем он плотней. Я не создан быть простым, ничего не попишешь. Или, вернее, я-то прост! Мне кажется, что я прост; только на свой манер, не так, как это понимают другие; я прост, потому что говорю и поступаю в соответствии со своими представлениями; это и значит быть простым. И если бы не страх перед другими, я был бы еще проще; но тогда меня сочли бы дурно воспитанным; потому что мне в свою очередь многие вещи кажутся весьма дурно воспитанными; в особенности по отношению ко мне. И я всегда отступаю перед этими вещами; делаю вид, что не замечаю их глубочайшей подлости; строю им улыбки, этим проклятым вещам! Но только из вежливости, потому что пользы мне от этого никакой.

Я вежлив, это уж точно; бесконечно вежлив. Я не забыл предупредительности, с которой меня обучали в детстве; теперь предупредителен я сам. Просто мы поменялись местами.

Я вежлив, поэтому не могу быть фамильярным с учениками, как другие преподаватели: я умею говорить только «вы» людям, моим ученикам (ведь мои ученики люди, не так ли?), три часа в неделю безмолвно сидящим на несколько сантиметров ниже того уровня, на который поднимает меня должность преподавателя и кафедра. Тут уж ничего не поделаешь.

И однако, если я хочу принести пользу и научить их чему-то, нужно добиться, чтобы они заговорили со мной; заговорили со мной не снизу вверх, не из своего далека. Не думаю, что им стало бы проще, заговори я с ними на «ты»; в моих устах «ты» звучало бы совершенно иначе, чем у других преподавателей; так мне, во всяком случае, кажется; и это мешает мне обращаться к ним на «ты».

Вот я и не знаю толком, как из этого выпутаться; необходимо, однако, чтобы именно я помог всем нам выпутаться из этого положения. Мне осточертела роль патрона!

А они находят вполне естественным, что я выступаю в роли патрона; именно они-то и заставляют меня играть эту роль! Они возмутительно покорны. Со смешками первых дней покончено! Покончено и с требованием, чтобы я читал лекции! Они примирились со всем; со всем, что я делаю или чего не делаю. Они приспособились; они умудряются даже записывать мою тарабарщину; записывать — вот единственное, от чего их не оторвать!

Но важно как раз это: добиться, чтобы они бросили записывать; и чтобы спорили; оспаривали то, что я говорю. Эти их записи, записи, которые они делают, что бы я им ни наболтал,— свидетельство, условный знак, символ повиновения.

Что сделать, чтобы они взбунтовались против меня? Ибо, только взбунтовавшись против меня, они могут хоть чему-то у меня научиться. Да! Научиться тому, чему я пытаюсь их научить; тому, чему я обязан их научить, чему уж никто, кроме меня, их научить, безусловно, не может — бунту! Иначе мое пребывание лишено всякого смысла; в нем не больше смысла, чем в учебниках, которые они покупают, чтобы дополнить (мягко сказано!) мой «курс».

Я говорю о революции; они записывают о революции, упрямо считая, что все, сказанное мною, нужно «выучить». Комедия — да и только!

Я теперь чувствую себя не таким одиноким. У меня завязались знакомства. По вечерам, в ресторане гостиницы, я болтаю с официантами; и потом у меня есть знакомые в техникуме; это, как и я, парижане, они ездят домой каждую неделю, а иногда — если небо Сотанвиля и впрямь слишком давит, а мостовая становится слишком жирной,— то и каждый вечер, несмотря на утомительность ежедневной трехсоткилометровой поездки.

Парижане стараются не задерживаться в Сотанвиле. Если ты парижанин, тебе здесь неуютно, ты чужой, ты торопишься; торопишься вернуться домой, к своей жизни, которая не здесь; опасаешься малейшей задержки, чтобы не опоздать на поезд. Ибо Сотанвиль не становится притягательней, по мере того как проходят месяцы и наби-

рает злость зима; холодно, пронизывающе сыро, сумрачно. Этот рыхлый, небрежно сотканный город с пустынными улицами, где дома пришиты, как заплаты, неряшливыми стежками, не создан, чтобы пленять.

Я не люблю Сотанвиль; гулять здесь не хочется; я вынужден выискивать предлог, чтобы выйти на улицу, хоть не надолго ускользнуть от техникума, от гостиницы. Впрочем, здесь никто не гуляет; здесь ходят за покупками, торопливо ежась, убегая от всех ветров Севера, которые гонятся за тобой. В Париже, дома, мне достаточно спуститься по лестнице, внизу — улица. Улица, то есть жизнь, жизнь других людей вокруг меня, а не просто тротуар и дома. В Сотанвиле приходится долго шагать от техникума или гостиницы, чтобы найти улицу, подобие улицы. Здесь люди наглухо законопачиваются; они живут не в домах — в склепах. Они смотрят друг на друга из окон, прячась за гардинами: не люди — тени.

Я не знаком в Сотанвиле ни с кем из местных жителей, даже среди преподавателей техникума, а их, разумеется, большинство; я вижу их на работе, здороваюсь — и все. Сотанвиль не умеет привязывать к себе и не заботится о том, чтобы ласково принять чужака, он похож на уродливых девушек, которые перестают замечать мужчин, поскольку те не обращают на них внимания.

Мне бы, конечно, хотелось немножко сблизиться с моими сотанвильскими коллегами; для того хотя бы, чтобы рассеяться время от времени, отвлечься на несколько часов от нескончаемой скуки существования, распределенного между гостиничным номером, поездным купе и ресторанами стандартных цен, где тебе стелют бумажную скатерть, которую официантка, не успеешь ты встать из-за стола, уже комкает вместе с крошками и винными пятнами.

Но сотанвильцы не попадаются в сети: кому охота разговаривать с человеком, который то и дело глядит на часы, выжидая минуты, когда сможет уйти. Так что я, как и остальные парижане, обречен на одиночество — самое страшное из зол Сотанвиля! И мы оказываемся в своей компании, образуем своего рода профсоюз временных эмигрантов; и каждый говорит о своем одиночестве, что в конце концов все-таки лучше, чем просто от него страдать.

Ничто нас, в сущности, не связывает, и тем не менее мы сообща выковываем временные, случайные дружбы в

зияющей пустоте нашей моральной отрезанности. В который раз мы талдычим, сидя в «Глобусе», перемываем свою неизменную обиду: «Почему сюда?», и каждый самозабвенно крутит ложечкой в своей кофейной гуще; но там не возникает никаких миражей.

Главное — убить время; мы готовы на все, лишь бы оно шло быстрее; мы говорим об учениках, об инспекторе, о грязи в уборных техникума, наконец, о недавней постановке «Орленка» в муниципальном театре; мерзость следует за мерзостью, по нарастающей; зато время идет.

Иногда один из нас, окончательно добитый скукой, ужасом перед одиноким возвращением восвояси, приглашает всех остальных, скопом, «что-нибудь перехватить» у него, в его меблированной комнате. «Потеснимся как-нибудь, равок — не беда». Мы делаем вид, что колеблемся, он настаивает, умоляет; мы заставляем себя просить; думаем, стоит ли в самом деле, в конце концов, и одному ведь побыть неплохо, не правда ли? Но из любезности всегда уступаем, ликуя в душе.

Одиночество, мое одиночество, уже несколько раз одерживало победы. Я наблюдал, как эти загулы, эти маленькие загулы завершаются в безмолвии: какая-нибудь мелочь, неудачный жест, мимолетное выражение лица выдают, что за этим нет ничего, ничего, кроме мрака и небытия. Двое или трое дали вот так пустоте захватить себя врасплох и разорвать на куски. Поддались безобразной, ничтожной, хищной пустоте с ее широкими, бурыми и громко хлопающими крыльями, с когтями, которые вцепляются тебе в затылок.

Они поддались умиротворению. Они больше не торопятся, чтобы не опоздать к отходу шестичасового. В то время как для остальных сотанвильская жизнь как была, так и остается всего лишь дырой меж двух расписаний — расписания занятий и расписания поездов,— эти вдруг начинают задерживаться в городе. Они уже не спешат. Беседуют в магазинах. Покупают. К ним обращаются по имени, это им приятно; это внушает им доверие к себе, к жизни — их ведь называют по имени, их ведь узнают. Они гуляют; точнее, ходят за покупками, часами бродят по городу за покупками. Они не убивают, как мы, время на улицах или в кафе в ожидании, пока подойдет час поезда, занятий, еды, сна. Они своего времени не убивают. Они его проводят. И к декабрю начинают подыскивать меблированную

квартирку, чтобы сменить на нее свой гостиничный номер с оплатой за месяц, за сутки, за ночь, потому что квартира комфортабельней. И главное — в ней чувствуешь себя «дома».

Случается, они даже вступают в брак; вступают в брак с другим преподавателем. Не знаю, случайность ли это или своего рода закономерность, своего рода детерминизм, присущий профессии преподавателя или климату Сотанвиля, но с тех пор как я в этом техникуме — не так уж я тут долго,— я был свидетелем трех таких браков; в среднем — один на месяц!

Когда я задумываюсь об этом, мне кажется, я понимаю, в чем тут дело: это своего рода обращение, акт веры; и раскаяния. Раз уж приходится жить этой жизнью, они решают ее избрать сами, добровольно, как избирают супруга, который ее воплощает. Соблюдаешь обряды, предписанные религией, как было уже замечено, и начинаешь веровать! В конце концов, это, должно быть, не так уж трудно; во всяком случае, не так трудно, не так сложно, как добиться перевода.

Они будут хорошими служащими, эти двое, надежными, скромными. Их теперь не часто увидишь в «Глобусе» или «Благовесте» (инспектор техникума не одобряет этих посещений; он сделал нам соответствующее замечание, вклинив его между двумя другими замечаниями). Итак, они отказываются от мысли о переводе и просят предоставить им трехкомнатную квартиру в стандартном доме. Они имеют на это право. Они теперь уже не одиночки; они молодожены; на молодоженов приятно смотреть, они вызывают симпатию; вдобавок молодожены-преподаватели — это занятно и достойно уважения. Так что они просят квартиру в стандартном доме, поближе к техникуму, поскольку зимние утра в Сотанвиле холодные, колеса машины скользят как на катке, приходится пересекать слишком длинный двор, спотыкаясь, зажав портфель под мышкой, руки немеют, ветер обжигает уши. Директор спешит поддержать просьбу. По-отечески. Лично.

Браки между преподавателями сопровождаются своего рода церемонией; именуется это «поднять бокал».

«Поднять бокал» — не пустяк. Подготовка к этому начинается за несколько дней. Собирают деньги на игристое, печенье и подарок; поручается это ветерану, одному из «по-

священных»: ему же предстоит обратиться с речью к новобрачным, к новым членам сотанвильского общества.

Наступает великий день; председательствует на церемонии сам директор; если же вступающие в брак не пользуются особой благосклонностью начальства, он поручает представлять себя инспектору. Потом все, сначала сотанвильцы, следом парижане, рассыпаются в улыбках и поздравлениях; новобрачным вручают их гладильную доску; чокаются игристым, обмениваются комплиментами, рассказывают анекдоты; возвращаются домой или в номер гостиницы — с пенящимся сердцем.

Когда во вторник утром я выхожу из поезда перед немотствующим вокзальным фасадом из бурого кирпича, меня всякий раз на миг охватывает ощущение странности и уныния. Я — здесь? Делаю первые неуверенные шаги по скользкому бетону, направляясь к подземному переходу; но запах мочи кладет конец моим сомнениям, и, когда я прохожу через контроль, мои ноздри и легкие уже смирились.

У выхода из тоннеля старается изо всех сил не развалиться на части дряхлый «фиат-500», купленный мной на этот случай, то есть для того, чтобы преодолеть несколько километров, отделяющих вокзал от техникума. У меня никогда нет уверенности в том, что машина сдвинется с места, но она сдвигается, кашляя и рыгая в зимнем сумраке.

Ощущение странности, чуждости — самое страшное. Это чудовище, поджидающее меня за каждым углом. Я словно внезапно пробуждаюсь, но пробуждаюсь во сне. Иногда все кругом полое, будто декорации, плохие декорации. Иногда все вокруг куда-то отступает, так что начинает кружиться голова, но перспектива лишена подлинной глубины, как на средневековых заставках; или, напротив, вещи надвигаются на меня, толкают, корчась в гримасе. Губы улицы сжимаются, чтобы выплюнуть меня, точно косточку.

Я говорю в классе, и мой голос возвращается ко мне, будто эхо, далекое, странное. Я умолкаю, потому что говорить мучительно. Я сам не знаю, что говорю; это какое-то роение слов, треск подкрылий. Я вынужден умолкнуть. И мои ученики удивленно смотрят на меня: в глазах у них

отблеск моей собственной панической растерянности. Что они услышали?

Вечером, возвращаясь в гостиницу, я иду по Лилльской улице, которую расширяют и допуск на которую «резервирован только для ее обитателей и их клиентуры». Поскольку гостиница стоит почти на углу Лилльской улицы и улицы Восьмого Октября, я принадлежу к вышеупомянутой клиентуре: это своего рода право жительства, некая поблажка, которой я пользуюсь; на этой улице мне неплохо. Здесь есть магазины; каждую неделю я проверяю витрины; иногда они меняются. Когда какой-нибудь предмет залеживается, я, бывает, покупаю его, чтобы стереть с витрины, чтобы она побыстрее переменилась, потому что этот предмет начинает казаться мне трупом, костенеющим под стеклом, а я очень боюсь трупов.

Мне теперь еще более одиноко. Друзей у меня нет. По вечерам, в ресторане гостиницы, я вместо разговора прислушиваюсь к собственному жеванию. Время от времени официанты подходят к моему столику, надвигаясь из глубин огромного зала, еще пустого в этот час. Они что-то стряхивают со скатерти, или наполняют мой бокал, или меняют тарелки, если там хлебные крошки; потом удаляются, скользя по большим черным и белым плиткам, подобно шахматным фигурам. В их предупредительности я нахожу все-таки некоторое разнообразие после моих полуденных трапез; но порционные блюда дважды в день мне не по карману, так что предупредительность я приберегаю на вечер. Я пользуюсь ею; разыгрываю важную персону; вознаграждаю себя за все те случаи, когда мне намекают, что я лишний. Спрашиваешь в магазине, чтобы убить время, сколько стоит телевизор? Ты, любезный, тут лишний, не про тебя писано. Мне отвечают сквозь зубы. Ищешь в базарный день место, чтобы поставить машину на главной площади и поглазеть вокруг; изощряешься, совершаешь буквально чудеса, переключая скорости и выжимая сцепления, которые давно уже не в ладу друг с другом, вперед — отрыжка, назад — отрыжка; тем временем какой-то тип уже успел перехватить место, мерзавец! И тут ты лишний, любезный, лишний! Выражаясь высокопарно, я сказал бы, что это экзистенциальная тоска.

Так что в большом зале гостиничного ресторана я разыгрываю из себя набоба; поскольку я тут единственный, мне не приходится опасаться, что я лишний; к тому же четыре-пять официантов, суетясь вокруг меня, действуют успокаивающе, подтверждают, что я не ошибся помещением, что я действительно в ресторане. Обои попахивают сыростью, как и в комнатах, но обслуживание первоклассное, приборы серебряные, и пища приемлемая; а главное — вокруг меня эти бедняги; я люблю бедняг: вы, друзья, лишние, как и я! Кажется, что они дрожат от холода в своих белых перештопанных куртках и только ждут моего знака, пожелания, приказа, который позволит им немного согреться.

У меня нет друзей, даже в техникуме; там есть, конечно, такие же, как я, парижане, которые еженедельно ездят домой, ухитряясь исправлять в поезде, на коленях, письменные работы; самые ловкие приноровились даже отрывать руку от тетради на стрелках. Но мы, хоть и болтаем, чтобы не быть в полном одиночестве, недолюбливаем друг друга. Каждый видит в собеседнике свое собственное отражение. А преподаватели, живущие в городе, смотрят на нас, как на своего рода временно исполняющих обязанности. Или вовсе не смотрят. Преподавателями в полном смысле слова они считают только себя, поскольку во внеучебное время руководят местными секциями профсоюза или организуют культурные мероприятия для учащихся. Я не говорю, что они располагают какими-либо реальными привилегиями, но они всегда на месте, а тот, кто отсутствует, как говорится, всегда отчасти виноват. К тому же следует признать, что вышеупомянутые отсутствующие не проявляют особой активности и не гонятся за ответственными поручениями, которые отняли бы у них дополнительное время; парижане и сотанвильцы различаются между собой не просто по месту жительства; это вопрос жизненной позиции, вопрос глобального отношения личности к деятельности работника просвещения со всеми вытекающими отсюда последствиями: выбрать Сотанвиль — значит выбрать техникум, выбрать своих коллег, столовую, ботинки на меху, клетчатые носовые платки.

Вот почему парижане и сотанвильцы ощущают не просто разницу между собой, но и свою противоположность. Каждая сторона сделала свой выбор; этот выбор означает неприятие другой стороны и всего того, что стоит за ней.

Так что от сотанвильских коллег мне ничего не приходится ждать. От тех же, кто, подобно мне, приезжает из Парижа, я могу ждать одного — что они немного развлекут меня разговорами о нашей общей скуке. Преподавателям, живущим в Сотанвиле, нечего мне предложить, кроме своего озлобления по отношению к тем, кто не совершил решительного шага, который мог бы, чем черт не шутит, сделать их счастливыми.

Меня, может, самого тянет порой перекинуться на ту сторону. Соблазн или головокружение, усталость.

Что за бесплодная гордыня мешает мне удовольствоваться тем, что мне по плечу? Почему не примириться с самим собой, не принять своего положения рядового преподавателя философии в сотанвильском техникуме? Разве то, что я попал сюда по собственному недосмотру, дает мне право презирать это место? Сам виноват, надо было глядеть в оба.

Двое или трое уже перекинулись в тот лагерь. Нужно бы и мне последовать их примеру. От них исходит сияние умиротворенности. Разве мне не хочется того же? Зачем я сам себе навязываю этот безумный страх опоздать на шестичасовой поезд? Почему не попытаться превратить свою сотанвильскую жизнь во что-то иное, не в эту дыру между расписаниями, железнодорожным и учебным? Мне следовало бы выехать из гостиничного номера и позволить своей жизни хоть ненадолго вылезти из чемоданов, в которые я ее запихиваю.

Не нужно будет выходить из поезда перед немотствующим бурым кирпичом вокзала по утрам во вторник. Не будет этого невыносимого ощущения ирреальности. Я стану попросту самим собой.

Да, стану. Самим собой, а не сегодняшним мифом: точнее, вчерашним, раз уж я называю это «мифом»; не буду больше этим книжным существом, этим ходульным образом, этой фикцией «молодого левого интеллигента», «бунтаря» мая 1968 года. Перестану им быть; я уже и сейчас отчасти перестал, я уже больше не верю в это по-настоящему.

Да и верил ли когда-нибудь? У меня такое впечатление, что я всегда чуточку принуждал себя, втискивал, как тесто в форму, на которую хотел походить. И мне кажется, что таких, как я, немало. Но речь обо мне; именно обо мне; а не о стереотипе в свитере с завернутым воротом и за-

крученными штопором брюками и мыслями. Может, я на самом деле — это ботинки на меху, чистошерстяные брюки с несминаемой складкой, шкиперская борода в стиле „учитель на празднике «Юма»“, а летом сандалии и носки канареечного цвета. Без всякой утрировки, разумеется; речь идет не о том, чтобы сменить один стереотип на другой. Разве только моя подлинная сущность, наша подлинная сущность и есть стереотип. И никуда не денешься.

Станет еще хуже? А почему? Исчезнет ощущение, что сотанвильские улицы слишком широки для меня. Я куплю новую малолитражку. По воскресеньям стану ездить в лес Эрувилетт и начну ухаживать за одной из преподавательниц или за одной из учениц, чтобы не походить в точности на всех остальных; и потому, что восемнадцатилетние девушки кажутся мне привлекательней, чем тридцатилетние с пятигодичным педагогическим стажем. Директор будет мною доволен; он собственноручно наделит меня традиционной гладильной доской. И я получу квартиру в стандартном доме.

В конечном итоге с учениками мне все легче и легче: это совершается во мне само собой, как и все остальное. Зачем мучиться? Зачем упорствовать, навязывать себе необходимость выбора? Мое существование мало-помалу само выбирает меня. Мой персонаж врастает в меня, меня заполняет. Я ничем не отличаюсь от прочих и должен этому радоваться, потому что все мои тревоги в таком случае — всего лишь помехи в эфире; мое дело — не прислушиваться к ним, это в конце концов не так уж трудно.

Нужно продолжать беседы с учениками. Настанет день, когда я их пойму. И перестану быть, для них и для себя, неким мифом, явившимся из Парижа, с левого берега, превращусь просто в их преподавателя. Они начнут слушать меня, а мне будет что им сказать.

Это немало: принести себя в жертву. Разве только мне нечего терять. В этом-то и вопрос; но вопрос ли это? Не знаю. И я внимательно прислушиваюсь к своим ученикам, когда они удостаивают меня разговором, и начинаю находить больше смысла в их запинающейся болтовне, чем в своих собственных, приевшихся рассуждениях,— вот и ответ.

Не нравится мне этот ответ. Он мне осточертел. Да и они, мои дети пролетариев, предполагаемые революционеры, мои сыновья железнодорожников, рабочих, крестьян,

служащих с ежемесячным окладом в полторы тысячи франков, на которые нужно прожить впятером, а то и вшестером,— они тоже не склонны подать мне милостыню и поверить мне так, за здорово живешь, или хотя бы прислушаться ко мне, к моим затверженным в университете буржуйским считалочкам о классовой борьбе, надвигающейся революции и роли, которую должны сыграть в этой революции они; они, снашивающие уже третью подметку на ботинках. Нет, они не подадут мне этой милостыни — им не из чего подать. У них и так слишком мало, чтобы пойти на риск потерять и это. У них чуть больше, чем у других, как раз настолько, чтобы за это держаться. Для них революция — это беспорядки; забастовка — встревоженная мать, раздраженный отец, приятель Сенже, который заявился в дом и требует по счету, грозит. Так что из-за приятеля Сенже они — не революционеры. Революция — это дело преподавателя философии или тех, кому нечего терять. Но Сотанвиль богат; здесь нет безработицы, нет крайней нужды; жизнь трудна в меру: не чересчур, но и не недостаточно. Этой жизнью дорожат; в конце концов не так уже она сурова. Так что революцию предоставляют тем, кто обитает в северо-восточной части города, на окраине промышленной зоны, в бидонвилях; ее предоставляют всем этим арабам, португальцам, а также развращенным шахтерам соседних областей; всем этим людям, которых немного побаиваются; побаиваются, например, что придется разделить с ними то немногое, чем владеешь. Побаиваются также «коммунизма», про который известно — так говорят хозяин и недавно купленный телевизор,— что он не признает «собственности»; может, даже такой минимальной собственности, как полторы тысячи франков в месяц и телевизор, имея которые испытываешь смутное чувство вины перед теми, у кого нет ничего; перед теми, кого торопишься осудить, пока не осудили тебя самого.

— Но что такое коммунист?

— Это экстремист.

— Что вы понимаете под «экстремистом»?

— Коммунист ничем не владеет. Ему нечего терять. Мы видели это в мае; им все дозволено.

— Что вы думаете о мае?

— В первую неделю были настоящие требования, а потом ввязались политические партии.

— Считаете ли вы, что студенты принадлежат к тому же классу, что и вы?

— Нет!

— К какому же классу они принадлежат? Более состоятельному?

— Нет!

Тут я слышу чью-то реплику о тех, кто «протестовал, не вылезая из своего «ягуара»».

— Знает ли кто-нибудь из вас, в чем именно состояли требования студентов?

— Глупости все это! Что это дало? Увеличили заработную плату на десять процентов, а стоимость жизни возросла на двадцать.

Кто-то замечает, однако, что все дело в политике.

— Их одно интересовало — смена правительства... они анархисты... их ничто не могло удовлетворить. Стань все по-новому, они на минуточку успокоились бы на этом, а потом все равно...

В июне в техникум явилась некая парижская студентка, она критиковала «общество потребления». Ее спросили, что это такое. Она не смогла ответить.

— В капиталистической стране люди гораздо свободнее. У каждого капиталиста (под этим подразумевается каждый, кто живет в капиталистической стране) финансовая автономия... В социалистических странах все в руках государства. Как говорит М. Э. (преподаватель политической экономии), прибыли там большие, но эти прибыли не попадают в руки тех, кто работает, их забирает государство.

— Вы считаете, что в нашем обществе прибыль попадает в руки тех, кто работает на заводах?

Признают, что это не так. Прибыль в обоих случаях достается не тем, кто работает; простой народ всегда эксплуатируют; но в капиталистических странах жизнь лучше. Тогда я ставлю вопрос об ответственности хозяина-капиталиста в случае банкротства.

— Правильно, они (рабочие) потеряют работу, но ведь и он потеряет состояние.

Да! К состоятельным людям относятся внимательнее, снисходительнее, доброжелательнее, уважительнее, чем к нуждающимся. Но это, уточняют они, в порядке вещей. У моих учеников развито не столько чувство справедливости, сколько пристрастие к порядку. А порядок, естест-

венный порядок,— это иерархия, неравенство; вот они и защищают неравенство.

Наконец я спрашиваю:

— Ну а вы сами, к какой социальной категории вы относите себя: к рабочим или к хозяевам?

Ни к тем, ни к другим, объясняют мне; к «среднему классу». И это действительно так, крайности им не по душе. Они, разумеется, не «хозяева», но и не «пролетарии». Отец, может, и работает на одном из машиностроительных заводов промышленной зоны, но это еще не делает его рабочим, или, точнее, Рабочим, соответствующим тому карикатурному стереотипу «рабочего», который до странности напоминает представления моего буржуазного детства. Но парадокс тут чисто внешний: в обоих случаях этот образ — стереотип буржуазный, у него одна и та же функция пугала; только я был нивой, драгоценной нивой, а мои ученики — птицы; полувороны, полуголуби.

И потом отец может быть рабочим, железнодорожником, мелким буржуа — неважно. Сыновья станут, как им внушают, «служащими», «средним звеном» промышленности или коммерции; они тоже будут жить на заработную плату, но на гораздо более высокую, чем у других. Их будущее обеспечено, умеренное и комфортабельное. В этом-то и состоит функция техникума; дать специальность, само собой. Но главное — привить всем этим молодым людям, быть может изначально непохожим, быть может честолюбивым, быть может даже способным на бунт, одну и ту же тягу к умеренности, к тому, что разумно, и «усреднено».

И упрекают меня, не смея упрекнуть вслух, как раз в том, что я со своей кафедры выступаю в роли Ореста или Эдипа; я принадлежу к породе, которая, так или иначе, порождает беспорядок; судьба, как известно, выносит свой приговор в обоих случаях с той только разницей, что одни просто лопаются как мыльные пузыри — вроде парижской студентки,— а другие сотрясают своим падением землю, как обанкротившийся хозяин.

Каждое новое сегодня обрушивается на меня поутру подобно судебному вердикту, подобно приговору. День разверзается передо мной головокружительной бездной, точно до вечера предстоит прожить тысячу жизней. До того момента, когда наконец наступит вечер.

Как-нибудь, возможно, я захочу, чтобы вечер наступил побыстрее; и покончу с собой.

Пойду сам навстречу вечеру; так некогда, ребенком, в приморском городке, я ходил смотреть на умирающее солнце. Я шел, шел совсем один по улицам, еще расширенным, как зрачки, маревом палящего дня; шел, чтобы увидеть, как под соснами тень сплетается с последними языками жаркого света. Шел, чтобы увидеть солнце, чтобы услышать его предсмертный изумрудный вскрик в минуту угасания, удушья в лиловом молчании моря.

Огромным, всякий вечер новым, всякий вечер ни с чем не сравнимым счастьем было видеть там, вдали, но и здесь, как раз перед моим взором, взором, как никогда безмятежным, эту пышную, беспредельную, бесконечную агонию, которую я охватывал единой мыслью, расширявшейся, возможно, до размеров Вселенной.

Ныне я утратил эту способность растягиваться, как вечерние тени, достигая самых дальних горизонтов, достигая миров, в иных условиях неподвластных воображению.

Ныне я страшусь всего, что по ту сторону. Нет! Я не покончу с собой.

Я утратил вкус к жизни, так как слишком боюсь смерти: это нераздельно. Я запутался в существовании, разучившись отвлекаться от него, хоть на мгновение, как некогда, по вечерам, у края ночи, позолоченной пены, горького мерцания небытия.

Каждый из моих дней — приговор, и я молю с надуманным ужасом, чтобы не настал тот день, когда он будет приведен в исполнение.

Я прикрыл биде, поставил стол у окна и перевернул к стене обе картинки (их две) — ту, на которой голая женщина, и ту, на которой натюрморт. Служащие гостиницы промолчали. Каждый вторник, вернувшись в Сотанвиль, я нахожу биде снова открытым, стол — придвинутым к стене и обнаженную женщину, которая все больше смахивает на овощи; придя из техникума, я привожу все «в порядок», это занимает у меня не меньше четверти часа. После чего ложусь, накрываюсь с головой и жду наступления завтрашнего дня.

Гостиница необъятна, так как совершенно пуста.

Я чувствую себя все более и более полым. Просыпаясь утром, я вынужден думать о зиянии, которое нужно заполнить до самого вечера. Разумеется, существуют лекции. Но о чем думать во время лекций? Если я думаю о том, что говорю, это бесполезная преизбыточность. Достаточно уже того, что я говорю.

Потом наступает время обеда. Мертвое время. Мертвое. Я слушаю, как зубы жуют пищу, или, вернее, стараюсь этого не слышать. Разницы никакой. В конце концов это еще не самое худшее. Время, которое я трачу на то, чтобы наблюдать, как функционирует мой организм, вычитается из времени, посвященного существованию. А существование здесь, в Сотанвиле, подчас трудно заполнить. Когда я вижу все эти немотствующие дома на слепых улицах, где жизнь, насколько я могу себе представить, сведена, как и моя, к наблюдению за функционированием собственного организма, я чуть не плачу. Чуть.

Я утратил былую душевную широту; широту, которая позволяла мне смотреть прямо в лицо смерти дня и своей смерти, там за горизонтом. И вот теперь я осужден до конца дней бесконечно отсчитывать, дрожа от скупости, мгновения собственной агонии; агонии, питаемой этими отсчитываемыми мгновениями. Мне предстоит так жить до конца дней или умереть.

Ужинаю я в гостинице, каждый вечер. Я слишком много пью, умышленно. Грезы овладевают мной еще за столом, слегка отяжелевшие грезы; грезы, когда я еще сознаю, что грежу. Потом я потихоньку встаю, осторожно поднимаюсь по лестнице, чтобы не расплескать ни дремы, ни вина, подступающего к губам; и кляча моих ног приводит меня в свою конюшню, в мою конюшню — к кровати, где грезы и вино могут наконец занять горизонтальное положение.

Сотанвиль владеет мной слишком или недостаточно. Слишком, чтобы я мог заняться чем-нибудь, кроме выполнения своих преподавательских обязанностей. Недостаточно, чтобы я мог этим ограничиться. Вот я и совершаю под вечер слишком долгие прогулки, раздумывая о том, чего не делаю.

Я захожу в магазины; прикидываюсь, что намерен купить уйму вещей; часам к пяти отправляюсь в чайный салон

на площади, долго выбираю пирожные, которые на сей раз заменят мне ужин. Потом покупаю газеты и возвращаюсь к себе, в постель. И все время думаю о том, на что мог бы употребить время, которое с таким трудом убил.

На чтение, к примеру. Зайти в муниципальную библиотеку и там почитать. Но нет! У меня все равно не хватило бы времени дочитать книгу до конца. Я ничего не сделаю. Я не могу ничего сделать.

Я теперь уже не единственный хозяин своего времени, как в былые годы, и я разучился управляться с тем, которое мне остается. С восьми утра до пяти-шести часов вечера я худо ли хорошо играю свою роль преподавателя. Спасибо и на этом! Позже я — никто. Мне хватает времени только на то, чтобы взять с вешалки пальто. Но не душу, если у меня еще есть таковая. Мне нужен был бы по крайней мере целый день, чтобы собраться с мыслями. Но когда такой день выпадает, я провожу его в поезде; и мчусь домой, в парижскую квартиру, в надежде на встречу с самим собой. Но я остался в Сотанвиле, на вешалке. Я прилип к Сотанвилю, как к клейкой бумаге. Пока я оторвусь от нее, от вешалки, можно трижды съездить в Париж и обратно.

Между техникумом, рестораном, поездами, гостиницей, складыванием и раскладыванием чемодана у меня остаются только клочки времени; корпия.

Я хотел познать «мир труда». Какая гордыня! Я обнаружил лишь труд, куски, которые отрываешь от себя и отдаешь за право на жизнь. Таков всеобщий удел. Нужно быть ребенком, вечным ребенком, чтобы так и не смириться со всеобщим уделом.

Сколько я отдаю, сколько оставляю себе этих кусков своего существования? Я уже не знаю. Даже воскресенья, пресловутые воскресенья, которые я начинаю высматривать с другого конца недели, которых жду вплоть до ее разочаровывающего финала, вплоть до скуки этого самого воскресенья — даже воскресенья поражены этим недугом распада моего времени. Я стал скуп на время, трачу ли я его или экономлю. Задача состоит в том, чтобы не испортить себе светлый день еженедельного отдыха. Воскресенье — это подъемные на всю следующую неделю. За воскресный день в Париже нужно их подкопить. Я учусь прижимистости. Я звоню сиделке, той, что выхаживает мое безмолвие. Веду ее в ресторан. После обеда занимаюсь с

ней любовью, поскольку знаю, что позднее у меня уже не будет желания.

Потом мы отправляемся к друзьям. Я предпочел бы остаться наедине с сиделкой, но она считает, что я должен встречаться с людьми; не думаю, что ей со мной скучно; нет, не думаю. Но ей нужны люди, чтобы разговаривать, «дискутировать», как она выражается. Раньше я тоже это любил; теперь, после мая, не так уж. Разговор всегда один и тот же. И к тому же у нее куча новых друзей, у которых сумбур в голове, меня от них воротит: слишком у них много идей; люди с идеями — это опасно.

Есть среди них художники, кажется, писатели, бородатые, лохматые, есть молодые безработные (эти никогда ничего не говорят, ждут, пока их спросят; они всегда молчат, так что за них говорят остальные).

Раньше у меня были другие друзья, которые мне нравились; товарищи по факультету; но с ними мы видимся значительно реже, потому что они теперь «реаки». И я тоже «реак», раз я зарабатываю себе на жизнь, вместо того чтобы готовить революцию, если не считать второй половины дня в воскресенье; я «реак», поскольку получаю ежемесячный оклад в две тысячи франков, не считая платы за дополнительные часы; чтобы искупить свою вину, я приглашаю вечером всех к себе, мы пьем; за это мне многое прощают.

Я не смею сказать сиделке, что меня воротит от ее друзей, она устроит мне сцену и потом заставит встречаться с ними еще чаще. Поэтому я слушаю их, пытаюсь понять и избегаю вступать с ними в спор.

Больше всего меня раздражает не смысл их речей, но манера, стиль разговора. Если их понимать буквально, следует завтра же выйти на улицу с оружием в руках, устроить засаду у дверей «Эрмеса» или «Эдьяра», которые являются своего рода «Лютецией» новой оккупации. Да-да! Мы живем в период оккупации!

Ну а я, спрашивают меня, организую ли я должным образом Сопротивление в Сотанвиле? Смешно. Посмотрел бы я, что они станут делать с моими учениками, коллегами, инспектором; посмотрел бы я, как они станут организовывать Сопротивление!

Мне смешно также видеть, как они похваляются своими «молодыми безработными», выставляя их на всеобщее обозрение, совсем как показывали в старину «доброго ди-

каря» или жирафа. Ну, и черт с ними! Я всех кормлю и пою, все довольны: не такие уж они плохие люди, нужно только уметь с ними обращаться.

В особенности один испанец, высокий грустный парень, длинный, как пасьянс, он мне симпатичен, так как говорит о себе только, что он поэт, и ест с трогательной откровенностью, лиризмом и простодушием.

Но остальные и впрямь слишком агрессивны; они тоже едят, но с таким видом, точно хотят сказать: «С паршивой овцы хоть шерсти клок», а сиделка подбадривает их взглядом. Ну и пусть! Не утащат же они, расходясь по домам, мою мебель, чтобы набить себе руку в предвидении раздела земель и капиталов? Хватит и того, что они стибрили чайные ложечки, которые я привез из сотанвильской гостиницы: это, если угодно, даже справедливо. Но пусть ограничатся этим; на большее я не согласен, даже чтобы доставить удовольствие сиделке.

И потом они, может, и неплохие люди, как я стараюсь себя убедить, чтобы не взорваться, но все же они меня раздражают своим видом поборников справедливости: куда как легко судить людей, судить меня, меня в особенности, когда сам ни черта не делаешь. Я все же что-то делаю; пытаюсь что-то делать; может, и недостаточно; но в конце концов каждую неделю в Сотанвиле я из кожи вон лезу. На словах я, может, и не «завербовался», как они, но на деле «завербован» по уши. Взять хотя бы то, что они жрут, порицая меня и переделывая мир, как будто меня тут нет, а плачу за все я — рассуждение сволочное, не спорю; но против этого не попрешь, нравится им или нет!

По этим причинам или по другим, но денег мне не хватает. Постоянно. Это не трагедия. Согласен. Мать говорит, что мне еще повезло, если я в моем возрасте зарабатываю столько, сколько зарабатываю. Большинству этого никогда не добиться. Это правда. И все же денег мне капельку не хватает.

Или, во всяком случае, у меня их мало, если принять во внимание, как я бьюсь. Вернее, не бьюсь, а подыхаю со скуки. Мне следовало бы получать не заработную плату, а возмещение за дни хандры. Если учитывать только часы, которые я провожу в техникуме, и тем более мои рабочие часы, я признаю, что не имею права жаловаться. Но

остается ведь еще все то время, которое я трачу ежедневно, заставляя себя пойти в техникум; и время, когда приходится думать о чем-нибудь другом, после окончания занятий. Чем меньше ты приносишь пользы, тем выше должно быть вознаграждение; слишком уж тяжко бремя собственной бесполезности, от него нельзя избавиться. Контролерам в метро, например, нужно было бы платить целое состояние.

В общем, денег мне не хватает; и ничего удивительного. Настанет день, когда мне нечем будет покрыть мои чеки без обеспечения. И понятно, заставляют меня часами пробивать билетики метро и еще хотят, чтобы я возвращался домой с чувством исполненного долга, читал их газеты и смотрел их телепередачи; и радовался. Дудки. Когда я выхожу с работы, мной овладевает нетерпение, точно мурашки бегают, и они хотят, чтобы на этом закончился мой день, чтобы я его прикрыл? Да это было бы смерти подобно!

Когда я выхожу из техникума, мне необходима разрядка. Вот я и делаю покупки. Покупаю всякую всячину: кучу носков, часы, костюм. А в результате мне нечем заплатить по счету в сотанвильской гостинице или сделать взнос за квартиру в Париже (да, я собственник; ну, пока еще не совсем). Вот я и повесил в Париже — у часовщика, сапожника, портного — объявление: «Дипломированный преподаватель философии дает уроки».

Месяц назад — первый клиент. Высоченное насекомое с длиннющими конечностями; в сопровождении мамаши, низенькой и жирной. Входите, входите! Усаживаю гусеницу и чешуекрылое к своему письменному столу. Сам, важный, почти как врач, занимаю место по другую сторону. Понимаете, говорит она мне, у сына трудности в лицее: теперь в лицеях учат уже не так, как прежде, не правда ли? Она вопросительно глядит на меня.

— Когда прежде?

Она вся напрягается на своем стуле — уж не из тех ли я преподавателей-протестантов, которые портят в наши дни молодежь? Понимаю, что совершил ошибку; вот черт! Мне необходимо продать свой товар, я на мели; так что я спешу поправиться: «Совершенно справедливо, мадам», и дальше в том же духе. Сволочь я! Ладно; она снова заводит свою шарманку: моему сыну в лицее не по себе. Двери и столы там слишком низкие, еда плохая. Посмотрите, какой он

худенький! И учителя его не любят; это вовсе не значит, что он невнимателен, напротив; но разве сейчас добродетель в чести? Сами знаете! Добродетель нынче не вознаграждается.

Итак, снова заводится она: учителя его не любят. На днях преподаватель естествознания придрался к нему и к двум его товарищам; сын говорит, что они простояли целый час у стены не двигаясь. Но хуже всего обстоит дело с философией; не так уж она важна, эта философия (благодарю вас, дорогая мадам), но ведь экзамен сдавать придется, вы понимаете? Я-то понимаю, но урок обойдется недешево, старушка!

А он ведь такой прилежный, такой спокойный! Правда! Войдешь к нему в комнату, а он сидит за своим столом, думает, работает или еще там что, так тихо, так неподвижно, что не сразу поймешь, где спинка стула, а где он. Другие в его возрасте безобразничают, а ему только дай в руки книгу или газету, и его часами не слышно, не видно. Спрячется за обеденным столом или за подлокотником кресла до вечера. С места не сдвинется.

Он и в самом деле почти не двигается. Он такой, как говорит его мамаша. И чем дольше она говорит, тем больше и больше он становится таким, тем больше и больше сливается со спинкой стула.

«Удастся ли мне его разбудить?» Оказывается, да. Задаю насекомому вопрос, оно слегка шевелится, слышно легкое потрескивание мертвого дерева. Хорошо. Столько-то за час. Не слишком ли это дорого? Ну что вы, мадам, конечно, нет: не так-то легко будет в день экзамена придать жизни вашему неодушевленному предмету.

Частные уроки — это для меня своего рода проституция. Но кто себя не проституирует? У меня теперь двое учеников: заторможенное насекомое и грузная девушка, мучимая сексуальными и религиозными проблемами, которая требует, чтобы я толковал ее сны, — она ночи напролет кружит над Парижем, всякий раз обдирая кожу о шпиль Сент-Шапель. Ну что ж, я толкую сны, чтобы доставить ей удовольствие; делаю вид, что «раскрываю» «тайный» смысл ее навязчивых грез. Отдаю дань символике, мистике и комплексам; взвинчиваю себя, как настоящий шарлатан.

С другим — с парнем — самое трудное не уснуть. Зато говорить можно, что в голову взбредет.

Я принимаю их по субботам, утром; первую — в восемь, едва пробудившуюся, еще совершенно отупевшую от сновидений и не смеющую мне признаться, что ее преследовал в переходе метро мужчина с револьвером в кармане; второй прибывает около десяти, тоже только открывший глаза и не вполне еще выкарабкавшийся из своего глубокого сонного одеревенения. Они сталкиваются в передней, парень сомнамбулически останавливает на девушке учтивую улыбку; девушка, восхищенная таким множеством прямых линий, жестких и подвижных сочленений, краснеет и фыркает от смеха.

Мне вручают конвертик от мамы. Спасибо. Кладу добычу в ящик, небрежно, чтобы мой письменный стол не слишком напоминал тумбочку у кровати; усаживаю мою грузную отроковицу. Выслушиваю очередной сон. Пытаюсь дать ей понять, что для такого рода снов существуют специалисты. Уйма специалистов. Моя роль не так легка, если оставаться в рамках приличий, разумеется. Но раз уже мне за это платят, плету свои небылицы: лететь над шпилем Сент-Шапель — это благодать; слово «благодать» ей нравится. Я сам уж давным-давно ни над чем не летаю. Так чем же мы займемся сегодня? Одним из положений Канта или взглядами Бергсона?

Куда там! Она пришла поговорить о своих снах; и, коль скоро мне за это платят, я вынужден слушать. И я слушаю. А мальчик, который ходит к вам после меня, тоже видит сны? Нет, не думаю! Да? Вот бедняжка. И в самом деле бедняжка.

Уже зима, здесь ведь всегда зима, и я вмерз в лед сотанвильской жизни. Я лишился подвижности: от гостиницы до техникума или от техникума до гостиницы, где я ужинаю и сплю, двигаюсь как автомат — одни и те же минуты, многожды повторенные.

Как далек месяц май, прекрасный месяц май! Я сожалею не о времени, которое ушло. Куда хуже: я угрызаюсь временем, которое есть, которое повторяет себя день изо дня. Что я минуту назад делал? Ничего! Ничегошеньки! И завтра больше нет, каждый день загнивает в своем накануне. Время гриппует.

Я недалек от некоего подобия смерти; на манер насекомых, затонувших в прозрачном пластиковом кубе пресс-

папье. Нужно спасаться! Немедленно принять, например, очень горячую ванну. Но мне ни за что не смыть с кожи то, что прилипло.

Вдохнуть свежего воздуха, пробежаться под деревьями, кричать, кричать и опять бежать, чтобы ветер драл кожу, чтобы крик драл горло, растворить в беге, в ясном холоде всю эту жирную грязь; я и на вид становлюсь все более и более дряблым: я — тесто в тесте сотанвильского существования, где самое ничтожное происшествие оставляет глубокий след, точно палец в глине. Мне кажется, что я страдаю. Но палец, проникая вглубь, ни на что не натыкается; внутри насекомого — пусто. Я болен изнутри, так болен, что утратил чувствительность к боли.

Вернуться в Париж? Позвонить инспектору, сказать, что хватит, что я не поеду в Сотанвиль, что мне там нечего делать, что я никому не нужен? Несерьезно.

И однако, это правда: я никому не нужен. Разве что сиделке. Ей я нужен; теперь я это понял. Ей нужно домашнее животное, которое можно гладить против шерсти, такое животное — я. Она и друзей-то своих навязывает мне именно для этого, чтобы меня позлить: я ей нужен. А мне она, напротив, не нужна; об этом следует поразмыслить на досуге. Если я, в самом деле, додумаю все до конца, я ее, конечно, брошу; но сейчас, с этим Сотанвилем, с поездом, с гостиницей, с письменными работами, которые нужно исправлять, мне некогда об этом думать.

Короче, если не считать сиделки, я никому не нужен, и это ужасно. Я обязан научиться смирению. Подлинному. Не смирению монахов, для которых оно — призвание, предмет экзальтации; смирению бедняка, ничтожества.

Когда я возвращаюсь по вечерам в свой номер и сажусь за стол проверять письменные работы, я слышу, как стол смеется.

Невольно вспоминаю времена, когда вещи не были так ироничны. Я веду урок; через окно гляжу в даль, возможно дальше, чтобы вещи, которые я рассматриваю, в свою очередь не заметили меня. Вдоль дороги на Париж туманным строем тянутся деревья. Небо плоское и серое, словно водная пелена в паводок. Три часа, прошу зажечь свет.

И я говорю. Слушают меня — двое-трое; иногда — никто. Тогда я встаю и совершаю инквизиторский обход, я наказываю учеников тем, что читаю лекцию за их спинами. Угроза, нависшая над головой, вынуждает их запи-

сывать, но не слушать. Они умеют записывать, не слушая, но не умеют слушать, не записывая. И теперь, когда я убедил их своими заклинаниями, что записывать не стоит, а главное, заразил их своей скукой, они совсем перестали слушать. Да и так ли это важно? И могу ли я требовать от них интереса, раз сам его не испытываю? Я жду шести часов; по утрам жду обеденного перерыва.

Я теперь не обедаю с коллегами. В первые недели я питался в столовой техникума, там дешевле. Разумеется, поскольку я с дипломом и зарабатываю больше других, обед стоил мне четыре франка, что немало. Я получал талончик на четыре франка, красный; такой же, как у инспектора. У большинства талончик синий, на три франка пятьдесят сантимов; у технического персонала — на три франка. И так как я доплачивал еще пятьдесят сантимов за вино, чтобы не пить пиво, которое не выношу, то прослыл богачом и мотом.

Я стеснялся своих невольных роскошеств; но, вместо того чтобы проявить воздержанность и скромность, отказавшись от вина, которое действовало на меня усыпляюще и укорачивало послеобеденные часы, я предпочел дезертировать из столовой техникума. Теперь я обедаю в шоферской забегаловке на выезде из города и могу пить вино сколько душе угодно, не выглядя при этом барином.

Но тем самым я навсегда расстался с надеждой найти себе друзей среди коллег. Я по-прежнему здороваюсь с ними, болтаю с парижанами о возможных перспективах возвращения к родным пенатам или об отсутствии этих перспектив; но не так, как раньше. Я — отщепенец: это заметно хотя бы по тому, как сухо отвечают на мое приветствие. В эпоху пятидесяти сантимов за вино я пользовался известной популярностью; меня уважали за широту. Мне бы принять это уважение. А я пренебрег всеми законами приличия. К тому же стало известно, что я хожу к шоферам, совсем один; якшаюсь там со всяким сбродом, с водителями грузовиков. Если бы я еще выбрал приличный ресторан; тут я был бы в своем праве; каждый в конце концов свободен. Но шоферская забегаловка! Это переходит всякие границы. Это — вызывающее неуважение к коллегам. Каждый, конечно, свободен, но все же!

До сих пор меня считали оригиналом. Отныне меня рассматривают, как существо асоциальное, с извращенными и опасными фантазиями.

Сиделка пришла к нашим друзьям Б. за полчаса до меня; в те дни, когда она в настроении, оживлена и позаботилась тщательно навести красоту, ей вполне достаточно получаса, чтобы обрасти привычным кружком поклонников. Раскинувшись в кресле, очаровательно томная, чуть усталая, она выставляла напоказ осиную талию, изнеженные бедра, икры, крохотные ножки, словно не созданные, чтобы касаться земли. Ее тонкие, изящные пальцы виртуозно постукивали по подлокотникам в такт болтовне. Увидев ее такой впервые — знаю по собственному опыту,— испытываешь острое желание, потребность овладеть этим предметом, коснуться его. Потом приходит раздражение.

Я приехал из Сотанвиля на поезде; я радовался встрече с людьми, в кои-то веки; не с образчиками, не с бородатыми воскресными пророками. У меня в руке еще был чемодан, и мне хотелось поскорее убрать его с глаз хозяйки дома, которая открыла мне дверь: «Прошу прощенья, у меня не было времени заскочить домой». Но сиделка уже заметила меня из недр гостиной, так же как и я заметил ее, и я знал, что она сейчас даст понять своим поклонникам, привлекая ко мне их недовольные взгляды: «Вот человек, которого я впустила в свою жизнь, с его чемоданом, холодным носом, красными прожилками на щеках, с его шерстяными перчатками и ботинками на меху, с его повадками, все больше напоминающими коммивояжера. Оцените же мои заслуги!»

Хозяйка представила меня своим друзьям, довольно, впрочем, невнятно. Потом я расчистил себе местечко у ножек кресла сиделки, среди прочих, и мне вручили тарелку с толстыми ломтиками редьки, которую надлежало есть с солью и хлебом.

Как обычно в пятницу вечером, после восьми часов занятий и полутора часов в поезде Сотанвиль — Париж, меня ужасно клонило в сон. Я пялил глаза во все стороны, чтобы не задремать. На стенах в качестве украшений были приколоты кнопками всякого рода афиши, красочные, яркие. Разглядывание афиш немножко оживляло меня. К тому же это отдаляло момент, когда придется посмотреть на людей. Со мной всегда так: я принимаю приглашение и сначала я радуюсь, мысль встретиться с людьми, с новыми людьми, веселит меня, возбуждает; я чувствую, что жизнь прекрасна. А потом, когда настает минута

встречи, я вдруг впадаю в депрессию, внезапно, но неизменно. Мне хочется, чтобы все поскорее окончилось; я смотрю на часы, выжидая момент, когда можно будет уйти, не проявив невежливости.

Поскольку людей было гораздо больше, чем сидений, ели мы на полу, кто усевшись по-турецки, кто полулежа, опершись на локоть. Я прислушивался или, вернее, пытался прислушаться к разговору; чтобы не уснуть, не поддаться убаюкивающему гулу перекрестной болтовни, я старался выделить одну из нитей разговора и крепко в нее вцепиться. Вокруг меня обсуждался вопрос о новом экспериментальном университетском центре, созданном в Шарантоне, и о коммунистах, с которыми там шла борьба за гегемонию: необходимо было обеспечить за собой новые посты, а главное — не допустить к ним «догматиков».

Коммунистам решительно не везет; я хочу сказать — коммунистам, которые в Партии, поскольку сейчас развелось множество всяких других. Охота за ведьмами не прекращается никогда. То их упрекают в том, что они революционеры, то в том, что они перестали быть революционерами; короче, они не умеют нравиться; этим они немножко похожи на меня; или я на них: стараешься, наводишь красоту, душишься, делаешь пробор точно посредине, подвиваешь усы и получаешь ногой под зад. Бывают добрые намерения, которые никогда не вознаграждаются.

А мне нравятся коммунисты, которые в Партии; может, с самого детства: все дети неравнодушны к буке и злому серому волку; это благодарность за мурашки страха. И к тому же члены Партии мыслят вполне здраво; конечно, они слегка неотесанны: «Крупный капитал мы у вас, того, отберем, банки, значит, национализируем, в сейфы запрем гошистов, пусть там оглядятся, а вам сунем билетик метро за десять су, черт побери!» Ну и что! Нужно было самим раньше об этом думать!

Итак, речь шла о коммунистах и их честолюбивых замыслах в Шарантоне, которые необходимо было сорвать. Однако коммунисты, эти болваны, располагали, как ни крути, организацией, дисциплиной, «аппаратом». А их противники вступали в бой нестройными рядами и рисковали потерять преимущество и справедливое вознаграждение за свои таланты. Им, то есть всем сегодняшним гостям и еще некоторым, которых подберут впоследствии, необходимо было объединиться против коммунистов. На

карту было поставлено будущее Университета или, что то же самое, будущее по меньшей мере двух десятков людей, находившихся в гостиной. Но достичь согласия между этими двумя десятками ярких интеллектуальных индивидуальностей было не так-то просто. Как, допустим, примирить книгу такого-то со статьями такого-то?

Оказалось все же, что взаимопонимание возможно; я наблюдал в тот вечер волшебное сияние незлопамятности и всепрощения, озарившее некоторые лица нашего Университета,— раз уж без забвения давних обид нельзя было обойтись.

Один из гостей, молодой С., весьма пылко и весьма громогласно мечтавший об учреждении кафедры, заняв которую он мог бы в корне обновить лингвистику, предложил договориться о некоторых «общих эпистемологических посылках», что в конце концов было не так уж неосуществимо, поскольку все присутствующие являлись марксистами и оголтелыми антикоммунистами, сторонниками прогресса и строжайшей университетской евгеники в рамках самой широкой либерализации.

Так как я не открывал рта, сиделка склонилась ко мне и сердито шепнула: «Да прими же участие в разговоре!» Но мне слишком хотелось спать. И потом я не люблю, чтобы кто-то, помимо меня самого, устраивал мое счастье.

Однако сиделка, которая никогда не бросает начатого, все-таки исхитрилась, уж не знаю с помощью какой уловки, расколоть ряды шарантонского объединения и перенести всех в Сотанвиль. Я стал центром внимания. Меня расспрашивают. Охают, ахают. Как стать сотанвильцем? До чего же увлекательно! Делают вид, что завидуют мне. Какой интересный опыт! Мне следовало бы написать об этом книгу. Этнографическое исследование.

Разумеется, я ее напишу, эту книгу! Если я этого не сделаю, сиделка никогда мне не простит. Мать хотела, чтобы я прошел конкурс; сиделка требует, чтобы я писал книги.

Ладно, получит она свою книгу! И даже будет в ней сама, собственной персоной, во всей красе; там будут не только сотанвильцы, но и люди из этой гостиной: будет редька, ученая смесь табаков и идеологий, дымы всех сортов, девушки, ряженые в занавески; весь этот зверинец. Там будет все, вперемежку, как взбредет мне на ум! Попробуй помешай.

Я не откажу себе в удовольствии всунуть туда и этого лохматого верзилу, который самозабвенно упивается сигаретами в маисовой обертке, втягивая в себя миазмы марихуаны, и четверть часа спустя, когда Сотанвиль уже вышел из моды и начисто всеми забыт, а сиделка подчеркнуто делает вид, что со мной незнакома, говорит мне: «Все это тошнотворно, правда?» Отвечаю, что да. Он хохочет, говорит мне: «А хуже всех — я». Спрашиваю: «Зачем же вы тогда?» Не отвечает. Улыбается и пожимает плечами. Потом возвращается к проблеме поста в Шарантоне.

Отношения у меня с учениками не простые, но мне нравится, что они не простые. Слишком уж много сейчас вокруг простоты. Особенно в Париже, у людей, с которыми я вижусь, которых знаю, которых знал. Простоты грубой, коробящей.

Мне легче найти общий язык с девушками. Среди них есть хорошенькие, я начинаю отдавать себе в этом отчет. Не знаю, к добру ли это; или, вернее, знаю, что теперь это уже не имеет значения (да и имело ли это значение?), раз уж я стал находить их хорошенькими: изменились-то ведь не они.

Меняюсь я; начинаю смотреть на своих учеников «в отдельности», как обещал при первом знакомстве. Иногда я начисто забываю о Париже. Забываю о сиделке, забываю о воскресеньях. Я весь тут, в своем классе. Меня больше не удивляет, что я тут. Иногда я даже с некоторым нетерпением жду урока, когда увижу одну из моих любимиц.

Но именно с ними, с любимицами, я подчас особенно резок. Это доставляет мне удовольствие, это сильней меня. Да и им тоже; они сами вызывают меня на замечания. Точно ищут в них — и находят — скрытое за учительским выговором мужское внимание; я не уверен, что умею по-настоящему скрывать его под маской строгого, чуть слишком строгого преподавателя. Мы заодно. Они мне дерзят и показывают коленки; короче говоря, выставляют себя напоказ, обнажаются; а я касаюсь их своим выговором. Ласкаю их.

Эротика — вещь двусмысленная, и она, безусловно, питается внешним воздержанием; взаимное влечение тем сильней и даже тем откровенней, чем строже цензура. Для

меня все это открытие, поистине открытие. Я раньше всего познал любовь, в восемь лет; потом — секс, по крохам — между пятнадцатью и шестнадцатью; но эротика была мне неведома; сиделка в этом ничего не смыслит, слишком она ученая.

Это напряжение, сладостное напряжение, которое мало-помалу усиливается, не находя разрядки, даже не пытаясь найти разрядку; это игра, просто игра, бескорыстная, изощренно чистая.

С парнями у меня отношения труднее, чем с девушками. Что ни говори, в девушках нет ничего секретного; в восемнадцать лет у них вся душа нараспашку, и нет выше наслаждения, чем наложить на нее отпечаток, хотя бы беглый.

Парни кажутся более «замкнутыми»; а может, я недостаточно искусен, чтобы их раскрыть, поскольку меньше в этом заинтересован.

Но именно поэтому я мог бы также сказать, что мы с парнями лучше понимаем друг друга. В восемнадцать лет у них еще не полностью вылиняла наивная детская шерстка. Девушки уже хороши собой и развязны; может, даже слишком, и я вопреки собственным словам стараюсь сохранить известную дистанцию. Я укрываюсь на кафедре, как в крепости, за стеной со сторожевыми башенками для наблюдения, с бойницами — на всякий пожарный случай. Они ждут не моих уроков, им нужно мое внимание; возможно, мое мужское внимание; наверняка, мое мужское внимание! С тех самых пор, как они заметили, что я обращаю на них внимание.

Но от меня ждут также и суждений: например, такая-то умна, такая-то красива, такая-то одевается лучше, чем ее ближайшая подруга, такая-то дурнушка (на радость такой-то!). Я — ареопаг, пред которым мои Фрины обнажаются, в переносном смысле. Моя роль состоит в том, чтобы составить мнение о каждой и вынести свой вердикт; вот они и скидывают покрывала в надежде на комплимент.

Однако бывают дни, когда душа у меня к этому не лежит; и есть девушки, к которым я слишком уж безразличен; и тогда я заслоняюсь этим мерзким Кантом или Декартом. Во всяком случае, если меня не застают врасплох.

Двусмысленность моих отношений с учениками объясняется еще одной причиной, и тут я бессилен: мы говорим на разных языках, я обнаружил это, пытаясь разговаривать с ними по-настоящему. Тут уж эротика ни при чем. Мои ученики говорят мало; вернее, я так считал, когда их не слушал. На самом-то деле они говорят, говорят даже много, если хотят; но слов у них мало. Это я понял не сразу, поскольку привык в силу своего социального положения к изобилию, к словесной преизбыточности. Каждая из моих мыслей тотчас выстраивается в предложение, складывается в речь. Этого требует моя профессия; но также и мое происхождение, мое воспитание, что, в сущности, почти одно и то же. Мои ученики выражают себя иным путем; они отлично умеют выразить себя, если только понимаешь их язык и, главное, хочешь их «услышать», потому что они, если и говорят, то беззвучно. Слово — это звук; слово слышишь; слышишь того, кто произносит это слово; но других, тех, кто не смеет нарушать тишину,— не слышишь. Мои ученики тоже могли бы нарушить тишину звуками; дело только в привычке; но они не смеют; не смеют потому, например, что руки у них в машинном масле, а им внушили, что говорить можно, только когда руки чистые.

Смотрю как-то, стоят трое или четверо ребят из старшего класса «Е» — самые «цивилизованные» на промышленном отделении, у кого в программу включена философия; сгрудились над большим листом миллиметровки с какой-то схемой, им задают такие схемы в мастерской промышленного черчения. И спорят, спорят с воодушевлением: покачивают головами, тычут указательными пальцами, мычат, перебивают друг друга; но ни единой фразы! Заинтригованный, подхожу, прошу, чтобы мне «объяснили».

Мой вопрос их поражает: уж не смеюсь ли я над ними? Могут ли меня, преподавателя философии, красноречия и хороших манер, интересовать всерьез такие обыденные вещи? Но, в конце концов, почему бы и нет? Бывают же в Сотанвиле проездом, по дороге в Париж, англичане, которые задерживаются в городе, чтобы сфотографировать площадь Ратуши!

Они оборачиваются ко мне, водят пальцами по чертежу, вот шестерня, а здесь такая-то штука, шатун, что ли, а там, очевидно, кулак; и они возвращаются к своему спору, забыв обо мне. Но я не отстаю: «Что это за чертеж?» Сжалившись надо мной, один из парней извлекает из кармана

мятую бумажку с заданием; ее разглаживают, потом, когда она принимает презентабельный вид, протягивают мне, все так же молча, доверяя, очевидно, моим предполагаемым, положенным мне по должности способностям понимания математических иероглифов моего коллеги.

Мне, естественно, остается только откровенно признаться, что я не в силах расшифровать эту кабалистику, даже если бумажка разглажена, и попросить, чтобы мне объяснили не задачу, которая все равно мне ничего не скажет, а решение.

Тут мои четверо подмастерий в полном отчаянии принимаются все разом водить пальцами по схеме, приговаривая: «Это вот — это... а это — это...», но смысл все равно от меня ускользает.

Я сделал еще несколько попыток, столь же безуспешных. Всякий раз я надеялся, что они наконец заговорят по-настоящему, связными предложениями; я надеялся, они приспособятся к моему уровню понимания; к уровню человека, который ничего не смыслит в этом деле; но в последний момент они уклонялись в сторону, точно натыкаясь на непреодолимое препятствие; они отказывались говорить, как лошадь отказывается взять барьер.

Некое подобие речи намечалось, но такое неполное — только намек; нечто замкнутое в себе! Замкнутое, отгороженное невидимым барьером. Преодолеть его должен был я сам, если смогу, я сам должен был проникнуть за загородку, в поле их подразумеваемой речи, только подразумеваемой, чтобы расшифровать смысл местных речений и тем самым придать им законченность, выразить их в словах.

Тогда все обрело бы ясность! Намеки, символы, жесты, знаки — все выстраивалось; все объяснялось и оправдывалось. Но сделать этот шаг должен был я, я должен был преодолеть дистанцию, осуществить перевод. А этого я не хотел, даже если бы мог. Я хотел, чтобы они сами разломали словесную изгородь и тем самым главное — изгородь социальную! Потому что это слово, загнанное за решетку, эта речь, замкнувшая самое себя, речь парализованная и как бы сведенная к нулю, были для меня, в моих глазах явным клеймом нравственной и социальной покорности моих учеников: таким образом уже сейчас заявляли о себе все их грядущие поражения, крах требований, выполнения которых они должны добиться от других, от буржуа, от тех, кто умеет выйти за пределы своей семантической око-

лицы, своих профессиональных или классовых идиом; от тех, чей голос слышен далеко.

Наконец, чуть ли не после часа настояний и уговоров, я добился пусть и неуклюжей, пусть и робкой, пусть и не уверенной в самой себе, но все же по-настоящему полной речи. Хотя за указательным пальцем по-прежнему оставалась его магически-демонстрационная роль и «речь», в собтвенном смысле слова, так и не вышла за пределы некоего необязательного, избыточного словесного привеска, предназначаемого лично преподавателю философии, в умственных способностях которого стали сомневаться.

Это, конечно, была победа, но сколь ничтожная! Я добился своего, но чего мне это стоило! Со мной заговорили словами, преодолев некий барьер, но только от отчаяния, только потому, что ничего другого «не получалось». Значит, они могли говорить, они умели говорить. Но дело было не в этом, это ничего не решало: дело было в желании; в том, чтобы отважиться. Мои ученики могли говорить не хуже меня, нужна была только тренировка. Но они отказывались; вот в чем была загвоздка: они отказывались; они испытывали отвращение к речи, как кошка к воде. Речи не про них; про них — механика, «чертежи».

Однако с помощью своих «чертежей» мои ученики куда более ловко общаются с вещами, чем с себе подобными. Они умеют командовать только вещами. Но мир вещей — это как раз и есть мир пролетариев, мир темный, мир замкнутый, мир подчиненный.

Общаясь друг с другом, мои воспитанники также прибегают к своего рода «вещам», к чему-нибудь вроде чертежа, который мне показывали, или последней модели фотоаппарата, или задницы милашки Ф. из параллельного класса. Это язык примеров, язык осязания, действенный и безмолвный; язык исполнения, язык подчинения «силе» вещей, вот именно, пусть даже слову, если говорит хозяин; слову, которому его локальная плотность сообщает некую жесткость и «неоспоримость»!

Ставок больше нет, или, вернее, колода — крапленая: с этими людьми не беседуют, говаривал некогда мой отец, который отлично разбирался в вопросах эксплуатации; и правда, с пролетариями не дискутируют; да и как могут они ответить? Разве что забастовкой; но бастовать — это как раз и значит выражаться, прибегая к помощи «вещей». С рабочими не беседуют, от них добиваются — или не до-

биваются — покорности; покорности, потому что они не умеют ответить как нужно, а не ответить — значит покориться, хочешь ты того или нет.

Это-то мои ученики знают; вернее, подозревают, чувствуют, и я убежден, что они рады бы изменить положение, как рады бы уйти от своего класса, ускользнуть от многовекового ярма. Но им известны также и трудности, которые необходимо преодолеть: трудности обучения языку, никогда не бывшему для них «родным». И они даже преувеличивают эти трудности: вот в чем истинная трудность! Хорошо бы одержать победу, слишком хорошо! В последнюю минуту они отказываются поверить, что такая возможность существует, как отказались в тот раз говорить со мной. Мои ученики сами видят в себе «работников физического труда»; они забиваются в свое словесное и социальное гетто; и даже каются, не щадя себя, в вине, которая вовсе не их вина, когда я, явившись с письменными работами под мышкой и плохими отметками в журнале, предлагаю им найти объяснение сделанных ими ошибок по учебнику грамматики. Но я знаю, что они к грамматике даже не прикоснутся. На что им грамматика? Грамматика — это для других, для отпрысков хороших семей!

Грамматика — для людей вроде меня, преподавателей; для меня, чья роль, чья единственная роль только в том, возможно, и состоит, чтобы подчеркнуть дистанцию между моими учениками, обреченными в нашем обществе на то, чтобы остаться «отстающими», и тем миром, который представляю я, — словом, чтобы внушить им социальное смирение.

Я не сразу понял это — вот в чем моя главная ошибка. Я чуть не оттолкнул от себя навсегда этих бесправных детей, упорствуя на протяжении многих недель со своими философскими речами, такими гладкими, отшлифованными, разыгрывая перед ними спектакль буржуазной «мистерии» с высоты своей кафедры, отстоящей далеко-далеко от немотствующего стада молодых пролетариев, которым было отведено место внизу, на паперти.

Эта дистанция, при всей ее «нематериальности», выражалась в самой топографии класса: передо мной было три ряда пустых столов, меж тем как моя паства теснилась в глубине комнаты и проявляла свое растущее безразличие в непрерывном перешептывании на мирские темы, которого мне никак не удавалось прекратить. Я пытался при-

влечь внимание прихожан и добиться тишины, но мне выделяли лишь двух-трех самых отъявленных сонь: да и эти последние сменялись в порядке очереди, от недели к неделе, не оставляя ни малейших иллюзий относительно увлеченности моих подопечных.

От моего монолога, посягавшего на великие цели, мог быть толк лишь в особой ситуации, я хочу сказать в особой общественной ситуации; вне ее, здесь, он выглядел просто-напросто нелепым. Вот я и стал учиться у своих воспитанников, решив, что только у них самих и могу почерпнуть то, что должен им сказать. Мы стали просто болтать; на этих условиях они согласились со мной разговаривать.

И это далось не сразу. Я все еще был для них чужаком, хозяином. Чтобы обратиться ко мне, они собирались вдвоем, втроем. Возникало что-то вроде совета; они готовились. Потом один «делегат» набирался решимости поднять руку. Я произносил вопросительное «да?» в сторону всей группы, стараясь не адресовать его никому в отдельности. Ко мне обращались. «Хотелось бы знать... Хотелось бы спросить...» — говорили мне.

Не была ли эта безличная форма своего рода рабом, вестником беды, посланным к Великому хану и отданным на произвол его гнева, именно потому, что его жизнь не имеет никакой цены?

Словесная форма душила подлинную речь каждого из них, ее я не слышал, она гибла под горой их собственных представлений о том, как следует говорить, и моих приговоров, роняемых с высот буржуазного Олимпа. Эту индивидуальную речь мне приходилось выкрадывать, улавливать по движению указательного пальца, по выражению лица, извлекать из «диких» разговоров.

Я все еще был гнетом для них, как я ни старался, даже и после того, как отделался от атрибутов «учителя» в той мере, в какой мог это сделать, не впадая в демагогическое кривлянье. Самое мое присутствие давило их тяжестью, как гора, душило. Тщетно я спускался с кафедры, ходил между столами — ничто не могло уничтожить барьера, классового взаимонепонимания.

Последние дни в Сотанвиле солнечно. Небо бледное, льдистое, но прозрачное, без обычной серой размазни. Ско-

ро рождество. Под этим громадным солнцем, недвижным, точно баржа, вмерзшая в лед канала, Сотанвиль принял праздничный вид, неумело принарядившись. От этого солнца, этого света, лишенного оттенков, как преувеличенный комплимент, кирпича домов, который вдруг кажется чересчур красным, словно слишком густо нарумяненное лицо, так и бьет в глаза провинциальностью.

Да-да: провинциальность проступает на щеках ребенка, розовых, чуть слишком розовых от ледяного ветра, в возбужденных голосах картежников в «Благовесте», чуть слишком громогласных, чуть захмелевших. И даже в самом этом солнце, которое в порядке исключения с дружеской теплотой почти вульгарно похлопывает тебя по животу.

Сотанвиль готовится к рождеству. Мне кажется, что солнце припекает в последние дни не случайно: этот город, обычно такой угрюмый, такой тусклый, внезапно воодушевился. Он выплеснулся на улицы; разукрасился иллюминацией. Посредине главной площади устанавливают гигантскую елку. Ребятишки глазеют. Я тоже глазею. Вечера — непрерывный праздник. Магазины закрываются позже обычного. За запотевшими витринами — толкучка, все что-то покупают. А подальше, на узких плохо освещенных улицах, люди, нагруженные пакетами, кажутся огромными и круглыми тенями, которые осторожно ступают по гололеду и тают во мраке.

Как плохо я знаю этот город! Достаточно было чуть приоткрыться дверям, и его тепло просочилось на улицы, я ощущаю скрытое тепло Сотанвиля.

За этими стенами, за этими заиндевелыми стеклами должны быть просторные комнаты со сверкающим паркетом; кресла, подушки в бархатных и вязанных крючком наволочках; салфеточки; громоздкая пузатая мебель, надраенная до блеска; шкафы с постельным бельем, приданое, которое переходит от поколения к поколению; вышитые скатерти, к которым не прикасаются.

Учащиеся скучились в глубине двора, точно прячутся от холода и завываний ветра. Я вышагиваю взад-вперед, обходя лужи. Рождество позади. Я вернулся к своему разбухшему черному портфелю и привычке обходить лужи. Жду, когда настанет время подняться в класс. В препода-

вательской обсуждают поломку автомата с горячими напитками. Винят учеников, их варварское обращение с вещами: как можно было доверить такой дорогой аппарат людям, которые вырезают ножом надписи и рисунки на школьных столах? Инспектор крайне озабочен. Я предпочитаю в это не вмешиваться. Тем не менее сегодня утром я обнаружил в своем ящике для почты циркуляр, ставящий меня в известность, что ответственность за «порчу казенного имущества», совершенную во время урока, будет нести преподаватель.

Лично я ничего не имею против вырезания рисунков на столах. Когда я был школьником, я сам так упражнял воображение. Я портил произведения своих предшественников или переделывал их. Я вырезал символы, понятные лишь мне, выражая свои упреки, и никому не приходило в голову ставить мне это в вину. Я знавал даже преподавателей, которые были истинными ценителями этого вида искусства и делились с нами своим мнением о наших произведениях.

В порче столов проявляется вовсе не злой умысел, даже не «невоспитанность». И довод инспектора, что ни один ученик не позволил бы себе подобную «гадость» дома, на «своем» письменном столе (он полагает, этот инспектор, что у каждого из наших воспитанников есть «свой» письменный стол!), кажется мне особенно глупым: ведь ученики режут столы как раз потому, что это не «их» столы, и потому, что им хочется сделать эти государственные столы хоть отчасти «своими», так животные отмечают струей мочи «свою» территорию. Но у инспектора нет, очевидно, ни собаки, ни кошки, разве что головастики в банке из-под варенья, и я умозаключаю, что он ничего не смыслит в законах природы. Ну и черт с ним!

Я расхаживаю взад и вперед по двору; тучи тяжело несутся над верхушками деревьев. Через пять минут я должен буду снова войти в свою роль: в ту, которая предписана мне циркуляром о порче столов; в роль человека, который проверяет, все ли присутствуют на уроке, и доказывает бытие бога.

Отныне и ежедневно — все те же сомнения: хватит ли мне на это мужества? Каждый час, каждая минута урока — всего лишь отсрочка, оттяжка расплаты, которая грядет: брошу все, уеду домой. Исчезну. Перестану быть их преподавателем. Я ничего не могу для них сделать.

Но что же будет со мной самим? Как и главное — кому объясню я свой отказ? Нареку его бунтом? Какое самомнение! Бунтом против чего? Если это бунт против невежества моих учеников, то разве не мой долг сделать их не столь невежественными? Но какой ценой? Могу ли я это сделать, не принуждая этих парней и девушек покориться в очередной раз ради получения образования ужасным, гнетущим нормам общепринятого; тем нормам, которые, следуя одной и той же «мудрости», во имя одного и того же порядка требуют в равной мере согласования причастий и согласия человека жить на шестьсот франков в месяц.

Я не знаю, кто я. Знаю о себе только одно: счастье не про меня. Это я знаю точно. Я даже как-то привык к этой мысли. Можно быть несчастным и жить, большинство людей так и делает. Впрочем, они делают это лучше меня: раз счастье не про них, они не позволяют себе о нем думать. А я о нем думаю чересчур много. Все еще чересчур много.

Я несчастен прежде всего потому, что не нравлюсь самому себе. Я мечтал совсем о другом. Не знаю в точности, о ком, но о другом. Ну и вот, поскольку я себе не нравлюсь, я стараюсь себя ликвидировать, так или иначе доконать себя. Например, делаю вещи, о которых сам впоследствии сожалею; или допускаю, чтобы подобные вещи со мной случались.

Я мог бы сказать себе, что, коль скоро не приемлю себя такого, как есть, самое разумное не терзаться попусту, а попробовать себя переделать, стать таким, каким я хочу быть. Мне отнюдь не по душе бесконечно терзаться из-за себя самого. Но, во-первых, я сам не знаю, каким хотел бы стать; и, во-вторых, знай я это, даже стань я таким, это наверняка не принесло бы мне удовлетворения; так что это пустая затея. Я вроде тех «анархистов», о которых мои ученики говорят: «Стань все по-новому, они на минуточку успокоились бы, а потом...»

Вот в чем моя болезнь; и, возможно, как принято выражаться, «болезнь века»; это — ИРРЕВОЛЮЦИЯ: полное противоречий движение, одержимое столь глубокой, можно сказать тотальной тревогой и критикой, что сами эти тревога и критика не могут устоять перед собственной

едкостью и растворяются в кислоте самоанализа, самоизничтожаются.

Я хотел отказаться от преподавательской работы. Но если бы я сделал это, мне еще нужно было бы объяснить себе этот отказ, оправдаться перед самим собой. И я бы угрызался ничуть не меньше, чем сейчас.

Я вроде бы восстаю против социальной несправедливости, воплощенной с душераздирающей простотой и наглядностью в моих учениках; но я ничего для них не делаю. Хуже того — я убиваю время на медитации о том, что нужно сделать. Но сделай я что-то, я пришел бы все равно к выводу, что это ошибка, заблуждение.

Революция! Только о ней я и помышляю. Но что за революция? Какую революцию собираюсь я совершить? Не знаю; поэтому-то я и позволяю себе ничего не делать. А вы как думали! Слишком уж все сложно. Это и есть иреволюция: революция, ставшая чересчур сложной. Видите, чего стоит только думать о ней. А уж делать... И потом, зачем ее делать, кто меня об этом просит? Никто. Вот уж в чем я по крайней мере уверен; меня убедил в этом Сотанвиль. Ну, я и не делаю ничего; как, впрочем, ничего не делал и раньше, в мае 1968-го. Я говорил; много говорил. И не для того, чтобы ничего не сказать, а для того, чтобы ничего не делать. Ибо главное — ничего не делать.

Я не один такой. Все мы в мае 1968 года жили иреволюцией. Мы совершили иреволюцию, а не революцию, потому что ни один из тех, кто должен был совершить эту революцию, ни один из нас не надеялся обрести в ней полное удовлетворение. Мы, может, и обладали тем, что нужно, чтобы изменить мир; но себя мы изменить не могли; мы остались бы прежними, мы, как и прежде, томились бы в этом новом мире, как и прежде, тосковали бы, что не совершили главного. Вот мы ничего и не сделали. Мы отпраздновали свой триумф, когда вышли на площадь Сорбонны, лохматые и расхристанные,— огромный дармовой «лупанарий», меж двумя рядами ухмыляющихся фараонов с дубинками у ширинок. На этом и кончился наш триумф, ибо ничто не могло, ничто не сможет разрешить наших противоречий; только эта сила подавления, только она одна способна — и мы знали это в глубине души — спасти нашу самовитость революционеров ценой поражения нашей революции.

Но я, но моя irреволюция — это не один май; это повседневность. Каждый день все та же повседневная скука, каждый день все тот же неизменный я; и все тот же страх утратить себя, если один из моих поступков, случайно вырвавшись из-под моего контроля, осуществится и заведет меня дальше, чем я хотел, чем я рассчитывал.

Сегодня — Сотанвиль; завтра — какое-нибудь другое место; какая разница? Я-то останусь самим собой; все так же буду жаждать перемен, все так же терзаться неутолимым голодом, что бы со мной ни случилось. Все мои потуги ни к чему, сколько я ни тру ластиком, на месте стертых линий я снова воспроизвожу то же лицо. И жду. Жду, как и прежде, когда «что-нибудь» произойдет, разрушит злые чары и вернет мне свободу движений, вернет мне жизнь. Но сумею ли я узнать это «что-нибудь», если оно действительно произойдет? А если узнаю, захочу ли смириться?

В прошлом году умерла Н. Я мог бы с ней познакомиться, она должна была стать моей ученицей. Подробности этой истории почти неизвестны; говорят только, что Н. ушла из дому, несколько дней пропадала, а потом ее нашли в номере гостиницы, в Дьеппе, рядом с умирающим любовником и с непременным пустым тюбиком из-под снотворного на ночном столике. Парня спасли, а девушка умерла.

— А вы его знали, ее любовника?

— Да, он был буржуа; хороший парень, но странный какой-то.

— Чем странный?

— Чокнутый.

— То есть?

— Ходил всегда грязный; и потом говорил, что буржуа — это... ну, это...

— Сволочи, полагаю. И это все?

— Нет, он говорил, что покончит с собой.

— А ваша соученица что об этом думала?

— Ничего. Она считала, он придуривается.

— И вы никому не рассказывали о том, что он вам говорил? Вам не пришло в голову, что нужно кого-то предупредить; кого-нибудь из преподавателей или родителей вашего товарища?

— Нет, раз он придуривался.

— Но теперь-то вы по крайней мере поняли, что он не придуривался.

— Он ведь был чокнутый. Это одно и то же. И потом, когда мы что-нибудь говорили Н., она и слушать не хотела. Тронуть не позволяла своего типа. Задавалась очень, в последнее время особенно, глядела на нас свысока.

— Почему свысока?

— Потому что гуляла с буржуа.

— Это еще не причина.

— Ясное дело! Но все же.

— Ну а он, как вы думаете, почему он гулял с вашей соученицей?

— Он был псих.

— Вы считаете, что, будь он в своем уме, он не любил бы ее?

— Кто его знает. И вообще он, как ни верти, хотел одного — позабавиться с ней.

— Только и всего?

— Ну! В классическом лицее ведь полно девушек куда красивее и интереснее нас.

— Почему красивее и интереснее?

— Они лучше, ясно! Лучше одеты, интереснее.

— Но вы же говорите, что сам он одевался плохо.

— Да, но он был ненормальный.

— И однако, сейчас немало ребят, которые одеваются плохо, как он, отпускают длинные волосы, бороду, ходят грязными. Это модно.

— Может, и модно, но нехорошо.

— Разве каждый не имеет права одеваться, как ему нравится?

— Конечно! А все-таки нехорошо.

— Ну а как вы думаете, ваша подруга в самом деле хотела покончить с собой?

— Понятно, нет.

— Значит, это он?

— Ясное дело, он! Она просто делала все, что он хотел, потому что он был буржуа.

Тогда я задаю вопрос, который давно жжет мне губы: «Значит, вы считаете, что ваша подруга получила по заслугам?»

Мне дают понять, что да.

Собственная бесполезность давит меня с каждым днем все больше. Каждый день, в особенности каждое утро, когда я через силу поднимаюсь, мне кажется, что на сей раз я опустошен до предела, дальше некуда. Я вбираю в себя воздух, чтобы очистить горло от удушливой тоски, но легкие заполняются ощущением вины. Грудь болит, как будто она стянута слишком тесной кожей.

Нет тяжелее греха, чем жить, не принося пользы, а я совершаю его ежедневно. С тех пор как мне стала известна история чокнутого буржуа и девушки, покончивших с собой, я потерял последнюю надежду. Некая благодать хранила меня первые месяцы от того, чтобы услышать эту историю из уст моих учеников. Коллеги намекали достаточно невнятно о «наркотиках» и «самоубийстве»; но я не слишком вслушивался; я думал, что это обычное морализирование на тему о «позоре нашей эпохи» и «гошистах». И вот в один прекрасный день, не помню уж, в связи с чем, мои ученики по собственному почину выложили мне эту историю.

Самое печальное здесь даже не то, что произошло; но то, как мне об этом рассказывали. В тот день я принес в класс магнитофон — я иногда пользуюсь им, чтобы мои ученики-пролетарии могли услышать свои ошибки и исправить их. И невольно, совсем невольно я записал эту историю. Записал, а не просто запомнил: записал, записал слово в слово, записал впечатанную в их собственные слова обреченность этих девушек, которые не кончают с собой. И их жестокость, хитрую жестокость их существования, ставшую их собственной жестокостью.

Тут уж я бессилен, ничего не могу поделать — ничего. Это безмерно выше моих сил, моих жалких сил, моих двух часов «философии» в неделю.

Нет от меня никакого толку, со всем моим красноречием и тонкими софизмами. Не явись я в этот техникум, чтобы болтать обо всем этом, я, может, и остался бы в неведении; мне, может, выпала бы на долю такая удача. Но теперь — конец.

Нет от меня никакого толку. Я ничего не производу, ничего не создаю, не врачую; нет, я никого не излечу. Даже булавки — и той я не умею сделать. А вокруг меня вещи; великолепные вещи, созданные другими; машины, которые мчатся мимо, уродливые бетонные башни, которые высятся вокруг техникума. Все это производят другие,

пока я, сидя на сделанном другими стуле, перед столом, сколоченным другими, сотрясаю воздух своими словесами.

И меня слушают. Правила требуют, чтобы меня слушали. Меня слушают два или три десятка парней и девушек, которые станут вскоре создавать собственными руками новые вещи, а я буду покупать эти вещи на деньги, заработанные сейчас, в эту минуту, когда я просиживаю стул, который тоже вещь. Так по какому такому закону обязаны они меня слушать?

Если бы я мог еще приобщить их к своему искусству, к своей узурпированной власти. В этом был бы хоть какой-то толк. Предав гласности эту мошенническую операцию, я, быть может, искупил бы свой грех.

Но, похоже, они раскусили меня со всеми моими угрызениями совести и потребностью, возможно извращенной, заразить их, чтобы самому почувствовать облегчение. Они меня слушают, но не отвечают. Они не принимают участия в комедии, которую я разыгрываю. Я одинок; они обрекают меня на одиночество перед ними, перед самим собой, я остаюсь наедине со всеми моими словами — моими грязными сообщниками.

И все же эти слова, овладей они секретом их расстановки, сумей я найти средство передать им... Должно же существовать такое средство, пусть даже контрабандное; я обязан его найти. Тогда они наконец заговорят, мои маленькие немые: выскажутся, им ведь есть что сказать, это как раз то, чему я не могу их обучить, потому что сам должен этому у них обучиться. Настало время обучаться нам, буржуа!

Пусть они заговорят! Только бы они заговорили, и я буду вознагражден сторицей за все свои муки отчаяния. Пусть они заговорят, и я поверю, что для чего-то нужен. Пусть они заговорят, и вся моя идеология, весь мой набор революционных фраз приобретет, возможно, какой-то смысл! Они придадут всему этому смысл, я знаю теперь, что ни от кого, кроме них, не приходится его ждать, только бы они сумели его выразить. Но как им это выразить, если у них отнят даже последний уголок стола, где они хоть как-то могли высказаться?

Я теперь здороваюсь на улице с людьми, которых знаю. Сказать, что я их в самом деле знаю, было бы слишком

смело. Они тоже меня не знают. Для них я имя и должность, «тот самый, который преподает философию моей дочери», к примеру. Для меня это люди, с которыми я уже где-то встречался и которые со мной здоровались. Я припоминаю, что они со мной здоровались: это люди, которые со мной здороваются.

В деревне каждый более или менее близко знает соседей — то есть всех: такой-то — рогоносец, такой-то — пьяница, такая-то — сумасшедшая; в этом есть даже что-то милое, и никто не придает этому значения: все в одном положении, на каждом оно написано. В Париже и в больших городах никто никого не знает: разглядывай вволю мою задницу, если угодно, раз не видишь моего лица! Здесь же, в «провинции», в городках вроде Сотанвиля — с тобой здороваются. Мне это не по душе. Я не могу отделаться от ощущения, что меня разглядывают, что меня видят, тогда как я никого не вижу; и, зная, что за мной следят, я сам слежу за собой. Пытаюсь не выйти из своей роли — походить на известный им персонаж, на роль, в которой выступаю, на свой собственный миф. Это и есть провинция; театр без роздыха, непрерывный спектакль (не без мистификации, но на правду всем плевать; правда — чрезмерно или недостаточно плоска), в котором изображаешь себя для других, для тех, кого знаешь, и для тех, кого не знаешь, или только думаешь, что не знаешь, для тех, у кого ты все время на виду.

Взять, например, эту девушку за соседним столиком в «Глобусе»; она улыбается мне. Разве я ее знаю? Было бы неплохо, если бы я ее знал. Я мог бы поговорить с ней. А вдруг я ее не знаю? Оглядываюсь по сторонам. Кажется, никто не обращает на меня внимания. В самом ли деле я в этом кафе один? Могу ли я заговорить с девушкой? Скажу ей, что одинок, что скучаю. Но нет! Я тут не один. Я знаю, на меня смотрят, я чувствую. Лучше воздержаться от разговора. Ага! Вон справа от меня человек, с которым я время от времени здороваюсь; один из тех, для кого мое определение сводится, должно быть, к пресловутому «тот, который преподает философию». И все. Я для него, например, существо бесполое — это входит в отведенную мне роль. Можно ли было бы иначе доверить мне свое дитя? Доверить этому негодяю, который смутно вожделеет, сидя за столиком в кафе «Глобус» и уставясь на девушку, на ее икры и ляжки под соседним столиком?

А ведь она могла бы быть его ученицей! Какой позор! Нет, мне нельзя выглядеть «преподавателем философии, который в кафе щупает глазами девушек». Лучше уж уйти. Я адресую девушке бессильный взгляд, пытаюсь сказать ей глазами, что я очень хотел бы заговорить с ней, да не смею из-за этого субъекта справа и из-за всех прочих субъектов справа; но что она может выйти вслед за мной, если захочет, и тогда в темном переулке я поцелую ее в губы, прижмусь к ее грудям и животу, и мы сядем в мою машину, уедем на всю ночь в Камбре.

Но следом за мной выходит не девушка, а этот субъект. Он догоняет меня в дверях и говорит: «Простите, я не сразу вас узнал». Болван! И это еще не все: ему необходимо поговорить со мной о сыне, моем ученике. Нет уж, увольте. У меня сегодня нет времени. Ну, не беда! Он приглашает меня зайти к ним на чашечку кофе, когда мне будет угодно. Мне, видите ли, очень трудно выкроить время. Неважно, он готов это сделать в любое удобное для меня время; я влип! В таком случае, чем скорее, тем лучше! Покончим с этим немедленно! Я иду с вами. Он приводит меня к себе; нам открывает толстуха. Она называет меня «мсье профессор». Ладно, пусть будет «мсье профессор», добрые люди! Нечего было заглядываться на ту девушку в кафе: это не к лицу «мсье профессору». Идут за сыном; он появляется, потирая руки, нос, губы, шею. Что вы о нем скажете, «мсье профессор»? Только хорошее, разумеется, только хорошее! Теперь кофе. Пожалуйста, не нужно кофе, мои нервы его не выносят. Рюмочку коньяку? Спасибо, самую малость.

Усаживаюсь поглубже в кресло. Это, конечно, не ночь в Камбре, о которой я мечтал, но в конце концов мне не так уж плохо. Тепло; в камине с газовым отоплением горит огонь: в мою честь зажгли даже красную мигающую лампочку в пластмассовых поленьях, установленных перед радиатором. Мальчик непрерывно переводит взгляд со своих часов на большой телевизор, стоящий на комоде. Бедняга — не будет сегодня телевизора! Папаша говорит мне о сыне. Он так хотел, чтобы я пришел, потому что ему необходимо поговорить о сыне. Толстуха разглаживает свою юбку и все больше расплывается на диванчике, точно устрица, раскрывающая створки. Парень ерзает от нетерпения. Он уже не смотрит на часы; должно быть, передача упущена. Он смотрит на пластмассовое полено, оно все еще

мигает, и от него идет легкий запах гари. «Папа, полено сейчас загорится». Вот черт! Если уж поленья начнут гореть... Полено гасят. Папаша трет глаза в поисках мыслей, вернее, воспоминаний. Он принадлежит к тем, у кого вместо мыслей воспоминания. Опасная разновидность! Даже опаснее людей, у которых есть мысли, потому что воспоминания неопровержимы, их приходится выслушивать до конца! Он воевал. Потом четыре года — в плену. Там-то и познакомился с М. М., тоже преподавателем философии, как я. Я должен его знать. Нет, что вы! Откуда же мне знать всех преподавателей философии. В самом деле? Он обескуражен; толстуха тоже: мне полагалось бы знать М. М., это нехорошо, что я его не знаю. Парень бросает на отца взгляд, полный сомнений и тоски: кто-то из троих — отец, философ или я — обманщик, но кто?

Папаша не сдается: но книги-то М. М. вы по крайней мере читали? А если он «пишет книги», я, должно быть, их читал: этого требует мой престиж, поставленный сейчас под сомнение. Так что книги М. М. я читал.

Всеобщее блаженство. Папаша взволнован! Мир так тесен! Еще тесней, чем кажется. Он показывает мне книги М. М. Спасибо, не нужно! Я ведь их читал! Приходится тем не менее взглянуть на них: они с авторской надписью. Ладно, с этим покончено. Я свободен, могу уйти. Ну, до свидания, «мсье профессор».

Господи, до чего же холодно! На улицах ни души, десять часов. Ночь ложится мне на плечи влажной пелериной. Я снова прохожу перед «Глобусом» — на всякий случай. Но девушки там уже нет. С какой стати она там будет торчать до этих пор? И вообще мне сейчас слишком холодно.

На прошлой неделе сиделка приехала в Сотанвиль, чтобы провести здесь вместе со мной воскресенье. Я не без труда уговорил ее посетить мое чистилище, но сейчас, увидев ее, не так уж уверен, что сам этого хотел. Я люблю эту девушку только на известном расстоянии, но как дать ей это понять? Я говорю ей: приезжай; ей бы ответить: хорошо, приеду, но не приехать; тогда я мог бы ее ждать, но мне не пришлось бы выносить ее присутствие. Существуют тонкости, которые от нее ускользают. Она воображает, что любовь — это некое наваждение, всепоглощаю-

щая страсть — в стиле «наконец-то мы одни». Как бы не так! Любовь — это только воображение; поэтому сначала с человеком еще можно видеться,— пока не слишком хорошо его знаешь, больше придумываешь. А потом видеться не следует; видеться просто невыносимо — любимый человек разрушает собственный образ; в конце концов начинаешь его ненавидеть. Любовь — это отсутствие; не настоящее отсутствие, не подлинная разлука; но некое умение уйти в тень, своего рода сдержанность и способность принести себя в жертву своему образу ради другого; ради того, чтобы этого другого не слишком раздражало, что ты такой, как ты есть.

С сиделкой о подобного рода деликатности и речи быть не может, разве что на расстоянии ста пятидесяти километров, амортизирующих ее порывы и несдержанность. Она не поняла, что Сотанвиль наша последняя отсрочка, наш последний шанс, и вот явилась, идиотка!

Я злюсь на нее еще и потому, что она такая, каким был я сам несколько месяцев назад: она привязана невидимыми, но крепкими нитями к Парижу, к продуманному беспорядку своей квартиры, своих книг, своих теорий, своего времяпрепровождения, своих сумбурных и волосатых друзей, с которыми она уже не заставляет меня так часто видеться, но которых потчует в те вечера, когда меня нет, колбасой и редькой. Вот я и злюсь на нее за то, что она такая, каким я больше не хочу быть; за то, что она для меня, во мне, воплощение моих прежних привычек, ничем не оправданных пристрастий и отвращений; я злюсь на нее за кино, за бистро, куда мы ходили вместе, за фильмы, которые смотрели, за пластинки, которые слушали.

Она приехала ко мне, окинула взглядом номер и сказала, снимая пальто:

— В сущности, ты здесь неплохо устроился.

Она пожелала тотчас заняться любовью, поскольку ей известно, что после ужина мне грош цена. Я тоже был не прочь заняться с ней любовью. Во всяком случае, я этого хотел, пока она не отпустила это свое «ты здесь неплохо устроился». Но теперь она была мне противна. Мне было противно ее тело. Она явилась, чтобы одарить меня милостыней своих ласк, продуманных, как и все в ней; и, поскольку не следует внушать своим беднякам дурных мыслей, она сказала, что, в сущности, я мог бы и обойтись без этой милостыни; что не так уж мне плохо, что на моих

стенах, на моем окне, на моем столе, на моем лице она не прочла моего одиночества. Это она-то, которая и трех дней не прожила бы тут. Она, которая только и умела, что презирать и эти стены, и этот стол, и голую женщину в рамке, и, возможно даже, мою физиономию.

Так что я сам подал ей милостыню своих ласк, своей плоти. И потом ничего не сказал. Не сказал, главное, что я думаю о ее наигранно хорошем настроении; в тот вечер я не сказал ей, что думаю о мерах предосторожности, принятых ею, чтобы не проговориться, не ляпнуть, чего не следует, ни о гостинице, ни о ресторане, ничего такого, что могло бы меня ранить. Я позволил ей остаться при убеждении, что из нас двоих тяжелобольной — я, я тот, кого следует щадить. Я и впрямь был болен; но не была ли еще серьезней больна она сама, с ее приглушенным хихиканьем, с ее тонкими шуточками в адрес неповоротливого метрдотеля, с ее манерой многозначительно наступать мне на ногу под столом, строить глазки и жеманничать, повергавшей меня в ужас, с ее игрой в «свадебное путешествие», которое забросило нас в этот гадкий провинциальный отель, но уже завтра мы будем в Венеции, и поэтому ничто не мешает нам теперь забавляться, разглядывая всех этих несчастных, всех этих бедолаг, не умеющих жить, то есть всех других, всех остальных.

Следовало бы ей изменить, бросить ее. Но это мне не удастся: я знаю, что, если брошу ее, стану скучать по ней; злиться на себя за то, что ее бросил: брось я ее, верх взял бы ее образ, а этот образ я люблю. Не так-то все просто; лучше уж пусть она меня бросит; чтобы мне не в чем было потом себя упрекать.

Пока что я ей изменяю. Вернее, нет, это не называется изменять. На выезде из города есть что-то вроде кабаре. Я иногда заглядываю туда около полуночи; встаю с постели. Если вино, усталость и скука не сморят меня тотчас после ужина, мне не хватает мужества проделать в одиночестве переход в завтрашний день. И вот я встаю с постели и направляюсь к этому кабаре, которое известно всему Сотанвилю, но о котором не принято говорить вслух, потому что там есть две-три девушки, приглашающие вас выпить рюмочку по дешевке. Людей из приличного общества там не встретишь, только таких, как я, коммивояжеров. Как-то вечером, очевидно из чувства жалости, метрдотель дал мне этот адрес. И теперь я довольно охотно хожу туда;

в такие ночи я ложусь спать позднее обычного, переход укорачивается; иногда и вовсе не ложусь. А на следующий день, к пятому, шестому уроку говорю себе, что никогда больше не пойду в это кабаре: язык у меня заплетается, и мои подкашивающиеся ноги корят меня самым искренним, но быстро преходящим образом.

Я мог бы изменить сиделке с одной из моих коллег или, скорее, если бы я набрался мужества, с одной из продавщиц в книжной лавке Куаньяра; это студентка философского факультета; она спрашивает у меня советы, я их даю, к тому же она мила, у нее узкие плечи, чуть-чуть слишком широкие бедра. Мы уже совершали с ней прогулки в лес Эрувилетт. Она рассказывает мне о своей жизни, я выдумываю о своей. Наши ступни утопают в подушках мертвой листвы; я держу ее за руку, иногда обнимаю за талию. Я ничего не испытываю. Ничего, кроме колкой услады холодного воздуха, наполняющего легкие. Приходится пролагать себе путь в зарослях кустарника; я широко шагаю, таща за собой подпрыгивающего, смеющегося зверька, который время от времени скулит, что я не придерживаю ветви и они бьют по лицу.

Я одержал победу. В техникуме вышел первый номер журнала.

Вот оно орудие, которое я так долго искал, уловка, разрешающая им наконец высказаться! Нужно, чтобы они заговорили? Так вот, они — пишут! И не так уж плохо в конечном счете.

Как-то утром я заговорил с ними об этом журнале; я сказал:

— Он даст вам возможность общаться друг с другом и даже с внешним миром, высказать то, что вас заботит, о чем вам хочется сказать.

Я отнюдь не был уверен, что у них вообще есть желание о чем-нибудь сказать. Но вот назавтра трое, четверо, шестеро приносят мне с таинственным и робким видом: один — стихи, другой — заметку в рубрику «Свободная трибуна», кто-то — рассуждения о моде, кто-то — составленный им кроссворд... Не могли же они сделать это за одну ночь: значит, это лежало где-то, в ящике стола, в недрах портфеля, меж страниц книги; спало, но существовало: они писали стихи, мои неграмотные ребятишки!

И я оказался прав — им есть что сказать; у них даже есть для этого средства; нужен был только случай, только право; и это право дал им журнал. И они ждали этого права, даже не питая на него надежды,— ведь стихи уже лежали, ведь лирический порыв уже излился на клочке бумаги и сейчас, едва представился случай, был лихорадочно переписан набело! Этот клочок бумаги, может, так и провалялся бы всю жизнь понапрасну, не приди мне в голову, сам не знаю как, мысль предложить им выпускать журнал!

На последнем рубеже малодушия, на последнем рубеже сомнений я, может, наконец обнаружил, что на что-то все-таки гожусь; значит, в мире все же существует место, принадлежащее мне, и я наконец нашел его. Так после нескончаемых блужданий и зигзагов находит свой номер шарик рулетки в казино. Может, я все-таки не окончательная пустышка.

Вышел первый номер журнала. Директор вызвал меня к себе в кабинет. Прежде всего он несколько натянуто поздравил меня с проявленной инициативой: весьма похвально, что преподаватель приобщает учеников к широким интересам, побуждает их к активности, которую можно расценить как «культурную»,— вопросительный взгляд.

Я отвечаю, что весьма тронут сочувственным отношением руководства к моему начинанию, которое я в свою очередь расцениваю как культурное, мечтая, чтобы на этом и завершился наш обмен любезностями.

Но это еще не все, за поздравлениями следуют советы, пожелания; почему бы не поручить руководство этим журналом «общественно-воспитательному центру» техникума, председателем которого является директор? Это избавит меня от бремени, по всей вероятности весьма нелегкого, не так ли?

— Почему же нелегкого? Ученики все делают сами.

— Тем оно серьезнее. Не забывайте,— говорит мне директор,— что молодым людям предстоит экзамен. Учеников необходимо занять, приучить к ответственности; все это прекрасно. Но не следует отвлекать их от основной задачи.

Тут я полностью согласен с директором, разумеется!

Но как в таком случае поступить с журналом? Бросить эту затею?

Напротив, дают мне понять. Журнал необходимо расширить; открыть его рубрики родителям учеников, преподавателям, руководству. Несколько страниц, естественно, останутся ученикам. Но в их возрасте самое важное — это ведь получать советы, идеи, не так ли?

Значит, тут все дело в возрасте! Возможно. Я не отвечаю. Мне нечего ответить. А директор, чувствуя какую-то неувязку, снова переходит в атаку: он поговорит обо мне с инспектором округа, прельщает он; даже представит меня ему; мне будет весьма полезно, если тот познакомится со мной и узнает, сколь ревностно я отдаюсь воспитанию моих учеников, не так ли?

Так вот, нет! Пусть он катится подальше этот директор вместе со своей округлой улыбочкой, наподобие «академических пальм», со своими посулами квартиры в стандартном доме, со своими сюрпризными коробками, полными гладильных досок! Меня на эту удочку не возьмешь.

Вам не по нутру, что я даю ученикам возможность высказаться. Это не предусмотрено! Так не делается! Вы хотели бы, чтобы они занимались философией, потому что философия придает вес образованию, в особенности техническому; она полезна! Но она не должна внушать им идеи, намекнули вы мне, когда я прибыл в ваш техникум, не произнося этого вслух, по своему обыкновению, старый вы хитрец! Ну так вот, философией они занимались не слишком, но некоторые мысли она все-таки у них пробудила. Неплохие мысли! Вам тут нечего возразить, что вас и злит. Но ведь мысли, как ни крути? А мысли — дело темное: как знать, куда они могут завести.

Теперь вам хотелось бы взять мысли под свой контроль; так же как и все, что происходит в техникуме: внешний вид учащихся, посещаемость, нравственность, чтение, все вплоть до месячных у девушек, а почему бы нет?

А я этого не хочу; журнал, в порядке исключения, вам не захватить в свои руки, вы и носа в него не сунете: в порядке исключения, вам придется на сей раз промолчать и предоставить слово тем, кого слишком уж легко, на мой взгляд, притесняют под флагом образования. Значит, война? Ну и пускай! Война так война. И мои ученики должны знать, что, едва я вознамерился предоставить слово

ученикам-котельщикам или секретаршам, нам была объявлена война.

Поэтому я собираю их и предупреждаю, какой риск они на себя берут. Им еще не известно, что их журнал, каково бы ни было его содержание, каковы бы ни были его намерения, является подрывной деятельностью: подрывной, поскольку вопреки обычаям, установленным здесь, в этой семинарии для пролетариев, где обучают прежде всего послушанию, где учат не говорить, а слушать, этот журнал опрокидывает принятую систему связей.

Я обязан им это сказать и предупредить, что свобода, которую они берут на себя, если решат не уступать давлению, уже испытанному лично мной, имеет пределы, и им не преминут об этом напомнить в их драгоценных зачетных книжках.

Они сделали выбор — готовят второй номер. Время от времени ко мне обращаются за консультацией относительно какой-нибудь стилистической или грамматической проблемы, но я даю советы довольно неохотно. Пусть обходятся без меня; это очень важно. И все же я радуюсь, когда они прибегают ко мне: я единственный из преподавателей, к которому они обращаются по поводу «своего» журнала; на этот раз мне кажется, что дистанция между мною и моими учениками-пролетариями в самом деле уничтожена. Они мне доверяют, они меня больше не боятся.

Я немножко ухаживаю за одной из своих учениц, восемнадцатилетней блондиночкой с молочно-белой кожей. Под предлогом исправления статьи веду ее в «Глобус». Мы болтаем до вечера: это приятно, это действует освежающе. Двое или трое коллег прошли мимо, делая вид, что нас не замечают. И пусть!

Зовут ее Сандрина; здесь, чем проще люди, тем невероятней имена, которые они дают детям: среди моих учеников есть Армели, Янны, Лоики, Серваны. Сандрина — дочь рабочего; ее отец работает на электрокабельном. И не только отец — вся семья, вся их деревня Фремон, расположенная в двадцати километрах севернее Сотанвиля.

Вот уже неделя, как мы с Сандриной видимся ежедневно. Мне полезно ее видеть; это своего рода противоядие против пяти последних месяцев взрослого существо-

вания, да и против сиделки тоже, против инспектора, коллег, всех этих сигарет, которые я выкуриваю в одиночестве. Она спрашивает меня, что я в ней «нашел», и, кажется, несколько удивлена, что ей не приходится защищаться от моей предприимчивости; я, как всегда, ничего не предпринимаю; дело тут не просто в моей инертности, мне хочется, чтобы она оставалась такой, как есть; было бы слишком глупо к ней притронуться, притронуться к ее чистоте. Не из-за ее возраста, не из-за того, что она моя ученица, а потому, что она пришла из мира более чистого, чем тот, в котором погряз я.

Единственное, чего я прошу у нее, как милости,— это приобщить меня к ее миру. И вот как-то вечером мы отправляемся ужинать к ее родителям. Поначалу атмосфера несколько натянутая. Отец зарезал самого здорового петуха, а мать его пережарила, опасаясь, как бы он не оказался жестким. Дочка сгорает от стыда. Мать суетится, несмотря на мои протесты. Но после ужина все налаживается. После ужина заявляются два Сандрининых дяди с женами и детьми — взглянуть краешком глаза на «профа фило», который явился «на курочку» к рабочим. Пьем самогон. Плохой. Играем в белот: оба дяди против отца и меня. Сандрина веселится, глядя, как я проигрываю. Но я говорю, что ничего тут нет удивительного, поскольку дядья жульничают. Они и в самом деле жульничали, и довольно откровенно: им хотелось посмотреть, осмелюсь ли я сказать, что они жульничают; и, поскольку я осмелился, они прониклись ко мне симпатией. И принялись рассказывать свои обычные вечерние байки.

Дед Сандрины был лесорубом здесь же, неподалеку от Фремона. У него была лачуга, где родилась дюжина детей. Восемь выжили; остальные умерли от родимчика или поноса, потому что в те времена, сказал мне (не без гордости) Марко, отец Сандрины, дровосеки к врачам не обращались. Когда подходили роды, звали старую Агату, которая знала толк в травах и умела принять ребенка в свой большой передник, а если ребенка не хотели, могла и «отправить» его. А потом старая Агата померла, прожив лет девяносто на козьем молоке да на супе, которым ее угощали зимой в благодарность за отвары из трав и акушерские услуги. А потом в деревне построили большой завод, и все изменилось. Люди пошли на завод; они неплохо зарабатывают; на кухне, где я ужинал, стоял большой холо-

дильник, стиральная машина, телевизор, и на полу, под столом, где под ногами у нас возились ребятишки и собака, было полно игрушек.

Теперь все не так, как прежде, и Марко грустит о былых временах, о лесной лачуге, о работе на вольном воздухе вместе с отцом и братьями. На заводе заработки хорошие, но чахнешь, как в городе. Да и былой свободы нет уже.

И вот по ночам, если не слишком клонит ко сну и не очень набрякли руки от работы, братья еще ходят браконьерствовать с силками — «на кролика»,— как в те времена, когда были дровосеками; Марко рассказывает мне об охоте «на кролика»; Марко явно любит рассказывать; он не говорит — говорить он не умеет, он именно рассказывает; в сотый раз, наверно, он рассказывает, как охотился вместе с братом Бальтазаром на кролика и как полевой сторож с бранью гнался за ними; он рассказывает это, как уже рассказывал сотни раз, теми же словами,— словами, воскрешающими ночь, словами, животворную магию которых я лишь смутно угадываю, словами, благодаря которым рабочий Марко и рабочий Бальтазар сами преображаются, становятся частью легенды, мифа о земле, земле — супруге дровосека, изнасилованной, а потом убитой двадцать лет назад камнем, кирпичом, бетоном, заводом.

Они браконьерствуют не ради дичи, может, даже не ради удовольствия. Бальтазар и Марко уходят ночью в лес, потому что лес, заросли, задыхающийся бег во мраке, крики полевого сторожа за спиной — это их вольное детство; это последняя защита от телевизора, стиральной машины и заводского табеля. Силки — это свобода. Браконьерство, штрафы, жена, которая не спит, прислушиваясь вместе с детьми к каждому шороху в ожидании мужа, и даже дни, проведенные в жандармерии, если попадешься,— это последние крохи чудесного прошлого, уничтоженного высокими кирпичными стенами завода, прошлого, которое они иногда пытаются воскресить. Это последняя связь с отцом-дровосеком. Браконьерство, ночь, мрак, бег сквозь секущие лицо ветки, и силки, которые прячут в ныне уже пустой риге,— это последняя связь с прошлым, превратившимся в миф; с прошлым, о котором мне рассказывают смеясь, но в этом смехе прячется что-то серьезное: это прославление прошлого; прославление при-

роды, предков; прославление земли, темной ночи. Потом племя отходит ко сну. Я уезжаю; завтра для них, как и для меня, наступит настоящее: клан распадется надолго, вплоть до следующей охоты на кролика или до следующей партии в белот. А потом, несколько лет спустя, со всем этим будет покончено навсегда; все забудется! Дети играют под столом и не слушают.

А я говорю Сандрине, что она должна слушать и что я завидую Бальтазару и Марко. Но Сандрина говорит, что я над ней смеюсь. Сандрине это уже недоступно.

В четверг, после обеда, я не захотел встретиться с Сандриной. Слишком уж в тягость я был с утра сам себе; я ощущал себя взрослым и грузным. Не хочу, чтобы Сандрина видела меня таким вне моего учительского места, на кафедре.

Я сел в машину и уехал за город по шоссе, которое идет вдоль канала. Где остановиться, всегда решает сама машина,— запах разогретого масла бьет в нос, вспыхивают красные сигналы; одна лампочка приглядывает за маслом, вторая — за аккумулятором, третья — сам не знаю за чем. Итак, я останавливаюсь, поскольку машина угрожает мне по меньшей мере двумя авариями сразу; я даю ей остыть и немножко набраться сил. У стареющих механизмов появляется какая-то чувствительность, требовательность, и не стоит идти им наперекор. Они, как пожилые люди, ворчливы, упрямы, злопамятны и, главное,— эгоцентричны: тревожатся, что их забудут, отправят на свалку. Мне, хоть я и не стар, все это тоже знакомо, поэтому я понимаю старые механизмы с полуслова.

Итак, в четверг я прогуливался вдоль канала, по дороге, некогда проложенной, чтобы тянуть баржи. День был молочно-серый, довольно холодный. Вода в канале свинцовая, плоская, гладкая, без единой морщинки; она казалась маслянистой, тяжелой, как растопленный парафин, который мне разрешали брать ложечкой в раннем детстве. По другому берегу с громким лаем бежал огромный пес, он кружил вокруг мужчины, а тот кружил над головой поводок, должно быть, чтобы согреться. Они шли гораздо быстрее меня, и полчаса спустя я уже не слышал лая; но еще долго видел их — они казались двумя точками, одна была как бы неподвижна, другая двигалась зигзагами, вре-

менами исчезая слева в темной массе тополей, неразличимых на этом расстоянии.

Я шел и шел, пока закатное солнце, стоявшее прямо перед моими глазами, в конце канала, и прикидывавшееся, что оно пылает в тумане, не затянулось на три четверти тучами, как зародыш на краю желтка. Тогда я повернул назад и долго шагал в обратном направлении; возвращаться в город не хотелось; не хотелось и тянуть прогулку, как не хочется читать дальше скучную книгу, которую тем не менее все никак не захлопнешь. Машинально я мерил тяжелыми шагами расстояние до машины. Надвигалась ночь, быть может еще более тяжкая, чем обычно; еще более беспросветная. Мрак сгущался вокруг меня. Мрак заполнял мир. Мне не было грустно; не хуже, чем обычно. Только это безмолвие было для меня чересчур необъятным; я слышал себя одного, свои шаги, свое дыхание; не следует, никогда не следует прислушиваться к себе в холодном безмолвии зимы, на берегу канала. Потому что трудно не думать, что и эти последние звуки в свою очередь неизбежно угаснут, как угасает день, как угасает само время, низвергаясь за горизонт. Потому что и эти звуки кажутся уже лишними; потому что они непристойны рядом с этим саваном безмолвия, словно болтовня подле усопшего.

А я кукарекал подошвами ботинок, скрипевших по гравию, подле усопшего широкого канала. Невольно. Я ведь еще дышал; ноздрями, пересохшим ртом я вбирал в себя всеобщее безмолвие. И мало-помалу пропитывался им. Недалек час, когда мое дыхание, мои шаги сольются с безмолвием.

Может, завтра и не наступит. Может, я исчезну где-то на берегу канала, как исчезают в чернильном безмолвии последние тополя. Может, завтра и не наступит, ибо эта бесповоротная ночь не потерпит никакой зари, никакого исключения. Завтра — это невозможное!

Произошло именно то, чего я боялся: второй номер нашего журнала «конфискован» администрацией. Иду к директору; он добился чего хотел не мытьем так катаньем: значит, катаньем; но какой предлог он нашел? Какую провинность какого из учеников он обнаружил?

Похоже, он ждал меня. Такой у него вид. Вид человека втайне довольного, плохо скрытая улыбка жандарма, который составляет протокол.

На сей раз, говорит он мне, учащиеся зашли слишком далеко. Слишком далеко, то есть именно туда, где нас поджидали. Вот мы и попались!

Директор протягивает мне преступную статью. Я ее не читал. Я соблюдал правила игры. Я не требовал, чтобы мне показали материалы до перепечатки. Ученики должны были сами установить границы собственной свободы. Я их предупредил. Они должны были понять, поостеречься.

Но и мне самому следовало поостеречься. Я ведь ждал того, что случилось. Более того — я на это немного рассчитывал. Мои ученики получат по рукам при первом удобном случае: это лучший способ показать им, что они получают «поднадзорное образование», что все мы получаем поднадзорное образование.

Но глядя на недобрую улыбку директора, человека, как я теперь знаю, достаточно ловкого и осторожного, чтобы не торжествовать раньше времени, я догадываюсь, что мои ученики не просто «слишком далеко зашли», что тут дело похуже.

И действительно, хуже некуда. Статья, о которой идет речь, на редкость неистова. В ней только и разговору, что о предателях, скотах, о великих мира сего, которые пьют народную кровь. Но всего хуже, всего непоправимей, что тираны, перечисленные в статье поименно,— это директор, инспектор и я сам; я, оказывается, «бутафорский» революционер, я «окопался». Это ерунда; я готов с этим согласиться. Но директор, к несчастью, «скот». Ищу под статьей подпись маленького негодяя, подорвавшего мою затею, скомпрометировавшего меня: какой-то Дювийяр. Такого среди моих учеников нет, это уже лучше; но откуда он взялся?

Видя мое недоумение, директор хохочет и говорит:

— Это сын фабриканта из Гиза: учится в Париже на архитектора. Благовоспитанный молодой человек, вы не находите? — Потом спрашивает меня: — Вам известно, через кого был передан этот шедевр?

— Представления не имею.

— Как бы там ни было, через кого-нибудь из ваших учеников.

Верно, ничего не могу возразить.

— Ну так вот, мы проведем расследование: найдем сообщника этого парижского дурня; вы же со своей стороны доведете до его сведения, что он исключен из техникума, это ведь ваше дело, не так ли? — заключает разговор директор.

Ну вот! Я дал себя обвести вокруг пальца. Моих учеников обвели вокруг пальца. Их журнал, наш журнал, в котором они наконец могли выразить себя, сказать о себе, освободиться от вековой немоты, этот журнал у нас, можно сказать, похитили; сам директор не мог мечтать о такой удаче! Статью написал не кто-нибудь из наших. Нет, это, как и всегда, человек с другого берега. Ничтожный балбес, которому ничто не угрожает в его парижской «студии». Сын фабриканта. Папенькин сынок.

И я, в сущности, человек с того же берега, что и он, я его объективный пособник. Да, пособник; именно я, а вовсе не тот, кого выставят из техникума, кто так и не получит своего диплома техника и, возможно, до конца жизни будет зарабатывать на пятьсот-шестьсот франков меньше бывших однокашников потому только, что мне вздумалось осуществить одну из своих прихотей. Сволочь я. Нечего было создавать журнал. Я обязан был предвидеть все возможные последствия, даже и эту: если я о ней не подумал, если не предусмотрел, что в Париже или еще где-нибудь может существовать гнусное хозяйское отродье, которому взбредет на ум разыгрывать из себя революционера за наш счет, значит, я не пожелал об этом думать. Я поставил на карту чужую жизнь. Это меня следует выгнать из техникума. Завтра я узнаю, кто должен уйти вместо меня; и у меня даже не достанет мужества попросить у него прощения.

Виновный обнаружен. Это толстый щекастый мальчик, который вдруг расплакался, когда я сказал ему перед товарищами, что он вел себя недостойно по отношению ко всем нам; что из-за него сорвалось начинание, на которое мы, в частности я, возлагали большие надежды, из-за него у нас не будет журнала. Я сказал ему, что у него дурные знакомства, что друзей надо заводить в своей среде; что теперь он научится знать свое место; что он позволил провести себя, как простофиля. И поделом ему! Наконец я сказал то, что велел мне сказать директор: он исключается

из техникума. И даже добавил, чтобы не создалось впечатление, будто я действую по чужой указке, что полностью одобряю эту меру, пусть она и покажется некоторым чересчур суровой.

И тут мальчик попросил у меня прощения. Остальные молчали и внимательно глядели на меня.

В среду я решил уехать домой, в Париж. Горничная разбудила меня, как всегда, в семь, принесла мой обезкофеиненный кофе, печенье и апельсиновый конфитюр. В который раз я сказал ей, что не люблю апельсиновый конфитюр, пусть даст абрикосовый. Но она могла предложить мне только мед. Я воспользовался этим, чтобы заявить, что уезжаю; она заметила, что сегодня не мой день; я ответил, что могу уехать в любой день, когда пожелаю.

Я спустился вниз, и они дали мне счет за первые две недели месяца плюс ночь со вторника на среду. Я сделал вид, что проверяю его; выписал чек, стараясь писать как можно неразборчивей, так как не был уверен, что у меня на счете есть деньги: я всегда так поступаю в подобных случаях, то есть довольно часто. Не спорю, триста франков, выписанные неразборчиво, ни на су не меньше трехсот франков, даже если мое «ста» похоже на «дцать» и последний ноль загримирован под запятую, точку или черточку. Иной раз я не подписываю чека, а, когда мне указывают на это, ставлю просто закорючку. Как правило, это дает мне двухнедельную отсрочку, пока банк не напишет мне, чтобы я удостоверил свою фальшивку, и еще неделю, в течение которой я позволяю себе оттягивать ответ.

Я сел, как обычно, в свой «фиат-500», но, вместо того чтобы отправиться в техникум, поехал на вокзал. Машину я бросил у входа для пассажиров, на этот раз окончательно. Дверцу оставил приоткрытой, положил ключ, регистрационную карточку оставил на сиденье. Что-то меня кольнуло при этом. Не слишком.

Я вошел в здание вокзала и увидел на табло, что парижский поезд отходит через минуту. Тем лучше! Не останется времени на раздумья, сомнения, сожаления. Я помчался к подземному переходу, показав на контроле удо-

стоверение, которое дает право на скидку, железнодорожник сказал, чтобы я поторапливался—билет куплю в поезде.

Я устроился у окна. Напротив сидел какой-то субъект, углубившийся в свои бумаги, заполненные цифрами, время от времени он отмечал какую-нибудь колонку толстым карандашом, предварительно пососав грифель. В другом углу купе спала, запрокинув голову, улыбаясь счастливой детской улыбкой и похрапывая, молодая женщина, довольно хорошенькая.

Я смотрел, как уплывает за окном сотанвильский вокзал, потом стал ждать прихода контролера, чтобы заплатить за билет. Отсутствие билета меня стесняло; оно делало мой отъезд как бы вдвойне противозаконным. Глупо; нужно только набраться терпения и потом заплатить; но контролер все не приходил.

К тому же этот субъект все отчеркивал и отчеркивал колонки цифр с усердием школьника; а я бездельничал — третья противозаконность. Я попытался уснуть, но не смог. Субъект время от времени выныривал из своих цифр, из толщи жилета, пиджака, пальто, шарфа, в которые были погружены его расчеты, и окидывал, проверял меня взором труженика. Тогда я вытащил из портфеля две или три письменные работы и заставил себя их выправить. Проверив очередную, я тщательно складывал ее вчетверо, точно собирался вложить в конверт, и вставал, чтобы выбросить через щель приоткрытого окна, игравшую роль прорези почтового ящика. Мой маневр привлек внимание субъекта с карандашом, который так и вперился в меня и не мог оторвать глаз, наблюдая с ошарашенным и мучительно встревоженным видом, как я пускаю на ветер плоды своих трудов. Потом, поскольку письменные работы кончились и я, вероятно, слишком уж пристально уставился на его бумаги, он вдруг засуетился и принялся остервенело запихивать все свои досье вперемешку в портфель, потом прижал его к животу и больше не выпускал из рук.

А контролер все не шел! Пока у меня нет билета, мне не удастся по-настоящему покинуть Сотанвиль. Это слишком глупо! Сцена с директором, сцена с мальчиком; и остальные ученики, молча смотревшие на меня. Все это не выходило у меня из головы. Потом на миг ушло куда-то, утонуло в прошлом, и я потерял уверенность, что все это произошло со мной, я был только свидетелем. Но вне-

запно какая-нибудь фраза, какой-нибудь жест опять пронзали мою память, и я вздрагивал всем телом. Не раз, не два мне еще придется отнести к себе самому свои собственные слова, слова, безусловно произнесенные мной: «Это научит вас знать свое место»,— сказал я мальчику. Ну а мое место, где оно? Не в техникуме, не в Париже, куда я не вправе вернуться. Может, в этом поезде, еще на полчаса; потому что поезд движется, он нигде. Но у меня нет билета.

Женщина перестала храпеть и глядела на меня еще сонным взглядом, неопределенно. Я говорю «неопределенно», потому что это ничего не значит и потому что я никогда не знаю, как истолковать взгляд женщины, когда он останавливается на мне. В иных случаях я проницателен, я люблю смотреть, как глядят женщины на других мужчин — заинтересованно, насмешливо, вопросительно, неодобрительно, якобы неодобрительно: мне кажется, я догадываюсь, что они думают, я с ними в сговоре, я на их стороне против дураков вроде меня. Зато когда на их лице нужно прочесть что-то о себе, я теряюсь. Я думаю, они это чувствуют, и я им забавен. Но иногда мне приходит в голову, что они вдруг вскрикнут от ужаса, станут вопить и корчиться в страхе, обомрут при виде моего лица, точно в нем есть нечто чудовищное, гнусное, похабное.

Так что сейчас я пытался истолковать взгляд молодой женщины, без особого, впрочем, интереса; но это помогало мне не думать о другом — о Сотанвиле, о контролере, который все не шел и не шел...

СОДЕРЖАНИЕ

ТРИ ФРАНЦУЗСКИЕ ПОВЕСТИ

Художник *А. Сапожников*
Художественный редактор *А. Купцов*
Технический редактор *Н. Капустина*
Корректор *А. Понкратова*

Сдано в производство 28/III 1975 г. Подписано к печати 19/VIII 1975 г.
Бумага № 1 84×108 1/32. Бум. л. 4 1/4. Печ. л. 14,28. Уч.-изд. л. 15,02.
Изд. № 18224. Тираж 250 000 экз. Цена 75 к. Заказ № 845.

Издательство «Прогресс»
Государственного комитета Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградской типографии № 2 имени Евгении Соколовой
Союзполиграфпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29,
с матриц ордена Трудового Красного Знамени
Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28

Цена 75 к.

ТРИ ФРАНЦУЗСКИЕ ПОВЕСТИ